

## Оноре де Бальзак Отец Горю

*Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру<sup>1</sup> в знак восхищения его работами и гением.*  
Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом<sup>2</sup> и предместьем Сен-Марсо.<sup>3</sup> Пансион, под названием «Дом Воке», открыт для всех – для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*.<sup>4</sup> А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа,<sup>5</sup> только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди что рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагернаутом:<sup>6</sup> наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня?», а после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горю, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. *All is true*,<sup>7</sup> – она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части ули-

<sup>1</sup> Жоффруа де Сент-Илер Этьен (1772–1844) – известный французский ученый-зоолог; выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира. Посвящение романа «Отец Горю» Жоффруа де Сент-Илеру впервые появилось в издании 1843 г., однако теорией Жоффруа де Сент-Илера Бальзак живо интересовался еще с начала 30-х годов.

<sup>2</sup> Латинский квартал – район Парижа, где издавна находились высшие учебные заведения, музеи и библиотеки.

<sup>3</sup> Сен-Марсо (иначе – Сен-Марсель) – квартал Парижа, населенный во времена Бальзака главным образом беднотой.

<sup>4</sup> В черте города и в его предместьях (лат.).

<sup>5</sup> Монмартр – во времена Бальзака – северная окраина Парижа. Монруж – южная. Местность в этих районах холмиста.

<sup>6</sup> Джагернаут (правильнее – Джаганнатха, «владыка мира») – одно из изображений индийского бога Вишну. Во время главного праздника в честь Джагернаута его статуя вывозилась на огромной колеснице, в которую впрягались богомольцы. Фанатики бросались под колесницу и погибали, – жрецы обещали им, что в награду за подобную смерть бедняк, при новом воплощении его души, обратится в человека высшей касты.

<sup>7</sup> Все правда (англ.).

цы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запрятанных в пространстве между Валь-де-Грас<sup>8</sup> и Пантеоном,<sup>9</sup> где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионеров или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, – как бронзовая рама для картины, – достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует возможно больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, – подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение! Кто решил, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз,<sup>10</sup> а вдоль нее – песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка; над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,  
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой. Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип, или липп, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него по-

---

<sup>8</sup> Валь-де-Грас – здание военного госпиталя в Париже.

<sup>9</sup> Пантеон – большое здание в Париже, построенное в XVIII в.; первоначально – церковь; во время буржуазной революции XVIII в. было превращено в усыпальницу выдающихся деятелей Франции, среди которых похоронены далеко не великие люди, как, например, президент Третьей республики Сади Карно, но не нашли себе места такие писатели, как Вольтер, и такие революционные деятели, как Марат, прах которых был удален из Пантеона.

<sup>10</sup> Туаз – старинная французская мера длины (1 м. 945 мм).

ставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор, шириною футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклянной входной дверью, представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из чернокрапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака», где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни, а для красы на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бокам их, под стеклянными колпаками, – две вазы с ветхими букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *трактирным запахом*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части – особые, болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежною столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам – липкие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой изделие Турнэ.<sup>11</sup> В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, вылезающим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, – все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ложками; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленную печь; кенкеты Аргана,<sup>12</sup> где пыль смешалась с маслом;

---

<sup>11</sup> Турнэ – промышленный город в Бельгии.

<sup>12</sup> Кенкет Аргана усовершенствованная масляная лампа.

длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за наименьшем стилоса; искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки – в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, – понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол – в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вспрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь – все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика, – словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика, – одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки – такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, выдавших виды. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять дорожку, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа,<sup>13</sup> если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая, и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, – гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц.

Ко времени начала этой повести пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом – г-жа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую – человек лет сорока, в черном парике и с крашеными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну – старая дева мадмуазель Мишоно, другую – бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадмуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неиме-

---

<sup>13</sup> Пишегрю и Жорж. – Шарль Пишегрю и Жорж Кадудаль – организаторы роялистского заговора (1804), подготовившие покушение на Наполеона I, в то время первого консула; были выданы одним из соучастников заговора; Кадудаль был казнен, а Пишегрю умер в тюрьме.



нием лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк, так его звали, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, – его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка. Помимо семерых жильцов, у г-жи Воке столовались – глядя по году, однакоже не меньше восьми – студенты, юристы или медики, да два-три завсегда из того же квартала; они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходило в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя запросто, по-дружески. Все эти семеро пансионеров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер<sup>14</sup> и Бурб,<sup>15</sup> где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегда его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах – сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, – словом, одна видимость одежды. На женщинах – вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах – дырявые косянки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятая из обращения монета. Увядшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии: не те, что разыгрываются при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет, – так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, неприятное лицо было зловеще. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно

---

<sup>14</sup> Сальпетриер – парижская богадельня для старух, при которой имеется также лечебница для душевнобольных и нервнобольных.

<sup>15</sup> Бурб – бытовое название одного из родильных домов Парижа, (от слова «la bourbe» – грязь, тина).

утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов,<sup>16</sup> был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна, – короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж – это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте – старайтесь сколько угодно: как бы ни были многочисленны и пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдется область, куда еще никто не проникал, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению – основному тону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватости ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, в чересчур тонкой талии проявлялась та прелесть, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Под простым, дешевым платьем обозначались девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины – в ее благополучии, как в туалете – ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо; когда б отрада изящной жизни округлила и подрумянила слегка впалые щеки; когда б любовь одушевила эти грустные глаза, – Викторина смело могла бы поспорить красотой с любой, самой красивой, девушкой. Ей нехватало того, что женщину перерождает, – тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какой-то повод не признавать ее своею дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к дальней своей родственнице вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен Республики не было ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели – к исповеди, чтобы на

---

<sup>16</sup> Ратон и Бертран – персонажи басни Лафонтена «Обезьяна и кот»; в ней рассказывается, как хитрая обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для нее жареные каштаны из огня. В 1833 г. под заглавием «Бертран и Ратон» выпустил свою сатирическую комедию Э. Скриб.

случай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И г-жа Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать прощение от своей матери, но ежегодно натыкалась в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между нею и отцом, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила бога раскрыть глаза отцу, смягчить сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где и самый стон звучит любовью.

Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось к внушению с малых лет старинных правил хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в обычные дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись как подобало молодому франту. А повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой второй век, потребовав лишь расхода на подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет с крашеными бакенбардами – г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирал его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке и некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему долг, – столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что, вероятно, он в критическом случае не остановился бы и перед преступлением. Взор его, как строгий судья, казалось, проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен добился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал а талию непонятая ею лезть! Вдова совершенно искренне воображала, что обнять ее простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную колоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил пятнадцать франков в месяц на «глорию»<sup>17</sup> и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, иль эти старики, равнодушные ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно заставило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род его занятий, ни образ мыслей. Поставив, как преграду, между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко раздражался он сатирой, достойной Ювенала,<sup>18</sup> где, казалось, с

---

<sup>17</sup> Глория – сладкий кофе (или чай) с коньяком.

<sup>18</sup> Ювенал Децим Юний (I–II вв. н. э.) – римский поэт-сатирик, бичевавший в своих произведениях пороки господствующих классов современного ему императорского Рима.

удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внутренней непоследовательности, а это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна.

Мадмуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом, по влечению, быть может безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все питали друг к другу равнодушие с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им уже не о чем было говорить. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становившийся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то по крайней мере чистым и не вредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость – жертва снесет ее без ропота.

В подобном соединении людей должны проявляться все составные части человеческого общества, – они и проявлялись в малом виде. Как в школах, как в разных кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньком на самый первый план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее двух лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик, папаша Горио, а между тем и живописец и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение, это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца, это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности, или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже такое щедрое создание, как уличный мальчишка, и тот звонит, когда стоят морозы, во все звонки входных дверей или взбирается на еще неиспачканный памятник и пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первоначально он снял квартиру, позднее занятую г-жой Кутюр, и вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке подновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, именно потому, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно господин Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, на него стали смотреть, как на дурака, ничего не смыслящего в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из *полуголландского*



полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и это придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его «шкапики» (так выражался он по-простецки) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака, – словом, вещи более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

– Вот, – сказал он г-же Воке, вынимая блюдо и большую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, – это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря бога, я в остаток дней своих еще попью утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, по приблизительным расчетам, могли давать этому замечательному Горио тысяч восемь-десять дохода в год. С того дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже достигшая сорока восьми лет от роду, но признававшая из них только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то, что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно простоватое лицо папаши Горио. Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в возможность и впредь сколько угодно наполнять ее макубой,<sup>19</sup> что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желанья проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем заточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жангильи; ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров в июле месяце, – все это Эльдорадо<sup>20</sup> парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла никому, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по грошу. Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной партией.

«А в остальном я вполне стою старикана», – подумала она и повернулась на другой бок, будто удостовераясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид, в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески стара-

---

<sup>19</sup> Макуба – высокосортный табак, вывозимый из Макубы (о-в Мартиника).

<sup>20</sup> Эльдорадо – легендарная страна с огромными запасами золота, якобы находящаяся в Южной Америке и открытая испанскими авантюристами в XVI в. Название «Эльдорадо» стало символом баснословного богатства.

лась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похвально, что г-н Горио – один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала, из пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть *миленький сад*, а в конце его *простирается* липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на полях битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что *доложила еще своих*. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обедала переманить к ней из квартала Марэ<sup>21</sup> баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогим, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

– Но канцелярии все тянут без конца, – говорила она.

После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносморозинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио – мужчина первый сорт.

– Ах, дорогая! – говорила ей вдова Воке. – Этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Воке по поводу ее наряда, несоответствовавшего притязаниям вдовы.

– Надо вас привести в боевую готовность, – сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галлерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жената», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф а ля мод».<sup>22</sup> Тем не менее сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и преподнесла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась тароватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно – выспросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермениль весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и, наконец, добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желаньем соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать – отпор, папаши Горио, графиня возмущалась неотесанностью старика и вышла.

– Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! – сказала она своей подруге. – Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близ-

<sup>21</sup> Марэ – квартал Парижа, застроенный в XVIII в. особняками крупных чиновников; после буржуазной революции XVIII в. получил торгово-промышленный характер и был заселен по преимуществу ремесленным и торговым людом.

<sup>22</sup> «Беф а ля мод» – буквально: «говядина, приготовленная по моде», мясное блюдо; на вывеске одного из парижских ресторанов, носившего это название, был нарисован бык в модной дамской шляпке и в шали.

ким и отдаются в руки первого встречного, – странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, – а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят; чем дальше он от них, тем больше их старание услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу своему мелкие, лживые и гадкие.

– Будь я тогда здесь, – говаривал Вотрен, – с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злключения оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо знаток в этих делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдвое пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелких поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол.

– Никаких корншонов, никаких анчоусов: от них один убыток! – объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Господин Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец, при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несообразно с состоянием, так скупно тратился на свой пансион? В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Горио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка карликовых умов приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до

девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Горио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки все кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловредными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» – в старого шута. Папаша Горио то оказывался человеком, который забегал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, *пощипывал на ренте*, после того, как разорился на большой игре, – такова была версия Вотрена, поселившегося тогда в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, – но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы *достигнуть этого*. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужившим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однако же, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, *одетая, как божество*, в прюнельевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует господин Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой.

– Сударыня, – сказала она вернувшись, – а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу Эстрапады<sup>23</sup> стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села она!

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.

– Господин Горио, вас любят красотки, – смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая, – сказала вдова, намекая на его гостью.

– Это моя дочь, – ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио – последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаша Горио.

– Да их две! – заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.

Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.

– Да их три! – воскликнула Сильвия.

Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете,

<sup>23</sup> Прадо – парижское здание, предназначенное для увеселительных целей.



одетая в бальный туалет.

– Целых четыре! – воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходящую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама его старшая дочь.

– Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? – съязвила г-жа Воке.

– Только две дочери, – ответил ей жилец смиренно, как человек разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос – грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио – это старый распутник, только благодаря искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос – следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности – все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фракком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио все худел и худел; икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житья на улице Нев-Сент-Женевьев он стал сам на себя непохож. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юношеской улыбкой на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь глядел семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! – теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим – жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом.

Как то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?» – ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.

– Иногда они заходят, – ответил он взволнованным голосом.

– Ах, вот как! Иногда вы их еще выдаете? – воскликнули студенты. Bravo, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и

сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспоминание о бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:

– Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда фуражноносных, как выразился «разовый» нахлебник, чиновник Естественноисторического музея... Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре – и в рассуждениях, и в ответах – он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-таки по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.

Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении, хорошо знакомом молодым людям, если они очень способны вообще или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показательными прелестями Парижа. Студенту нехватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и значные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор и постигает, наконец, соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядываться на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским Полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключалось в пенсии, жили в маленьком имении Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какою мелочной бережливостью заботливо припрятавались самые дешевые продукты; пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерило его желание преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как

только он очутится в открытом море, не зная, ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Эжен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нервической красотой, на которую так падки женщины? Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, теперь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тетка г-жа де Марсийяк была когда-то при дворе и завела знакомства в верхах аристократического мира. Среди воспоминаний тетки, которыми она прежде так часто и так заманчиво делилась с ним, юных честолюбец вдруг усмотрел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в Школе правоведения; он расспросил ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветви генеалогического дерева, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников, изо всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наиболее отзывчивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, передав его Эжену, сказала, что коль скоро он преуспеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других родственников. Спустя несколько дней по своем прибытии в Париж Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босеан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день.

Таково было положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Эжен побывал на балу у г-жи де Босеан и пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести бессонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случилось, когда он приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо,<sup>24</sup> забрызгав грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента.

Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен несколько минут сидел задумавшись. Виконтесса де Босеан, с которой он только что свел знакомство, была одной из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря своей тетке де Марсийяк бедный студент был хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность: быть принятым в этих раззолоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завоевал право на вход куда угодно. Слепленный таким блестящим собранием, Эжен едва успел обменяться лишь несколькими фразами с г-жой де Босеан и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана. Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, – женщину, которую маркиз де Ронкероль звал «чистокровной лошадей». Нервная утонченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая женщина» – такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов», «оссиановские лица»<sup>25</sup> – всю старую любовную мифологию, от-

---

<sup>24</sup> Одеон – парижский драматический театр.

<sup>25</sup> Оссиановские лица – то есть лица в духе образов «Поэм Оссиана», произведения шотландского поэта Джемса Макферсона (1736–1796). Макферсон представил читателям свое произведение, написанное им по мотивам шотланд-

вергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.

– Где можно встретить вас, мадам? – спросил он напрямик, с той страстной силой, которая так нравится женщинам.

– Где?.. Хотя бы в Булонском лесу, у Буфонов,<sup>26</sup> у меня, всюду, ответила она.

И предприимчивый южанин постарался сблизиться с пленительной графиней, насколько это мыслимо для молодого человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою даму «знатной дамой», Эжен отрекомендовался ей кузенком г-жи де Босеан, после чего графиня разрешила ему явиться к ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощанье он заключил, что надо сделать ей визит. На свое счастье, он встретил человека, который не посмеялся его наивности, считавшейся смертным грехом в среде прославленных повес этой эпохи, всяких Моленкуров, Ронкеролей, Максимумов де Трай, де Марсе, Ажуда-Пинто, Ванденесов, которые блистали безумным щегольством, вращаясь в обществе самых роскошных женщин – леди Брэндон, герцогини де Ланже, графини Кергаруэт, г-жи Серизи и г-жи де Ланти, герцогини де Карильяно, графини Ферро, маркизы д'Эглемон, г-жи Фирмиани, маркизы де Листомэр и маркизы д'Эспар, герцогини де Мофриньез и дам из семейства де Гранлье. Итак, по счастью, неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любовника герцогини де Ланже, генерала, отличавшегося детским простодушием, который и сообщил ему, что графиня де Ресто живет на Гельдерской улице.

Быть молодым, мечтать о женщине, жаждаешь светской жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери двух домов; стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан и поклониться колено на Шоссе д'Антен<sup>27</sup> перед графиней де Ресто, пронизывать взором анфиладу парижских салонов и считать себя достаточно красивым, чтобы найти там покровительство и помощь в женском сердце; чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натянутый канат, итти по нему со смелостью никогда не падающего акробата и приобрести самый надежный балансир в лице обворожительной женщины! Кто бы, во власти таких дум и такой женщины, величественно возникавшей перед ним здесь – рядом с торфяной печкой, между нищетой и Сводом законов, – кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не видел впереди удачи, как Эжен? разгулявшаяся мысль так щедро давала векселя под будущие радости, что он уже воображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время стон, подобный скорбному вздоху св. Иосифа, нарушил молчанье ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-то предсмертный хрип. Эжен тихонько открыл дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаша Горио. Опасаясь, не плохо ли его соседу, он приложил глаз к замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за работой, казалось настолько подозрительной, что студент решил оказать услугу обществу, хорошенько выследив ночные махинации так называемого вермишельщика. Папаша Горио еще раньше перевернул стол вверх ногами и привязал к его перекладине большую чашку и блюдо из позолоченного серебра, а теперь эти предметы, украшенные богатой чеканкой, он обвивал чем-то вроде каната, стягивая так сильно, что свертывал их трубкой, повидимому для того, чтобы превратить в слитки.

«Ого! Каков мужчина! – подумал Растиньяк, глядя на жилистые руки старика, пока он с помощью веревки мял, как тесто, позолоченное серебро. Не вор ли он или сбытчик краденого, который только прикидывается немощным дурачком и живет, как нищий, чтобы спокойно заниматься своим промыслом?» спрашивал себя Эжен выпрямляясь.

Студент снова приник глазом к замочной скважине. Папаша Горио разматал канат, взял ком серебра, положил его на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать, придавая форму

---

ского народного творчества, как английский перевод песен легендарного шотландского певца Оссиана, жившего в III в. н. э.

<sup>26</sup> Буфоны – обиходное обозначение парижского театра Комической оперы, слившегося с 1807 г. с театром Итальянской комедии.

<sup>27</sup> Шоссе д'Антен – район Парижа, где во времена Бальзака жила финансовая буржуазия.



круглой чурки, – операция, с которой он справлялся изумительно легко.

«Да, силы в нем, пожалуй, не меньше чем в польском короле Августе!» подумал Эжен, когда серебряная чурка стала почти круглой.

Папаша Горио печально глянул на дело рук своих, из глаз его потекли слезы, он задул витую свечечку, при свете которой плющил серебро, и Растиньяк услышал, как он, вздохнув, улегся спать.

«Это сумасшедший», – подумал студент.

– Бедное дитя! – громко произнес папаша Горио.

После таких слов Эжен решил, что лучше помолчать об этом происшествии и не осуждать столь опрометчиво соседа. Студент хотел было уйти к себе, но вдруг он услышал еле уловимое шуршанье, – как если бы по лестнице поднимались люди, обутые в мягкие покромчатые туфли. Эжен напряг слух и тогда в самом деле отчетливо различил дыхание каких-то двух людей. Не услышав ни скрипа двери, ни людских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже, в комнате Вотрена.

«Вот сколько тайн в семейном пансионе!» – произнес он про себя.

Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя дверь опять не скрипнула, снова послышалось дыхание двух человек. Затем, по мере того как оба они спускались с лестницы, звук, удаляясь, замирал.

– Кто там ходит? – крикнула г-жа Воке, раскрыв свое окно.

– Это я, мамаша Воке, иду к себе, – ответил тихим басом Вотрен.

«Странно! Ведь Кристоф запер на засов, – недоумевал Эжен, входя к себе в комнату. – В Париже, чтобы хорошо знать все, что творится вокруг, не следует спать по ночам».

Два этих небольших события отвлекли его от честолюбиво-любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако внимание студента рассеивалось подозрениями насчет папаши Горио, а еще больше – образом графини де Ресто, ежеминутно возникавшей перед ним как вестница его блестящего предназначенья; в конце концов он лег в постель и заснул сразу как убитый. Когда юноши решают посвятить всю ночь труду, они в семи случаях из десяти предаются сну. Чтобы не спать ночами, надо быть старше двадцати лет.

На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакивает, что даже самые точные люди ошибаются во времени. Деловые встречи расстраиваются. Бьет полдень, а кажется, что только восемь часов утра. В половине десятого г-жа Воке еще не поднималась с постели. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже с опозданием, мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов и подвергнутого Сильвией длительному кипячению, чтобы г-жа Воке не заметила такого незаконного побора.

– Сильвия, – обратился к ней Кристоф, макая в кофе первый свой гренок, – что там ни говори, а господин Вотрен человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое; ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить.

– А он дал что-нибудь тебе?

– Сто су за один месяц, – оно, значит, вроде как «помалкивай».

– Он да госпожа Кутюр одни не жмутся, а прочие так и норовят левой рукой взять обратно, что дают правой на Новый год, – сказала Сильвия.

– Да и дают-то что?! – заметил Кристоф. – Каких-нибудь сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит себе башмаки. А этот скаред Пуаре обходится без ваксы; да он ее скорее вылизет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Что же до этого щуплого студента, так он дает мне сорок су. А мне дороже стоят одни щетки, да вдобавок он сам торгует своим старым платьем. Ну и трущоба!

– Это еще что! – ответила Сильвия, попивая маленькими глотками кофе. Наше место как-никак лучшее в квартале; жить можно. А вот что, Кристоф... я опять насчет почтенного дядюшки Вотрена – с тобой ни о чем не говорили?

– Было дело. Тут на-днях повстречался я на улице с одним господином, а он и говорит мне: «Не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки?» А я ему на это: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того». Я, значит, доложил об этом господину Вотрену, а он

сказал: «Хорошо сказано, паренек! Так всегда и отвечай. Чего уж неприятнее, как ежели узнают о твоих слабостях. От этого, глядишь, и брак расстроился».

– Да и ко мне на рынке подъезжали, не видела ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку. Прямо смех! Слышишь, – сказала она, прерывая себя, – на Валь-де-Грас пробило уже без четверти десять, а никто и не шелохнется.

– Хватилась! Да никого и нет. Госпожа Кутюр со своей девицей еще с восьми часов пошли к причастию к святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только в десять, после лекций. Я убирал лестницу и видел, как они уходили, еще папаша Горио задел меня своим свертком, твердым, как железо. И чем он только промышляет, этот старикашка? Другие его гоняют, как кубарь, а все-таки он человек хороший, лучше их всех. Дает-то он пустяки, зато уж дамы, к которым он посылает меня иной раз, отваливают на водку – знай наших, ну, да и сами разодеты хоть куда.

– Уж не те ли, что он зовет своими дочками? Их целая дюжина.

– Я ходил только к двум, тем самым, что приходили сюда.

– Никак хозяйка завозилась; поднимет сейчас гам, надо итти. Кристоф, постереги-ка молоко от кошки.

Сильвия поднялась к хозяйке.

– Что это значит, Сильвия? Без четверти десять, я сплю, как сурок, а вам и горя мало. Никогда не бывало ничего подобного.

– Это все туман, такой, что хоть ножом его режь.

– А завтрак?

– Куда там! В ваших жильцов, видно бес вселился, – они улепетнули ни свет ни пора.

– Выражайся правильно, Сильвия, – заметила г-жа Воке, – говорят: ни свет ни заря.

– Ладно, буду говорить по-вашему. А завтракать можете в десять часов. Мишонетка и ее По-рей еще не ворошились. Только их и в доме, да и те спят, как колоды; колоды и есть.

– Однако, Сильвия, ты их соединяешь вместе, словно...

– Словно что? – подхватила Сильвия, заливаясь глупым смехом. – Из двух выходит пара.

– Странно, Сильвия, как это господин Вотрен вошел сегодня ночью, когда Кристоф уже запер на засов?

– Даже совсем напротив, сударыня. Он услышал господина Вотрена и сошел вниз отпереть ему. А вы уж надумали...

– Дай мне кофту и поживее займись завтраком. Приготовь остатки баранины с картофелем и подай вареных груш, что по два лиара штука.

Через несколько минут Воке сошла вниз, как раз в то время, когда кот ударом лапы сдвинул тарелку, накрывавшую чашку с молоком, и торопливо лакал его.

– Мистигри! – крикнула Воке.

Кот удрал, но затем вернулся и стал тереться об ее ноги.

– Да, да, подмазывайся, старый подлюга! – сказала ему хозяйка. Сильвия! Сильвия!

– Ну! чего еще, сударыня?

– Смотри-ка, сколько вылакал кот!

– Это скотина Кристоф виноват, я же ему сказала накрыть на стол. Куда это он запропастился? Не беспокойтесь, сударыня; это молоко пойдет для кофе папаши Горио. Подолью воды, он и не заметит. Он ничего не замечает, даже что есть.

– Куда пошел этот шут гороховый? – спросила г-жа Воке, расставляя тарелки.

– Кто его ведает, где его черти носят?

– Переспала я, – заметила г-жа Воке.

– А свежи, как роза...

В эту минуту послышался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая басом:

Объехал я весь белый свет  
И счастлив был необычайно...

– Хо! Хо! Доброе утро, мамаша Воке, – сказал он, заметив хозяйку и игриво заключая ее в объятия.

– Ну же, бросьте...

– Скажите: «Нахал!» Говорите же! Вам ведь хочется сказать?.. Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Разве я не мил, а?

Блондинок и брюнеток цвет  
Умел везде срывать...

Сейчас я видел нечто странное...

случайно...

– А что? – спросила вдова.

– Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра, сплюснутый очень здорово для человека без сноровки.

– Да ну, в самом деле?

– Да. Я шел домой, проводив одного своего приятеля, который уезжает совсем из Франции через посредство Компании почтовых сообщений; я дождался папаша Горио, чтобы понаблюдать за ним, – так, для смеху. Он вернулся в наш квартал, на улицу де-Грэ, где и вошел в дом к известному ростовщику по имени Гобсек, – плут, каких мало, способен сделать костяшки для домино из костей родного отца; это – еврей, араб, грек, цыган, но обокрасть его дело мудреное: денежки свои он держит в банке.

– А чем же занимается папаша Горио?

– А тем, что разоряется, – ответил Вотрен. – Этот болван настолько глуп, что тратится на девочек, а они...

– Вот он! – сказала Сильвия.

– Кристоф, – кликнул папаша Горио, – поднимись ко мне!

Кристоф последовал за Горио и вскоре сошел вниз.

– Ты куда? – спросила г-жа Воке слугу.

– По поручению господина Горио.

– А это что такое? – сказал Вотрен, вырывая из рук Кристофа письмо, на котором было написано: Графине Анастаси де Ресто. – Куда идешь? – спросил Вотрен, отдавая письмо Кристофу.

– На Гельдерскую улицу. Мне велено отдать это письмо графине в собственные руки.

– А что это там внутри?! – сказал Вотрен, рассматривая письмо на свет. – Банковский билет?.. Не то! – Он приоткрыл конверт. – Погашенный вексель! – воскликнул он. – Вот так штука! Любезен же старый дуралей. Иди, ловкач, сказал он, накрывая своей лапой голову Кристофа и перевертывая его, как волчок, – тебе здорово дадут на водку.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Г-жа Воке разводила огонь в печке; хозяйке помогал Вотрен, все время напевая:

Объехал я весь белый свет  
И счастлив был необычайно...

Когда все было уже готово, вернулись г-жа Кутюр и мадмуазель Тайфер.

– Откуда вы так рано, дорогая? – спросила у г-жи Кутюр г-жа Воке.

– Мы с ней молились у святого Этьена дю-Мон; ведь сегодня нам предстоит итти к господину Тайферу. Бедная девочка дрожит, как лист, – отвечала г-жа Кутюр, усаживаясь против печки и протягивая к топке свои ноги, обутые в ботинки, от которых пошел пар.

– Погрейтесь, Викторина, – предложила г-жа Воке.

– Просить бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, дело хорошее, сказал Вотрен, подавая стул сироте. – Но этого мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все начистоту этой свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, а он не дает вам приданого. По теперешним временам и красивой девушке приданое необходимо.

– Бедный ребенок, – посочувствовала г-жа Воке. – Послушайте, моя голубка, ваш отец – чудовище. Он накликает на себя всяких бед.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и вдова замолчала, заметив знак, сделанный ей г-жой Кутюр.

– Хоть бы нам удалось повидать его, хоть бы я могла поговорить с ним и передать ему прощальное письмо его жены! – снова начала вдова интендантского комиссара. – Я не рискнула послать письмо по почте; он знает мой почерк.

– О женщины невинные, несчастные, гонимые, – воскликнул Вотрен, перебив ее, – до чего же вы дошли! На-днях я займусь вашими делами, и все пойдет на лад.

– О господин Вотрен, – обратилась к нему Викторина, бросая на него влажный и горячий взор, не возмутивший, впрочем, спокойствия Вотрена, – если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы молиться за вас богу. Будьте уверены в признательности...

– «Объехал я весь белый свет...» – иронически пропел Вотрен.

В этот момент спустились вниз Пуаре, мадмуазель Мишоно и Горио, вероятно привлеченные запахом подливки, которую готовила Сильвия к остаткам баранины. Когда нахлебники, приветствуя друг друга, сели за стол, пробило десять часов, и с улицы послышались шаги студента.

– Вот и хорошо, господин Эжен; сегодня вы позавтракаете со всеми вместе, – сказала Сильвия.

Студент поздоровался с присутствующими и сел рядом с папашей Горио.

– Со мной случилось удивительное приключение, – сказал он, наложив себе вдоволь баранины и отрезая кусок хлеба, причем г-жа Воке, как и всегда, прикинула на глаз весь этого куска.

– Приключение?! – воскликнул Пуаре.

– Так чему же вы дивитесь, старая шляпа? – сказал Вотрен, обращаясь к Пуаре. – Господин Эжен создан для приключений.

Мадмуазель Тайфер робко взглянула на юного студента.

– Расскажите же нам о вашем приключении, – попросила г-жа Воке.

– Вчера я был на балу у своей родственницы, виконтессы де Босеан, в ее великолепном особняке, где комнаты обиты шелком. Короче говоря, она устроила нам роскошный праздник, на котором я веселился, как король...

– лек, – добавил Вотрен, прерывая его речь.

– Что вы этим хотите сказать? – вспыхнул Эжен.

– Я говорю – королек, потому что королям живетесь гораздо веселее, чем королям.

– Да, это верно, – заметил «дакальщик» Пуаре, – я бы скорей предпочел быть этой беззаботной птичкой, чем королем, потому что...

– На этом балу, – продолжал студент, обрывая Пуаре, – я танцевал с одной из первых красавиц, восхитительной графиней, самым прелестным созданием, какое когда-либо встречал. Цветы персика красовались у нее на голове, сбоку был приколот изумительный букет живых, благоухающих цветов. Да что там! Разве женщина, одухотворенная танцем, поддается описанию? – надо ее видеть! И вот сегодня, около девяти часов утра, я встретил эту божественную графиню; она шла пешком по улице де-Грэ. О, как забилося мое сердце, я вообразил, что...

– ...что она шла сюда, – продолжал Вотрен, окинув студента глубоким взглядом. – А всего верней шла она к дядюшке Гобсеку, к ростовщику. Если вы когда-нибудь копнете в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там ростовщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут Анастаси де Ресто, и живет она на Гельдерской улице.

При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена. Папаша Горио резко вскинул голову и устремил на обоих собеседников живой и тревожный взор, поразивший всех.



– Кристоф пришел слишком поздно: она туда уже ходила! – скорбно воскликнул Горио.

– Я угадал, – сказал Вотрен на ухо г-же Воке.

Горио ел машинально, не разбирая, что он ест. Никогда не казался он до такой степени бес-толковым и поглощенным своей заботой, как в этот раз.

– Господин Вотрен, какой бес назвал вам ее имя? – спросил Эжен.

– Ага! Вот оно что! Папаша-то Горио знает его отлично! Почему же не знать и мне?!

– Господин Горио! – окликнул его студент.

– А? Что? Так вчера она была очень красива? – спросил бедняга старик.

– Кто?

– Госпожа де Ресто.

– Взгляните на старого скрягу, как разгорелись у него глаза! – сказала Вотрену г-жа Воке.

– Уж не ее ли он содержит? – шепнула студенту мадмуазель Мишоно.

– О да! Она была бесподобно хороша, – продолжал Эжен, на которого жадно смотрел папаша Горио. – Не будь самой госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы царицей бала, молодые люди только и смотрели, что на нее, я оказался двенадцатым в ее списке кавалеров; она была занята во всех контрдансах. Все остальные женщины бесились. Если кто был вчера счастлив, так это она. Совершенно правильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми парусами, лошади на галопе и женщины, когда она танцует.

– Вчера – наверху счастья, у герцогини, а утром – на последней ступени бедствия, у ростовщика: вот вам парижанка! – сказал Вотрен. – Когда мужья не в состоянии поддерживать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А если не умеют продаваться, распотрошат родную мать, лишь бы найти, чем блеснуть. Словом, готовы на все что угодно. Старо, как мир!

Лицо папаша Горио, сиявшее, как солнце в ясный день, пока он слушал Растиньяка, сразу омрачилось при этом жестоком замечании Вотрена.

– Ну, а где же ваше приключение? – спросила г-жа Воке. – Вы разговаривали с ней? Спрашивали, не собирается ли она изучать право?

– Она не видела меня, – ответил Эжен. – Но встретить одну из самых красивых парижанок на улице де-Грэ в девять часов утра, если она, наверно, вернулась с бала в два часа ночи, разве это не странно? Только в Париже и возможны такого рода приключения.

– Ну-ну! Бывают позабавнее! – воскликнул Вотрен.

Мадмуазель Тайфер была так поглощена предстоящим свиданием с отцом, что еле слушала. Г-жа Кутюр подала ей знак, чтобы она встала из-за стола и шла одеваться. Когда обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.

– Ну что! Видали? – сказала г-жа Воке Вотрену и остальным пансионерам. – Ясно, что он разорился на подобных женщин.

– Меня не уверят никогда, что красавица графиня де Ресто принадлежит папаше Горио! – воскликнул студент.

– Да мы и не стремимся вас уверить, – перебил его Вотрен. – Вы еще слишком молоды, чтобы знать хорошо Париж; но когда-нибудь вы узнаете, что в нем встречаются, как мы их называем, одержимые страстями.

При этих словах мадмуазель Мишоно насторожилась и бросила на Вотрена понимающий взгляд. Ни дать ни взять – полковая лошадь, услышавшая звук трубы.

– Так! Так! – перебил себя Вотрен, пристально взглянув на Мишоно. – Уж не было ли и у нас кое-каких страстишек?

Старая дева потупила глаза, словно монашенка при виде голых статуй.

– И вот, – продолжал Вотрен, – эти люди уцепятся за какую-нибудь навязчивую идею так, что не отцепишь. Жаждут они воды определенной, из определенного колодца, нередко затхлого, и чтобы напиться из него, они продадут жен и детей, продадут душу черту. Для одних такой колодец азартная игра, биржа, собирание картин или насекомых, музыка; для других женщина, которая умеет их полакомить. Предложите этим людям всех женщин мира, им наплевать: подай им только ту, которая удовлетворяет их страстям. Частенько эта женщина вовсе их не любит, помыкает ими и очень дорого продает им крохи удовлетворения, и что же? – моим проказникам это не претит:

они снесут в ломбард последнее одеяло, чтобы принести ей последнее свое экю. Папаша Горио из их числа. Графиня обрабатывает его, потому что он не болтлив, – вот вам высший свет! Жалкий чудак только о ней и думает. Вне своей страсти, вы сами видите, он тупое животное. А наведите-ка его на эту тему, и лицо его заиграет, как алмаз. Разгадка его тайны – штука нехитрая. Сегодня утром он отнес серебряную вещь на перелив; я видел, как он входил к дядюшке Гобсеку на улице де-Грэ. Следите хорошенько! Придя оттуда, он посылает к графине де Ресто этого дурака Кристофа, который показал нам адрес на письме, куда был вложен погашенный вексель. Ясно, что раз графиня тоже ходила к старому ростовщику, значит дело было крайне спешное. Папаша Горио любезно уплатил вместо нее. Чтобы разобраться в этом деле, не надо быть семи пядей во лбу. Все доказывает вам, юный мой студент, что, пока графиня смеялась, танцевала, ломалась, потряхивала персиковыми цветами и подбирала пальчиками платье, – у ней, как говорится, сердце было не на месте при мысли о просроченных векселях – своих или любовника.

– Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать правду. Завтра же пойду к графине де Ресто! – воскликнул студент.

– Да, – подтвердил Пуаре, – завтра надо пойти к графине де Ресто.

– Может быть, вы встретите там и чудака Горио, который явится получить что следует за свою любезность.

– Значит, ваш Париж – грязное болото, – сказал Эжен с отвращением.

– И презабавное, – добавил Вотрен. – Те, кто пачкается в нем, разъезжая в экипажах, – это порядочные люди, а те, кто пачкается, разгуливая пешком, мошенники. Стащите, на свою беду, какую-нибудь безделку, вас выставят на площади Дворца правосудия, как диковину. Украдите миллион, и вы во всех салонах будете ходячей добродетелью. Для поддержания такой морали вы платите тридцать миллионов в год жандармам и суду. Мило!

– Как? Папаша Горио продал на перелив свою серебряную золоченую чашку? – воскликнула Воке.

– Не было ли там на крышке двух горлинок? – спросил Эжен.

– Вот именно.

– А ведь он очень дорожил своим прибором, он плакал, когда плющил блюдо и чашку. Случайно я это видел, – сказал Эжен.

– Они ему были дороже жизни, – ответила Воке.

– Видите, какая страсть в нашем чуде! – воскликнул Вотрен. – Эта женщина знает, как его раззадорить.

Студент поднялся к себе наверх. Вотрен ушел из дому. Через несколько минут г-жа Кутюр и Викторина сели в фиакр, за которым посылали Сильвию. Пуаре предложил руку мадмуазель Мишоно, и они вдвоем отправились в Ботанический сад – провести там два часа лучшего времени дня.

– Ну вот, они вроде как и женаты, – сказала толстуха Сильвия. – Сегодня первый раз выйдут вместе. Оба до того сухи, что, стукнишь они друг об дружку, так брызнут искры, будто от огнива.

– Тогда прощай шаль мадмуазель Мишоно: загорится, словно трут, – смеясь заметила г-жа Воке.

Вернувшись в четыре часа дня, папаша Горио увидел при свете копивших ламп Викторину с красными от слез глазами. Г-жа Воке слушала рассказ о неудачной утренней поездке к г-ну Тайферу. Досадуя на настойчивость дочери и этой старой женщины, Тайфер решил принять их, чтобы объясниться.

– Представьте себе, дорогая моя, – жаловалась г-жа Кутюр вдове Воке, он даже не предложил Викторине сесть, и она все время стояла. Мне же он сказал без раздраженья, совершенно холодно, чтобы мы не трудились ходить к нему и что мадмуазель, – он так и не назвал ее дочерью, – уронила себя в его мнение, беспокоя его так назойливо (один-то раз в год, чудовище!); что, мол, Викторине не на что притязать, так как ее мать вышла замуж, не имея состояния; словом, наговорил самых жестоких вещей, отчего бедная девочка залилась горючими слезами. Она бросилась к ногам отца и мужественно заявила, что была так настойчива лишь ради матери и безропотно под-

чинится его воле, но умоляет его прочесть завещание покойницы; достала письмо и подала ему, говоря самые трогательные, чудесные слова; даже не знаю, откуда они у нее брались, видно их подсказал ей сам бог: такое вдохновение нашло на бедного ребенка; я слушала ее и плакала, как дурочка. А знаете, как вел себя этот ужасный человек? Он стриг ногти, письмо же, омоченное слезами бедной госпожи Тайфер, швырнул на камин, сказав: «Хорошо!» Он хотел поднять дочь с пола, но Викторина хватала и целовала его руки, а он их вырывал. Разве это не злодейство? Тут вошел его дуралей-сын и даже не поздоровался с сестрой.

– Ведь это же чудовища! – воскликнул папаша Горио.

– Затем, – продолжала г-жа Кутюр, не обращая внимания на восклицание старика, – отец и сын распрощались с нами, ссылаясь на спешные дела. Вот вам и все наше посещение. По крайней мере он видел свою дочь. Не понимаю, как он может отречься от нее, ведь они похожи друг на друга, как две капли воды.

Жильцы и нахлебники со стороны, прибывая друг за другом, обменивались приветствиями и всяким вздором, который в известных слоях парижского общества часто сходит за веселое остроумие, – его основой является какая-нибудь нелепость, а вся соль – в произношении и жесте. Этот жаргон непрестанно меняется. Шутка, порождающая его, не живет и месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная песенка, выходки актеров все служит пищей для подобной игры ума, состоящей в том, что собеседники, подхватив на лету какую-нибудь мысль или словцо, перекидывают их друг другу, как волан. После недавнего изобретения диорамы, достигшей более высокой степени оптической иллюзии, чем панорама, в некоторых живописных мастерских привилась нелепая манера добавлять к словам окончание «рама», и эту манеру, как некий плодоносный черешок, привил к «Дому Воке» один из завсегдатаев, юный художник.

– Ну, господин Пуаре, – сказал музейный чиновник, – как ваше здоровье рама? – И, не дожидаясь ответа, обратился к г-же Кутюр и Викторине: – Милые дамы, у вас горе?

– А будем мы обедать? Мой желудок ушел usque ad talones,<sup>28</sup> – воскликнул студент-медик Орас Бьяншон, друг Растиньяка.

– Какая сегодня студерама! – заметил Вотрен. – Ну-ка, подвиньтесь, папаша Горио. Какого черта! Вы своей ногой заслонили все устье печки.

– Достославный господин Вотрен, – сказал Бьяншон, – а почему вы говорите «студерама»? Это неправильно, надо – «стужерама».

– Нет, – возразил музейный чиновник, – надо – «студерама», – ведь говорится: «студень».

– Ха! Ха!

– А вот и его превосходительство маркиз де Растиньяк, доктор кривдоведения! – воскликнул Бьяншон, хватая Эжена за шею и сжимая ее, как будто собирался задушить его. – Эй вы, ко мне, на помощь!

Мадмуазель Мишоно вошла тихонько, молча поклонилась, молча села рядом с тремя женщинами.

– Меня всегда пробирает дрожь от этой старой летучей мыши, – шепнул Бьяншон Вотрену. – Я изучаю систему Галля<sup>29</sup> и нахожу у Мишоно шишки Иуды.

– А вы были с ним знакомы? – спросил Вотрен.

– Кто же с ним не встречался! – ответил Бьяншон. – Честное слово, эта белесая старая дева производит впечатление одного из тех длинных червей, которые в конце концов съедают целую балку.

– Это значит вот что, молодой человек, – произнес Вотрен, разглаживая бакенбарды:

И розой прожила, как розы, только утро

---

<sup>28</sup> В пятки (лат.).

<sup>29</sup> Галль Франц-Иосиф (1758–1828) – австрийский врач и анатом. Выдвинул антинаучную теорию – «френологию» – о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями, а также характером человека.

Их красоты предел.<sup>30</sup>

– Ага, вот и замечательный суп из чеготорамы! – воскликнул Пуаре, завидев Кристофа, который входил, почтительно неся похлебку.

– Простите, это суп из капусты, – ответила г-жа Воке.

Все молодые люди покатались со смеху.

– Влип Пуаре!

– Пуарета влипла!

– Отметьте два очка маменьке Воке, – сказал Вотрен. – Вы обратили внимание на туман сегодня утром? – спросил музейный чиновник.

– То был, – сказал Бьяншон, – туман неистовый и беспримерный, туман удушливый, меланхолический, унылый, беспросветный, как Горио.

– Гориорама, потому что в нем ни зги не видно, – пояснил художник.

– Эй, милорд Гоуриотт, это разговаривают об уас.

Сидя в конце стола у двери, в которую входила подававшая прислуга, папаша Горио поднял голову и нюхал взятый из-под салфетки кусок хлеба, по старой коммерческой привычке, еще проявлявшейся иногда.

– Ну, по-вашему, не хорош, что ли, хлеб? – резко крикнула Воке, покрывая своим голосом звон тарелок, ложек и голоса других.

– Наоборот, сударыня, он испечен из этампской муки первого сорта, ответил Горио.

– Откуда вы это знаете? – спросил Эжен.

– По белизне, на вкус.

– На вкус носа? Ведь вы же нюхаете хлеб, – сказала г-жа Воке. – Вы становитесь так бережливы, что в конце концов найдете способ питаться запахом из кухни.

– Тогда возьмите патент на это изобретение – наживете большое состояние! – крикнул музейный чиновник.

– Полноте, он это делает, чтобы убедить нас, будто был вермишельщиком, – заметил художник.

– Так у вас не нос, а колба? – снова ввязался музейный чиновник.

– Кол?.. как? – спросил Бьяншон.

– Кол-о-бок.

– Кол-о-кол.

– Кол-о-брод.

– Кол-ода.

– Кол-баса.

– Кол-чан.

– Кол-пик.

– Кол-рама.

Восемь ответов прокатились по зале с быстротою беглого огня и вызвали тем больше смеха, что папаша Горио бессмысленно глядел на сотрапезников, напоминая человека, который старается понять чужой язык.

– Кол?.. – спросил он Вотрена, сидевшего с ним рядом.

– Кол-пак, старина! – ответил Вотрен и, хлопнув ладонью по голове папаши Горио, нахлобучил ему шляпу по самые глаза. Бедный старик, озадаченный этим внезапным нападением, продолжал сидеть некоторое время неподвижно. Кристоф унес его тарелку, думая, что старик кончил есть суп, и когда папаша Горио, сдвинув со лба шляпу, взялся за ложку, он стукнул ею по пустому месту. Раздался взрыв общего смеха.

– Сударь, – сказал старик, – вы шутник дурного тона, и, если вы позволите себе еще раз так нахлобучивать...

– То что будет, папенька? – прервал его Вотрен.

---

<sup>30</sup> «И розой прожила...» – стихи французского поэта Франсуа де Малерба (1555–1628).



– То когда-нибудь вы дорого заплатите за это...

– В аду, не правда ли? – спросил художник. – В том темном уголке, куда ставят в наказание озорных ребят!

– Мадмуазель, что же вы не кушаете? – обратился Вотрен к Викторине. Видно, ваш папенька оказался упористым?

– Один ужас, – ответила г-жа Кутюр.

– Надо наставить его на ум.

– Но, поскольку мадмуазель не ест, – сказал Растиньяк, сидевший рядом с Бьяншоном, – она могла бы возбудить иск о возврате денег за питание. Э! Э! Смотрите, как папаша Горио устался на мадмуазель Тайфер.

Старик, забыв обиду, разглядывал бедную девушку, в чертах которой ярко отражалось неподдельное страдание, страдание дочери, любящей своего отца и отвергнутой им.

– Дорогой мой, – говорил шопотом Эжен Бьяншону, – мы ошибались относительно папаши Горио. Это не дурак и не человек без нервов. Приложи к нему твою систему Галля и поделись со мной своими мыслями на этот счет. Я видел этой ночью, как он скручивал серебряное золоченое блюдо, точно оно из воска, и сейчас его лицо говорит о незаурядных чувствах. Жизнь его кажется мне очень таинственной и стоит изучения. Напрасно смеешься, Бьяншон, я не шучу.

– Что этот человек – врачебный случай, я согласен, – ответил Бьяншон, и если он захочет, я готов произвести вскрытие.

– Нет, ты пощупай его голову.

– Ишь ты, а вдруг его глупость заразительна!

На следующий день, часа в три, Растиньяк, одетый очень элегантно, отправился к графине де Ресто, предаваясь дорогой тем безрассудно-ветреным надеждам, что вносят в жизнь молодых людей столько прекрасных волнующих переживаний; тогда для них не существует ни препятствий, ни опасностей, они во всем видят успех, поэтизируют свою жизнь одной игрой воображения, а когда рушатся их планы, основанные только на необузданных желаньях, то сразу впадают в уныние и чувствуют себя несчастными; хорошо, что они неопытны и робки, иначе общественный порядок стал бы невозможен. Эжен шел, принимая все предосторожности, чтобы не запылиться, но в то же время обдумывал свой разговор с графиней де Ресто, запасался остроумием, сочинял ответы в воображаемой беседе, оттачивал тонкие выражения и фразы в духе Талейрана, предполагая всякие счастливые возможности для любовного признания, на котором он строил свое будущее. Студент, однако, запылится, – пришлось в Пале-Рояле чистить штаны и сапоги.

«Будь я богат, – размышлял Эжен, разменивая монету в сто су, взятую на крайний случай, – ехал бы я себе в карете и мог бы думать на свободе».

Наконец он добрался до Гельдерской улицы и спросил графиню де Ресто. Как человек, уверенный в своем конечном торжестве, Эжен с немою яростью, но все же выдержал презрительные взгляды челяди, заметившей, что он шел пешком по двору, не слышавшей шума экипажа у ворот. Эти взгляды ощущались тем острее, что Эжен пережил чувство унижения еще входя во двор, где била копытами о землю красивая лошадь в богатой сбруе, запряженная в щегольской кабриолет такого пошиба, какой гласит о расточительно широкой жизни и вызывает мысль о привычке ко всем парижским благам. Предоставленный самому себе, Эжен впал в уныние. Ящички, открывшиеся у него в мозгу и, по его расчетам, наполненные остроумием, вдруг захлопнулись: он поглупел. Пока лакей ходил докладывать графине о пришедшем госте, Эжен ждал ответа в передней у окна и, упираясь одной ногою в пол, облокотясь на шпингалет, машинально смотрел во двор. Время тянулось бесконечно, и он ушел бы, не будь в нем южного упорства, способного делать чудеса, когда оно идет напролом.

– Сударь, – обратился к нему лакей, – графиня в будуаре и очень занята, она мне не ответила; если вам угодно, пройдите в гостиную, там уже есть гость.

Изумляясь страшной власти этой челяди, способной одним словом вынести приговор своим хозяевам, Растиньяк, – наверно, думая показать наглецам-лакеям, что ему все в доме известно, – смело открыл дверь, откуда только что вышел лакей, и влетел в комнату, где находились буфеты, лампы и прибор для нагревания купальных полотенец; там же был выход в темный коридор и на

внутреннюю лестницу. Подавленный смех донесся из передней и довершил смущение Эжена.

– Сударь, в гостиную пожалуйста сюда, – сказал ему лакей с деланной почтительностью, звучащей, как новая насмешка.

Эжен бросился обратно так стремительно, что наскочил на ванну, но, к счастью, удержал на голове цилиндр, который чуть не упал в налитую воду. В эту минуту в конце длинного коридора, освещенного небольшой лампой, растворилась дверь, и Растиньяк услышал голос графини де Ресто и папаша Горио, а затем звук поцелуя. Эжен вошел в столовую, пересек ее в сопровождении лакея и, наконец, попав в первую гостиную, где и остановился у окна, заметив, что оттуда виден двор. Ему хотелось посмотреть на этого папашу Горио: был ли он настоящим папашей Горио? У Эжена забилося сердце: он вспомнил страшные рассуждения Вотрена. Лакей ждал Растиньяка у дверей второй гостиной, как вдруг оттуда вышел изящный молодой человек, досадливо сказав:

– Морис, я ухожу. Передайте графине, что я ждал ее больше получаса.

Этот нахал, – вероятно, пользовавшийся здесь особыми правами, – напевая вполголоса итальянскую руладу, подошел к окну, где стоял Эжен, чтобы разглядеть лицо студента и посмотреть во двор.

– Не изволите ли, господин граф, подождать еще минутку, графиня закончила свои дела, – сказал Морис, возвращаясь к себе в переднюю.

Как раз в эту минуту папаша Горио вышел по черной лестнице к воротам. Старичок расправлял свой зонтик и собирался его раскрыть, не обратив внимания на то, что ворота открыты настежь и в них въезжает тильбюри, которым правит молодой человек с орденом в петлице. Папаша Горио едва успел отскочить назад, чтобы его не раздавили. Лошадь испугалась зонтика, кинулась в сторону и понеслась к подъезду. Молодой человек в тильбюри обернулся и, увидав папашу Горио, приветствовал его таким поклоном, каким скрепя сердце изъявляют уважение к нужному ростовщику или навязанное обстоятельствами почтение к запятнанному человеку, за что приходится потом краснеть. Папаша Горио добродушно ответил дружеским кивком. Все это произошло молниеносно. Обратив все свое внимание на этот эпизод, Эжен не замечал, что он в гостиной не один, и вдруг услышал голос графини де Ресто.

– Как, Максим, вы уходите? – сказала она с упреком и некоторой досадой.

Прибытие тильбюри ускользнуло от внимания графини. Растиньяк круто повернулся и увидел графиню: она была кокетливо одета в пеньюар из белого кашемира с розовыми бантами, причесана небрежно, как это бывает у парижанок по утрам; от нее шел аромат духов; она, наверно, приняла ванну, и красота ее, так сказать смягченная, носила более чувственный характер, глаза подернулись влагой. Взор молодых людей все видит, их чувства собирают воедино все излучения женщины, как растение вбирает в себя из воздуха необходимые для жизни вещества. Эжену не было надобности касаться рук графини, чтобы почувствовать их молодую свежесть. Ее грудь розоватыми тонами просвечивала сквозь кашемир и временами, когда чуть-чуть распахивался пеньюар, немного обнажалась, приковывая к себе взор Эжена. Графиня не нуждалась в помощи корсета, и только пояс подчеркивал стройность ее талии; шея призывала к любви, а ножки в ночных туфельках пленяли красотой. Лишь в тот момент, когда Максим взял ее руку, чтобы поцеловать, Эжен его заметил, а графиня заметила Эжена.

– Это вы, господин де Растиньяк? Очень рада вас видеть, – сказала она таким тоном, что умные люди сразу поняли бы, как надо поступить.

Де Трай поглядывал то на Эжена, то на графиню достаточно многозначительно, чтобы заставить непрощенного гостя удалиться. «Это еще что! надеюсь, дорогая, ты выставишь молодчика за дверь!» Эта фраза ясно, точно передала бы то, что нагло выражал взглядом высокомерный молодой человек – Максим, как называла его графиня Анастази, всматриваясь ему в лицо с такой готовностью повиноваться, которая разоблачает все тайны женщины, помимо ее сознания и воли.

Растиньяк проникся дикой ненавистью к этому молодому человеку. Прежде всего, глядя на белокурые, красиво завитые волосы Максима, он понял, насколько его собственная прическа отвратительна. К тому же Максим был в тонких чистых сапогах, а на сапогах Эжена, несмотря на все его заботы, обозначался легкий налет пыли. В довершение всего, сюртук на этом денди изящно облегал талию и придавал ему сходство с красивой женщиной, а на Эжене днем, в половине

третьего был черный фрак. Умный юноша с берегов Шаранты<sup>31</sup> сообразил, какое превосходство давал костюм высокому и тонкому денди с ясным взглядом, с бледной кожей – из числа тех, кто может обобрать и сироту.

Графиня де Ресто не стала дожидаться ответа Растиньяка и порхнула в другую гостиную, как на крыльях, распутив полы пеньюара, – они свивались, развивались и придавали ей вид бабочки; Максим последовал за ней. Взбешенный Эжен устремился за Максимом и графиней... Все трое сошлись на середине большой гостиной, против камина. Студент отлично сознавал, что служит помехой ненавистному Максиму; и все-таки, рискуя возбудить против себя неудовольствие графини, решил помешать денди. Эжен вспомнил, что видел этого молодого человека на балу у г-жи де Босеан, и в один миг сообразил, какую роль играл Максим у графини де Ресто; он с юношеской дерзостью, которая приводит к большим глупостям или к большим успехам, сказал себе: вот мой соперник, хочу торжествовать над ним!

Безрассудный юноша! Он не знал, что граф Максим де Трай, намеренно вызвав на дерзость, стрелял первым и убивал противника. Эжен был опытный охотник, но в тире он из двадцати двух фигур-мишеней еще не сбивал двадцати.

Молодой граф сел на диванчик у камина и, взяв щипцы, начал с такой яростью, с такой досадой мешать уголь, что красивое лицо Анастаси сразу затуманилось. Молодая женщина обернулась к Эжену и бросила на него холодно-вопросительный взгляд, говоривший настолько ясно: «Почему же вы не уходите?» – что благовоспитанные люди сейчас же нашли бы соответствующую фразу, одну из тех, что можно бы назвать фразами на прощанье.

Эжен, сделав приятное лицо, сказал:

– Мадам, я поспешил увидеть вас, чтобы... – он запнулся.

Дверь отворилась. Внезапно появился господин без шляпы, – тот, что правил тильбюри, – не поздоровался с графиней, взглянул угрюмо на студента и подал руку Максиму, произнеся: «Добрый день» каким-то братским тоном, что чрезвычайно удивило Растиньяка. Провинциальным молодым людям неведома вся прелесть жизни треугольником.

– Господин де Ресто, – представила графиня Эжену своего мужа.

Эжен отвесил глубокий поклон.

– Господин де Растиньяк, – продолжала графиня, представляя Эжена графу де Ресто. – Он родственник виконтессы де Босеан – через Марсийяков, и я имела удовольствие с ним встретиться у нее на последнем бале.

Графиня произнесла это почти напыщенно, с особой гордостью, свойственной хозяйкам дома, когда они могут доказать, что у них бывают только избранные; слова «родственник виконтессы де Босеан – через Марсийяков» произвели магическое действие – граф оставил свой холодно-церемонный тон и приветствовал Эжена:

– Счастлив с вами познакомиться.

Даже граф Максим де Трай тревожно взглянул на Растиньяка и сразу утратил свой наглый вид. Это прикосновение волшебной палочки, совершенное могуществом одного только имени, раскрыло все тридцать ящичков в мозгу южанина, вернув Эжену заготовленное остроумие. Какой-то свет внезапно озарил ему всю атмосферу в парижском высшем обществе, для него еще неясную. «Дом Воке», папаша Горио ушли из его мыслей куда-то очень далеко.

– Род Марсийяков я считал угасшим, – сказал граф де Ресто.

– Да, – отвечал Эжен. – Мой двоюродный дед, шевалье де Растиньяк, женился на последней представительнице рода де Марсийяков. У него была только одна дочь, вышедшая замуж за маршала де Кларембо, деда госпожи де Босеан с материнской стороны. Мы – младшая линия, линия бедная, тем более что мой двоюродный дед, вице-адмирал, потерял все на королевской службе. Революционное правительство, ликвидируя Индийскую компанию,<sup>32</sup> не захотело признать наших

---

<sup>31</sup> Шаранта – река на юго-западе Франции. На Шаранте стоит город Ангулем, неподалеку от которого, согласно роману, расположено было поместье Растиньяков.

<sup>32</sup> Индийская компания – основанная в XVIII в. компания для торговли с Индией и Зондским архипелагом; она получила от правительства Франции чрезвычайные привилегии и служила орудием колониального порабощения.

долговых претензий к ней.

- Не командовал ли ваш двоюродный дед «Мстителем» до 1789 года?
- Совершенно верно.
- В таком случае он знал моего деда, который командовал «Варвиком».

Максим взглянул на графиню де Ресто и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Если он примется толковать о флоте с этим господином, то все для нас пропало». Анастаси поняла его взгляд. С удивительным сознанием женской власти она сказала, улыбаясь:

– Идемте, Максим, у меня есть к вам одна просьба. Господа, мы предоставляем вам свободу совместно плавать на «Мстителе» и «Варвике».

Графиня встала, с лукавой усмешкой подала знак Максиму, и оба направились к будуару. Едва эта *морганатическая* чета – прекрасное немецкое выражение, не имеющее соответствия во французском языке – дошла до двери, как граф прервал свой разговор с Эженом, сказав недовольным тоном:

– Анастаси! Останьтесь, дорогая, здесь, – вы хорошо знаете, что...

– Сейчас! Сейчас! – ответила она, не дав ему договорить. – Я только на одну минуту: дать поручение Максиму.

Графиня быстро вернулась. Все женщины, вынужденные считаться с характером мужей, чтобы иметь возможность вести себя, как хочется, хорошо знают, до какого предела можно доходить, не теряя драгоценного доверия, и тщательно избегают столкновений с мужьями из-за мелочей жизни, – поэтому и графиня сразу заметила по изменившемуся тону графа де Ресто, что пребывание в будуаре не лишено опасности. Этой помехой она была обязана Эжену. Выражая всем своим видом досаду, графиня глазами указала Максиму на студента, тогда де Трай, обращаясь к графу, его жене и Растиньяку, насмешливо сказал:

– Вы заняты серьезными делами, я не хочу мешать вам, прощайте, – и быстро вышел.

– Останьтесь, Максим! – крикнул ему граф.

– Приходите обедать, – добавила графиня и, вторично оставив Эжена с графом, пошла вслед за Максимом в первую гостиную, где они пробыли довольно долго, рассчитывая, что за это время граф де Ресто выпроводит студента.

Растиньяк слышал, как они то заливались смехом, то говорили, то смолкали; но коварный студент щеголял остроумием перед графом де Ресто, льстил ему и вступал с ним в спор, надеясь вновь увидеть графиню и определить характер ее отношений с папашей Горио. Женщина, явно влюбленная в Максима, жена, вертевшая своим мужем и связанная таинственными узами со старым вермишельщиком, представляла для Растиньяка загадку. Он жаждал проникнуть в ее тайну, надеясь таким образом достигнуть полного господства над этой женщиной, парижанкой с ног до головы.

– Анастаси! – снова позвал свою жену граф.

– Ну, бедный мой Максим, – сказала она молодому человеку, – надо покориться. До вечера...

– Нази, – сказал Максим ей на ухо, – когда приоткрывался ваш пеньюар, у этого молодчика глаза горели, как угли, – надеюсь, вы больше не пустите его к себе в дом. Он станет объясняться вам в любви, будет вас компрометировать, и ради вас я буду вынужден его убить.

– Да вы с ума сошли, Максим! – сказала она. – Наоборот, такие студентики могут служить замечательным громоотводом. Разумеется, я постараюсь, чтобы он пришелся не по вкусу графу де Ресто.

Максим расхохотался и вышел в сопровождении графини; она остановилась у окна и наблюдала, как он садился в экипаж, горячил лошадь и помахивал бичом. Графиня де Ресто вернулась лишь тогда, когда за ним закрылись главные ворота.

– Представьте себе, – обратился к ней граф, – имение, где живет семья господина де Растиньяка, оказывается, недалеко от Вертэй, на Шаранте. Двоюродный дед господина де Растиньяка и мой дед были знакомы.

– Я рада, что у нас есть общие знакомые, – рассеянно ответила графиня.

– И больше, чем вы предполагаете, – заметил студент, понизив голос.



– Каким образом? – оживленно спросила она.

– Я только что видел, – продолжал студент, – как от вас вышел господин, с которым я живу дверь в дверь, в одном и том же пансионе; я говорю о папаше Горио.

Услышав это имя, приправленное словом «папаша», граф, мешавший жар в камине, бросил щипцы в камин, словно они обожгли ему руки, и встал.

– Милостивый государь, вы могли бы сказать: «господин Горио»! воскликнул он.

Графиня, заметив раздражение мужа, сначала побледнела, затем покраснела и явно пришла в замешательство; стараясь придать своему голосу естественность, она с деланной развязностью заметила:

– Нет человека, которого бы мы так любили...

Не dokonчив, она, словно под влиянием какой-то мелькнувшей у нее мысли, взглянула на фортепьяно и спросила Растиньяка:

– Вы любите музыку?

– Очень, – ответил ей Эжен, покраснев и растерявшись от смутного сознания, что сделал какой-то нелепый промах.

– Вы поете? – отрывисто спросила она, направляясь к фортепьяно, и, сильно ударя по клавишам, пробежала их все от нижнего до и до верхнего фа рrrrrа!

– Нет, мадам.

Граф де Ресто ходил взад и вперед по комнате.

– Жаль: вы лишены очень верного средства иметь успех. *Ca-a-ro, Ca-a-aro, Ca-a-a-a-ro, non dubitare!..*<sup>33</sup> – спела графиня.

Назвав имя папаша Горио, Эжен опять привел в действие волшебную палочку, но оно было обратно тому, какое вызвали слова: «родственник виконтессы де Босеан». Он оказался в положении человека, который удостоился получить доступ к любителю редкостей и нечаянно задел за шкаф со статуэтками, отчего у трех или четырех из них отскочили плохо приклеенные головки. Эжен готов был провалиться сквозь землю. Лицо графини де Ресто стало холодным и сухим, глаза смотрели безразлично и избегали взгляда злосчастного студента.

– Мадам, – сказал он, – вам нужно поговорить с графом де Ресто, соблаговолите принять дань моего уважения и разрешите мне...

– Когда бы вы ни пришли, – поспешно заговорила графиня, жестом остановив Эжена, – вы можете быть уверены, что доставите огромное удовольствие и мне и графу де Ресто.

Эжен низко поклонился супружеской чете и вышел; граф де Ресто последовал за ним и, не смотря на настояния Эжена не делать этого, проводил его до самой передней.

– Когда бы ни явился господин де Растиньяк, ни графини, ни меня нет дома, – сказал граф Морису.

Выйдя на крыльцо, Эжен увидел, что идет дождь.

«Ну-с, я допустил какую-то неловкость, но ни причины, ни значения ее не понимаю, – подумал Эжен, – а в довершение всего испорчу фрак и шляпу. Сидеть бы мне в своем углу да зубрить право и думать только о том, как бы стать прилежным судейским чиновником. Мне ли бывать в свете! – ведь для того, чтобы вращаться в нем приличным образом, необходима уйма всякой всячины: кабриолеты, сверкающие сапоги, золотые цепочки и прочая обязательная оснастка, вроде белых замшевых перчаток по утрам, шесть франков пара, а по вечерам непременно желтых. Старый плут папаша Горио, эх!»

Когда он очутился под воротами, кучер наемной кареты, должно быть только что доставивший новобрачных к ним на дом и не желавший ничего другого, как получить тайно от хозяина плату за несколько концов, знаком предложил свои услуги Растиньяку, увидав, что тот во фраке, в белом жилете, желтых перчатках, чистых сапогах, но без зонтика. Эжена обуревала глухая ярость, которая обычно толкает молодого человека еще глубже в пропасть, куда он уже начал спускаться, точно надеясь там отыскать благополучный выход. Эжен кивнул головой на предложение кучера и сел в карету, где несколько цветочков флер-д'оранжа и обрывков канители напоминали о поездке

---

<sup>33</sup> Милый, оставь сомненья! (итал.).

молодых.

– Куда прикажете? – спросил кучер, уже сняв белые перчатки.

«Черт побери, – решил Эжен, – коль пропадать, так не напрасно!»

– К де Босеанам! – добавил он громко.

– К каким? – спросил кучер.

Высоковажный вопрос смутил Эжена. Этот еще не оперившийся щеголь не знал, что было два особняка де Босеанов, и не имел понятия, насколько он богат родней, которой не было до него никакого дела.

– К Босеанам, на улицу...

– Гренель, – подхватил кучер, мотнув головой. – А то есть другой особняк – графа и маркиза де Босеанов, на улице Сен-Доминик, – добавил он, поднимая подножку.

– Знаю, – сухо ответил Эжен.

«Сегодня все издеваются надо мной! – сказал он про себя, бросая цилиндр на переднее сиденье. – Вот это баловство мне обойдется дорого. Но я по крайней мере нанесу визит так называемой кухне вполне по-аристократически. Старый злодей папаша Горио мне уже сто́ит не меньше десяти франков, честное слово! Опишу-ка я свое приключение госпоже де Босеан, – быть может, рассмешу ее. Она, конечно, знает тайну преступных связей этой бесхвостой старой крысы с красавицей графиней. Лучше понравиться моей кухне, чем расшибить себе лоб об эту безнравственную женщину, да и стоит она, как видно, не мало денег. Если одно имя красавицы виконтессы имеет такую силу, – какое же значение должна иметь она сама? Прибегнем к высшим сферам. Когда атакуешь небеса, надо брать на прицел самого бога!»

Эти разговоры с самим собой передавали вкратце тысячу и одну мысль, среди которых метался Растиньяк. Глядя на дождь, он немного успокоился и почувствовал себя увереннее. Он говорил себе, что если истратит две драгоценные последние монеты по сто су, то не без пользы, сохранив в целостности свои ботинки, фрак и цилиндр. Веселым чувством отозвался в нем возглас кучера: «Отворите ворота, будьте любезны!» Красный с золотом швейцар толкнул ворота, петли заскрипели... и Растиньяк со сладостным удовлетворением наблюдал, как его карета миновала въезд, объехала кругом двора и остановилась под навесом у крыльца. Кучер, в грубом синем балахоне с красной оторочкой, слез, чтобы откинуть подножку. При выходе из кареты Эжен услышал приглушенные смешки из-за колонн особняка. Три или четыре лакея уже подшучивали над свадебным мещанским экипажем. Студент только тогда уразумел их смех, когда сравнил этот рыдван с двухместной каретой, одной из самых щегольских в Париже: в запряжке пара горячих лошадей с розами на ушах грызла удила; кучер, в пудре, в отличном галстуке, натянул вожжи, как будто лошади вот-вот готовы были вырваться. На Шоссе д'Антен, во дворе графини де Ресто, стоял изящный кабриолет двадцатилетнего молодого человека; в предместье Сен-Жермен знатного вельможу ждала роскошная карета, какой не купишь и за тридцать тысяч франков.

«Кто же это? – мысленно спросил Эжен, с некоторым опозданием сообразив, что в Париже, конечно, мало женщин, никем не занятых, и завоевание одной из этих королев стоит не только крови. – Черт побери! Наверняка и у моей кухни есть свой Максим».

С замиранием сердца Эжен поднялся на крыльцо. При появлении его стеклянная дверь распахнулась: он увидел лакеев, степенных, какими бывают ослы, когда их чистят. Парадный бал, на котором присутствовал Эжен, давался в больших покоях для приемов, занимавших нижний этаж особняка де Босеанов. Не успев сделать визит кухне в промежуток времени между приглашением и балом, он еще не побывал в комнатах самой виконтессы де Босеан, где предстояло ему впервые увидеть чудеса ее личного изящества, говорящего о душе и жизни знатной женщины. Знакомство с ним представляло для Эжена тем больший интерес, что гостиня графини де Ресто давала ему меру для сравнения. С половины пятого виконтесса принимала. Явись ее кузен на пять минут раньше, она бы его не приняла. По белой широкой, уставленной цветами лестнице с золочеными перилами и красною дорожкой Эжена, ничего не понимавшего в различиях парижского этикета, провели к г-же де Босеан; он не знал ее изустной биографии, одной из вечно меняющихся повестей, какие в парижских гостиных рассказывают на ухо друг другу каждый вечер.

Виконтесса уже три года была в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто, принадлежавшим к числу

самых известных и богатых вельмож Португалии. Их связь, одна из самых безупречных, представляла столько прелести для обоих участников ее, что они не терпели третьих лиц. И виконт де Босеан сам дал пример всем окружающим, волей-неволей признав их морганатический союз. В первый период этой дружбы все, кто приезжал повидаться с виконтессой около двух часов дня, встречали там маркиза д'Ажуда-Пинто. Закрывать свой дом для них г-жа де Босеан, конечно, не могла – это было бы неприлично, но принимала своих гостей так холодно и так старательно разглядывала потолок, что всякий понимал, насколько он здесь некстати. Когда Париж узнал, что посещения от двух до четырех тяготят г-жу де Босеан, она осталась в полнейшем одиночестве. Вместе с г-ном де Босеаном и маркизом д'Ажуда-Пинто она бывала в Опере или у Буфонов, но г-н де Босеан умел вести себя, – усадив жену и португальца, он оставлял их наедине. Теперь маркиз д'Ажуда-Пинто собирался жениться на мадмуазель де Рошфид. И во всем высшем свете единственным лицом, еще не знавшим о предстоящем браке, была сама г-жа де Босеан. Кое-кто из ее приятельниц делал ей намеки, – она только смеялась, видя в этом намерение из зависти нарушить ее счастье. Между тем вскоре должно было состояться оглашение. Португальский красавец приехал к виконтессе объявить ей об этом браке, но у него все не хватало смелости произнести слова измены. Почему? Да нет ничего труднее, как нанести женщине такой удар. Для иного мужчины легче стоять на месте поединка, перед другим мужчиной, готовым вонзить шпагу ему в сердце, чем перед женщиной, которая, после двух часов слезливых жалоб, с видом умирающей требует нюхательной соли.

В момент прибытия Эжена маркиз д'Ажуда-Пинто сидел как на иголках и собирался уходить, решив, что г-жа де Босеан так или иначе узнает эту новость, а лучше всего он ей напишет: нанести любви смертельный удар гораздо удобнее в письме, чем в личном разговоре. Когда лакей виконтессы доложил о Растиньяке, маркиз д'Ажуда-Пинто радостно встрепенулся. Надо сказать, что любящая женщина по части всяких подозрений еще изобретательнее, чем в искусстве разнообразить удовольствия. Когда же ей грозит разрыв, она угадывает смысл какого-нибудь жеста быстрее, чем конь, упоминаемый Вергилием, способен чуют где-то вдалеке запах, обещающий ему любовные утехы. И будьте уверены, что г-жа де Босеан почувствовала в маркизе этот невольный, едва заметный, но страшный своею непосредственностью трепет. Эжен не знал одной особенности Парижа: кому бы вы ни представлялись, вам совершенно необходимо перед этим получить от друзей дома все сведения о жизни мужа, жены, даже детей, иначе вы попадете впросак или, как образно говорят поляки, вам придется запрячь в телегу пять волов, – конечно, для того, чтобы они вас вытащили из лужи, в которую вы сели. Если во Франции такие речи невпопад не имеют особого названия, то, несомненно, потому, что их считают невозможными в стране, где любая сплетня получает огромное распространение. Только Эжен, уже сев один раз в лужу у графини де Ресто, даже не давшей ему времени «запрячь в телегу пять волов», способен был опять почувствовать нужду в их помощи, явившись представиться г-же де Босеан. Но в первом случае он страшно тяготил г-на де Трай и графиню де Ресто, теперь же выводил из затруднения маркиза д'Ажуда-Пинто.

– Прощайте, – сказал португалец, устремляясь к двери, пока Эжен входил в небольшую нарядную, серую с розовым, гостиную, где роскошь обстановки казалась лишь изяществом.

– Но до вечера? – спросила г-жа де Босеан, оборачиваясь только лицом и вглядываясь в маркиза. – Разве вы не поедете к Буфонам вместе с нами?

– Не могу, – ответил он, берясь за ручку двери.

Г-жа де Босеан встала и подозвала его к себе, не обращая никакого внимания на Растиньяка, который между тем стоял, ошеломленный сверканием чудесного богатства, готовый поверить в реальность арабских сказок, и не знал, куда ему деваться перед женщиной, его не замечавшей.

Виконтесса подняла указательный пальчик и, красиво опустив его, указала маркизу место перед собой. В этом жесте заключалась такая деспотическая сила страсти, что маркиз выпустил дверную ручку и подошел. Эжен смотрел на него с завистью.

«Вот он, владелец маленькой кареты. Так неужели для того, чтобы добиться взгляда парижанки, надо иметь ретивых лошадей, ливреи и горы золота?»

Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка наживы овладела им, от жажды золота пере-

сохло в горле. Эжен располагал ста тридцатью франками на три месяца. Его отец, мать, братья, сестры, тетка могли тратить лишь двести франков в месяц на всю семью. Это быстрое сопоставление своего теперешнего положения и цели, которой надобно достичь, усилило его растерянность.

– Почему же вы не можете приехать к Итальянцам? – смеясь, спросила виконтесса.

– Дела! Я обедаю у английского посланника.

– Бросьте дела!

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать одну ложь на другую. Маркиз д'Ажуда засмеялся и сказал:

– Вы требуете?

– Да!

– Вот это и хотелось мне услышать, отвечал маркиз, бросив на нее такой проникновенный взгляд, который мог бы успокоить всякую другую женщину. Он поцеловал руку виконтессы и вышел.

Эжен, пригладив волосы рукой, согнулся в поклоне, думая, что г-жа де Босеан, наконец вспомнит и о нем. Вдруг она вскакивает с места, бросается в галерею, подбегает к окну и смотрит, как д'Ажуда садится в экипаж, она ловит ухом, куда велит он ехать, и слышит, как выездной лакей повторяет кучеру его слова:

– К господину де Рошфиду.

Эти слова, быстрота, с какой маркиз вскочил в карету, были для женщины и вспышкой молнии и ударом грома; смертельных страх вновь обуял ее. В высшем свете не бывает иного проявления самых ужасных катастроф. Виконтесса пошла в спальню, села к столу, взяла изящный листок бумаги и написала:

*«Раз вы обедаете не в английском посольстве, а у Рошфидов, вы обязаны дать мне объяснение. Жду вас».*

Она поправила несколько букв, пострадавших от конвульсивного дрожания руки, подписалась «К.», что означало «Клара Бургундская», и позвонила.

– Жак, – обратилась она к представшему перед ней лакею, – в половине восьмого вы пойдете к господину де Рошфиду и спросите, там ли маркиз д'Ажуда. Если он там, вы попросите только передать ему эту записку, не требуя ответа. Если же маркиза там нет, то вы вернетесь и принесете мне письмо обратно.

– Виконтессу ожидают в гостиной.

– Ах, верно! – сказала она, отворяя дверь.

Эжен начинал чувствовать себя крайне неловко; к счастью, виконтесса, наконец, явилась и произнесла с таким волнением в голосе, что у Эжена защемило сердце:

– Просите, мне надо было написать два слова, теперь я вся к вашим услугам.

Она не сознавала, что говорит, думая в это время: «Он хочет жениться на мадмуазель де Рошфид. Но разве он свободен? Сегодня же вечером этот брак расстроится, или я... Да! Завтра об этом не будет даже речи».

– Кузина... – начал Эжен.

– Что?! – переспросила виконтесса, бросая на него надменный взгляд, от которого студент похолодел.

Эжен понял это «что». За последние три часа он научился многому и держался на-чеку.

– Мадам, – поправился Эжен краснея; он замялся, но поборол смущение и продолжал: – Простите меня: я так нуждаюсь в покровительстве, что малая толика вашей родственности мне бы ничуть не повредила.

Госпожа де Босеан грустно усмехнулась; на ее горизонте уже слышались раскаты грозы.

– Если бы вы знали положение моей семьи, – продолжал Эжен, – вы бы не отказались от роли тех сказочных фей, которые так любезно устраняли препятствия с пути своих крестников.

– Ну, хорошо, кузен, – ответила она смеясь, – чем же я могу быть вам полезной?

– Как знать! Быть для вас своим человеком благодаря родству, затерянному во мраке отдаления, это уже счастье. Вы меня смутили, я позабыл, что собирался вам сказать. Вы единственный человек, с которым я знаком в Париже. Как бы мне хотелось посоветоваться с вами, просить вас



подобрать меня, жалкого ребенка, мечтающего приютиться под вашим крылышком и ради вас готового пойти на смерть.

– А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня?

– Хоть двух.

– Ребенок! Да, вы ребенок, – сказала она, удерживая наворачнувшиеся слезы. – Вот вы, пожалуй, могли бы любить искренне!

– О да! – воскликнул он, кивая головой.

За этот ответ виконтесса прониклась участием к студенту-честолюбцу. Южанин впервые действовал с расчетом. За то время, пока он находился между голубым будуаром графини де Ресто и розовой гостиной г-жи де Босеан, Эжен успел пройти трехлетний курс парижского права, хотя негласного, но составляющего всю высшую общественную юриспруденцию, а хорошо ее усвоив и умело применяя на практике, можно достичь всего.

– Да, вспомнил! – сказал Эжен. – У вас на балу мне понравилась графиня де Ресто, и я был у нее сегодня днем.

– И, наверно, сильно помешали ей, – с усмешкой заметила г-жа де Босеан.

– Я невежда и, если вы откажете мне в помощи, восстановлю против себя всех. Думаю, что в Париже трудно встретить женщину молодую, красивую, изящную, богатую и в то же время никем не занятую, а мне она необходима, притом такая, которая могла бы научить меня тому, что вы, женщины, умеете преподавать так хорошо, – науке жизни. Всюду я натолкнусь на какого-нибудь графа де Трай. Я и пришел к вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого рода глупость я там сделал. Я завел разговор о некоем папаше...

– Герцогиня де Ланже, – доложил Жак, прервав Эжена.

Студент выразил ужимкой крайнюю досаду.

– Если вы желаете иметь успех, – заметила, понизив голос, виконтесса, прежде всего не будьте так непосредственны. – А! Добрый день, дорогая, сказала она, встав и идя навстречу герцогине; затем пожала ее руки с такой сердечностью, точно встречала свою сестру; герцогиня ответила ей самыми очаровательными изъявлениями нежности.

«Вот две искренних подруги, – подумал Растиньяк. – Теперь у меня будет две покровительницы, их вкусы должны быть одинаковы, и, разумеется, другая тоже примет участие во мне».

– Дорогая Антуанета, какой счастливой мысли я обязана тем, что вижу вас? – спросила г-жа де Босеан.

– Просто я видела, как маркиз д'Ажуда-Пинто входил к Рошфидам, и подумала, что застаю вас одну.

Госпожа де Босеан не закусила губу, не покраснела, взгляд ее не изменился, лицо как будто даже просветлело, пока герцогиня говорила эти роковые слова.

– Если бы я знала, что вы заняты... – добавила герцогиня, оборачиваясь к Эжену.

– Это мой родственник, господин Эжен де Растиньяк, – сказала виконтесса. – Вы что-нибудь знаете о Монриво? – спросила она. – Серизи вчера мне говорила, что его нигде не видно, – он не был у вас сегодня?

Герцогиня почувствовала, как жало этого вопроса проникло в ее сердце: она была без памяти увлечена генералом Монриво, но ходили слухи, что он с ней разошелся.

– Вчера он был в Елисейском дворце, – ответила она, вся вспыхнув.

– На дежурстве? – предположила г-жа де Босеан.

– Клара, вы знаете, конечно, – в свою очередь спросила герцогиня, зло сверкая глазами, – что завтра состоится оглашение маркиза д'Ажуда-Пинто и мадмуазель де Рошфид?

Удар был слишком силен, виконтесса побледнела, но ответила, смеясь:

– Это сплетни, которыми тешат себя глупцы. Зачем маркизу д'Ажуда давать Рошфидам свое имя, одно из лучших в Португалии? Рошфиды – вчерашние дворяне.

– Да, но у Берты, как говорят, будет двести тысяч ливров дохода.

– Маркиз д'Ажуда слишком богат, чтобы руководиться подобными расчетами.

– Но, дорогая, мадмуазель де Рошфид сама по себе очаровательна.

– Вот как!

– Словом, сегодня он обедает у них, брачный контракт уже составлен. Меня крайне удивляет, что вы так мало знаете об этом.

– Какую же глупость вы совершили, милостивый государь? – спросила Эжена г-жа де Босеан. – Видите ли, дорогая Антуанета, этот младенец только что подкинут свету и ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Будьте снисходительны к нему: отложим наш разговор до завтра. Завтра, несомненно, обо всем будет сообщено открыто, тогда и вы можете извещать всех открыто и с уверенностью.

Герцогиня окинула Эжена тем надменным взглядом, что, смерив человека с головы до ног, сразу пригнетает его и обращает в нуль. Достаточно умный, чтобы сообразить, какие колкости скрывались под дружескими фразами обеих дам, Эжен ответил:

– Я, сам того не зная, вонзил кинжал в сердце графини де Ресто. Именно в этом незнании моя вина. С теми, кто вам причиняет боль вполне сознательно, вы продолжаете встречаться и, может быть, побаиваетесь их, а если человек наносит рану, не ведая всей глубины ее, то на такого смотрят, как на дурачка, на простофилю, ни из чего не способного извлекать пользу, и все относятся к нему с презрением.

Госпожа де Босеан наградила студента теплым взглядом, выразив им одновременно и признательность и чувство своего достоинства, как это умеют делать люди большой души. Ее взгляд излился целительным бальзамом на свежую рану в сердце Растиньяка, которую только что нанесла Эжену герцогиня, определяя ему цену глазом присяжного оценщика.

– Представьте себе, – сказал Эжен, – мне удалось завоевать расположение графа де Ресто. А надо вам сказать, – обратился он к герцогине смиренно, но в то же время и лукаво, – что я пока только жалкий студент, совершенно одинокий, очень бедный...

– Не говорите таких вещей, господин де Растиньяк. Мы, женщины, никогда не гонимся за тем, что никому не нужно.

– Что делать! – отвечал Эжен. – Мне всего-навсего двадцать два года! Надо уметь сносить невзгоды такого возраста. Кроме того, сейчас я исповедуюсь, а чтобы преклонить для этого колена, не найдешь исповедальни прелестнее, чем эта; правда, в таких исповедальнях только грешить, а каешься в других.

Герцогиня холодно выслушала эту святотатственную болтовню и осудила ее за дурной тон, сказав виконтессе:

– Кузен ваш еще новичок...

Госпожа де Босеан от всего сердца посмеялась над герцогиней и своим кузеном.

– Да, моя дорогая, он новичок и ищет себе наставницу, которая преподавала бы ему хороший тон.

– Герцогиня, – вновь обратился к ней Эжен, – мне кажется, желанье быть посвященным в тайны того, что нас пленяет, вполне естественно, не правда ли? («Однако, – подумал он, – для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные любого парикмахера».)

– Но, думается мне, графиня де Ресто сама является ученицей господина де Трай, – возразила герцогиня.

– Мне это было совершенно неизвестно, – ответил студент. – Вот почему я глупейшим образом вклинился между ними. В конце концов я довольно хорошо поладил с мужем и видел, что его супруга покуда еще терпит мое присутствие, как вдруг угораздило меня сказать им, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дома во двор.

– Кто же это такой? – спросили обе дамы.

– Один старик; живет он на два луидора в месяц, в глуши предместья Сен-Марсо, там же, где и я, бедняга-студент; это поистине несчастный человек, посмешище для всех, и мы его прозвали «папаша Горио».

– Да вы действительно младенец! – воскликнула виконтесса. – Ведь графиня де Ресто – в девицах Горио.

– Дочь вермишельщика, – добавила герцогиня, – мешаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы не помните? Король еще рассмеялся и сказал

по-латыни какую-то остроту насчет муки: люди... ну как это?.. люди...

– Eiusdem farinae,<sup>34</sup> – подсказал Эжен.

– Совершенно верно, – подтвердила герцогиня.

– И он ее отец! – произнес студент, выражая на лице ужас.

– Ну да; у этого чудака две дочери, и он с ума сходит по ним, хотя и та и другая почти отказались от него.

– Вторая – это не та ли, что замужем за банкиром с немецкой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном? – спросила виконтесса, обращаясь к герцогине де Ланже. – Ее зовут Дельфиной, не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ложа в Опере; она бывает также у Буфонов и, чтобы привлечь к себе внимание, смеется очень громко?

– Дивлюсь вам, дорогая, как можете вы интересоваться подобными людьми? – заметила с усмешкой герцогиня. – Только совсем потеряв от любви голову, как Ресто, можно было вываляться в муке мадмуазель Анастази. О! На этом деле он понесет убыток! Она попалась в лапы графу де Трай, и он ее погубит.

– Так они отреклись от своего отца! – повторил Эжен.

– Ну да, – ответила герцогиня, – от своего отца, вы понимаете – отца, как бы то ни было – отца, к тому же, говорят, от хорошего отца; каждой он дал в приданое по пятисот или шестисот тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хорошо замуж, а себе оставил восемь-десять тысяч ливров дохода в год, рассчитывая, что его дочери останутся его дочерьми, что он устроит себе у них две жизни, два дома, где всегда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зятя изгнали его из своего общества, как последнего негодяя.

В глазах Эжена сверкнули слезы: ведь он совсем еще недавно освежил свою душу чистыми, святыми чувствами в родной семье, он жил еще во власти юношеской веры в добро и только здесь впервые встретился с парижской цивилизацией на поле ее битвы. Искренние чувства настолько заразительны, что некоторое время все трое смотрели друг на друга, не проронив ни слова.

– Ах, боже мой! – прервала молчание герцогиня.

– Конечно, все это кажется ужасным, а между тем такие случаи мы наблюдаем каждый день. И разве нет этому причины? Скажите, дорогая, задумывались вы когда-нибудь над тем, что представляет собой зять? Зять – тот мужчина, для кого мы, и вы и я, растим дорогое нам существо, тысячью уз связанное с нами, которому суждено в течение семнадцати лет быть отрадой всей семьи, и незапятнанной душой, сказал бы Ламартин, а в будущем стать ее проклятием. Когда мужчина берет от нас нашу дочь, то сразу же он пользуется ее любовью как топором и обрубает в сердце, в живой душе этого ангела все чувства, которые связывали его с семьей. Наша дочь еще вчера была всем для нас, а мы – всем для нее; наутро она становится нашим врагом. Разве подобная трагедия не разыгрывается ежедневно перед нашими глазами? Тут сноха непозволительно дерзка со свекром, хотя он всем пожертвовал своему сыну. Там зять выгнал тещу из дому. И еще спрашивают, что драматично в нашем современном обществе! А зять? Разве это не драма, и драма страшная, – не говоря уже о наших браках, ставших сплошной нелепостью. Я совершенно ясно представляю себе, что произошло с этим стариком вермишельщиком. Мне помнится, что этот Форио...

– Горио, мадам...

– Хорошо, так этот Морио во время революции был председателем одной из секций;<sup>35</sup> он знал подоплеку пресловутого голода и в это время положил начало своему богатству, продавая муку в десять раз дороже, чем покупал сам. А муки у него было сколько угодно. Управляющий моей бабушки поставлял ему муку на огромные суммы. Как это ведется у людей такого сорта, Норрио, конечно, делился с Комитетом общественного спасения.<sup>36</sup> Управляющий, мне помнится, за-

---

<sup>34</sup> Из одного теста (лат.). Буквально: «Из той же муки».

<sup>35</sup> «...был председателем одной из секций». – Во время французской буржуазной революции XVIII в. Париж был разделен на сорок восемь секций, пользовавшихся правом самоуправления, а также избрания своих представителей на муниципальные и государственные должности. Секции Парижа играли важную роль в революционных событиях.

<sup>36</sup> Комитет общественного спасения – орган государственной власти во Франции, учрежденный в 1793 г. и избравшийся Конвентом.

верял мою бабушку, что она может совершенно спокойно жить в своем именье Гранвилье, так как ее зерно служит лучшим свидетельством ее благонадежности. И вот этот Лорио, продавая хлеб головорубам, был одержим только одной страстью: дочерей своих он, говорят, боготворит. Одну пристроил к графу де Ресто, другую подсунул барону Нусингену, богатому банкиру, который разыгрывает из себя роялиста. Вы сами понимаете, что во времена Империи зятьям было не так уже зазорно пускаться к себе в дом тестя образца девяносто третьего года: при *Буаннапартэ* это еще куда ни шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бременем и для Ресто и, еще больше, для банкира. Дочери, быть может, еще любили своего отца, поэтому они хотели, чтобы и волки были сыты и овцы целы, хотели успокоить и мужа и отца. Они принимали Горио в такое время, когда у них никого не бывало. Делалось это под предлогом нежных чувств: «Папа, приходите, мы будем одни и проведем время гораздо лучше!» – или что-нибудь в этом роде. Я лично, дорогая, думаю, что у настоящих чувств есть свой разум, свои глаза, и, конечно, сердце бедняги истекло кровью. Он видел, что дочери стыдятся его, и раз они любят своих мужей, то он помеха для зятьев. Настало время принести жертву. Старик пожертвовал собой, на то он и отец: он сам себя изгнал из их домов, и дочери были довольны; заметив это, он понял, что поступил правильно. Так совершилось семейное преступление при соучастии отца и дочерей. Явления такого рода мы наблюдаем сплошь да рядом. Разве этот папаша Горио в гостиной дочерей не казался бы каким-то сальным пятном? Да и самому ему было бы там тягостно и скучно. То, что постигло этого отца, может постигнуть самую красивую женщину, полюбившую всей душой: если она мужчине докучает своей любовью, он покидает ее и, чтобы от нее отделаться, идет на подлости. Такова судьба всех чувств. Наше сердце – это клад; растратьте его сразу, и вы нищий. Мы не щадим ни чувства, когда оно раскрылось до конца, ни человека, когда у него нет ни одного су. Этот отец роздал все. Свою душу, свою любовь он отдавал в течение двадцати лет, а свое состояние он отдал в один день. Дочери выжали лимон и выбросили его на улицу.

– Как гнусен свет! – произнесла виконтесса, не поднимая глаз и нервно подергивая бахромой своей шали: она была задета за живое, чувствуя, что последние фразы в рассказе герцогини предназначались для нее.

– Гнусен?.. Нет, – ответила герцогиня, – просто в свете все идет своим порядком. Говоря так, я только хочу показать, что не обманываюсь в свете. А в общем я с вами одного мнения, – сказала она, пожимая руку виконтессе. Свет – это болото, постараемся держаться на высоком месте.

Она встала и, целуя в лоб г-жу де Босеан, сказала:

– Дорогая, сейчас вы настоящая красавица. Я еще никогда не видела такого замечательного цвета лица.

Взглянув на Растиньяка, она слегка кивнула головой и вышла.

– Папаша Горио великолепен! – сказал Эжен, вспомнив, как старик ночью скручивал серебряную чашку.

Госпожа де Босеан задумалась и не слыхала его слов. Несколько минут прошло в молчании; бедный студент как-то стыдливо замер, не зная, говорить ли, оставаться – или же уйти.

– Свет зол и гнусен, – заговорила, наконец, виконтесса. – Едва обрушится на нас несчастье, всегда найдется друг, готовый сейчас же поспешить к нам с известием об этом, покопаться в нашем сердце своим кинжалом, предоставляя нам любоваться его красивой рукоятью. И вот уже пошли сарказмы! Пошли насмешки! О, я не дам себя в обиду!

Она подняла голову, и в этом движении почувствовалась знатная дама; в гордом ее взгляде сверкнули молнии.

– Ах, вы здесь! – воскликнула она, увидев Эжена.

– Да, все еще! – жалобно ответил он.

– Так вот, господин де Растиньяк, поступайте со светом, как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение, я помогу вам. Исследуйте всю глубину испорченности женщин, измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Я внимательно читала книгу света, но оказалось, что некоторых страниц я не заметила. Теперь я знаю все: чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на



мужчин и женщин, как на почтовых лошадях, гоните не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались красота, молодость, богатство. Если в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы никто даже и не подозревал о его существовании, иначе вы погибли. Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву. Если вы полюбите, храните свято вашу тайну! Не верьте ей, пока вы не узнаете по-настоящему того, кому раскроете вы сердце. Такой любви в вас еще нет, но надобно заранее оберегать ее, поэтому учитесь не доверять свету. Послушайте, Мигель (она и не заметила, что выдала себя этой обмолвкой), есть нечто пострашнее того случая, когда две дочери забросили отца и, может быть, желают его смерти: это соперничество двух сестер. Ресто из родовитой знати, его жена принята в свете, была представлена ко двору; изза этого сестра ее, богатая красавица Дельфина де Нусинген, жена финансового дельца, умирает от огорчения, ее сдает зависть: графиня де Ресто поднялась выше ее на сто голов; и сестер больше нет, они отрекаются друг от друга, как отреклись от своего отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Она рассчитывала, что де Марсе поможет ей достигнуть этой цели, стала его рабой и не дает ему покоя. А де Марсе нет дела до нее. Если Дельфину представите мне вы, то станете ее кумиром, она будет на вас молиться. Впоследствии вы можете и любить ее, а если нет, то во всяком случае воспользуйтесь Дельфиной в своих целях. Раз или два я приму ее в толпе гостей на большом вечере, но никогда не приму ее днем. Я буду с ней здороваться, и этого довольно. У графини вы сами закрыли себе двери тем, что упомянули папашу Горио. Да, дорогой мой, вы двадцать раз пойдете к графине де Ресто, и двадцать раз ее не будет дома. Вас приказано не принимать. Так пусть папаша Горио вас познакомит с Дельфиной де Нусинген. Красавица де Нусинген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избранником, тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким, захочется отбить вас у нее. Иные женщины предпочитают именно чужих избранников, по примеру тех мешанок, которые, перенимая фасоны наших шляп, надеются, что вместе с ними приобретут наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех – все, это залог власти. Как только женщины признают, что у вас есть талант и ум, мужчины этому поверят, если вы сами не разубедите их. Тогда все станет вам доступно, вам всюду будет ход. Тогда-то вы узнаете, что свет состоит из обманщиков и простаков. Не присоединяйтесь ни к тем, ни к другим. Чтоб вам не запутаться в этом лабиринте, даю вам, вместо нити Ариадны, свое имя. Не запятняйте же его, – сказала она, вскинув голову и царственно взглянув на Растиньяка, – сохраните его чистым. Теперь ступайте, оставьте меня одну: у нас, женщин, бывают тоже свои битвы.

– И если вам нужен человек, готовый ради вас взорвать подкоп... прервал ее Эжен.

– Так что же? – спросила виконтесса.

Он ударил себя рукою в грудь, ответил улыбкой на улыбку своей кузины и вышел. Было пять часов. Эжен успел проголодаться и забеспокоился, как бы не опоздать к обеду. И благодаря этому беспокойству он узнал, какое наслаждение быстро мчатся по улицам Парижа. Но это физическое удовольствие несколько не мешало ему всецело отдаваться нахлынувшим на него мыслям. Когда молодой человек его лет оскорблен презрением, он начинает горячиться, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, кричит о мести, но сомневается в себе. В настоящую минуту Эжена угнетала фраза: «Вы сами закрыли себе двери у графини». «А я пойду! – говорил он себе. – И если госпожа де Босеан права, если приказано меня не принимать... тогда... тогда графиня де Ресто встретится со мной во всех гостиных, где она бывает. Я выучусь владеть шпагой, стрелять из пистолета и убью ее Максима!..» «А деньги? – кричал ему рассудок. – Откуда их возьмешь?» И тотчас выставленное напоказ богатство графини де Ресто сверкнуло у него перед глазами. Он видел роскошь, которую, несомненно, любила бывшая девица Горио, сверкающую всюду позолоту, крикливо дорогие предметы обстановки – словом, роскошь неумной выскочки, расточительность богатой содержанки. Это ослепительное видение сразу меркло перед величественным особняком Босеанов. Мечты Эжена, прикованные к высшим сферам парижского общества, внушили ему много дурных помыслов, сделав покладистее ум и совесть. Мир предстал ему теперь таким, каков он

есть: в бессилии своей морали и закона перед богатством; *ultima ratio mundi*<sup>37</sup> виделась ему в днях. «Прав Вотрен. Богатство – вот добродетель!» – сказал Эжен сам себе.

Добравшись до улицы Нев-Сент-Женевьев, он быстро взошел к себе наверх, сбежал обратно, чтобы отдать извозчику десять франков, вошел в тошнотворную столовую и увидел всех нахлебников, кормившихся, как скот у яслей. Это убогое зрелище, вид этой столовой вызвали в нем чувство омерзения. Слишком резкий переход, слишком разительный контраст должен был в необычайной мере усилить его честолюбивые стремления. По одну сторону – яркие, чарующие образы, созданные самой изящной общественной средой, живые молодые лица, окруженные дивными произведениями искусства и предметами роскоши, страстные, поэтичные личности; по другую сторону – зловещие картины в обрамлении грязной нищеты, лица, у которых от игры страсти только и осталось, что двигавшие ими когда-то веревочки и механизмы. Советы г-жи де Босеан, подсказанные этой обманутой женщине негодованием, ее соблазнительные предложения воскресли в памяти Эжена, а нужда внушила ему, как истолковать их; чтобы достичь богатства, Эжен решил заложить две параллельные траншеи: опереться и на любовь и на науку, стать светским человеком и доктором юридических наук. Он все еще оставался большим ребенком. Две эти линии представляют собой *асимптоты*<sup>38</sup> и никогда не могут пересечься.

– Вы что-то очень мрачны, господин маркиз, – сказал Вотрен, окинув Растиньяка своим особым взглядом, казалось проникавшим в самые сокровенные тайны человеческой души.

– Я не расположен терпеть шутки от тех, кто называет меня «господин маркиз», – ответил Растиньяк. – Чтобы в Париже быть по-настоящему маркизом, надо иметь сто тысяч ливров годового дохода, а когда живешь в «Доме Воке», то уж наверно не состоишь в избранниках фортуны.

Вотрен взглянул на Растиньяка отечески пренебрежительно, словно хотел сказать: «Щенок! Да я могу сделать из тебя котлету!» Потом ответил:

– Вы не в духе, и, может быть, потому, что не имели успеха у прекрасной графини де Ресто.

– Она велела не принимать меня, так как я сказал, что отец ее сидит с нами за одним столом! – воскликнул Растиньяк.

Нахлебники переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы их вытереть.

– Вы попали мне табаком в глаз, – сказал он своему соседу.

– Кто станет обижать папашу Горио, тот будет иметь дело со мной, заявил Эжен, глядя на того, кто сидел рядом с вермишельщиком, – он лучше нас всех! Я не говорю о дамах, – добавил он, оборачиваясь к мадмуазель Тайфер.

Это заявление положило конец всем разговорам: Эжен с таким видом произнес его, что нахлебники примолкли. Один Вотрен насмешливо заметил:

– Для того чтобы взять под свою защиту папашу Горио и стать его ответственным редактором, надо научиться хорошо владеть шпагой и хорошо стрелять из пистолета.

– Так я и сделаю, – ответил Эжен.

– Значит, с сегодняшнего дня вы начинаете войну?

– Возможно, – ответил Растиньяк. – Но я не обязан никому давать отчет в своих делах, поскольку сам я не стараюсь дознаться, какими делами занимаются другие по ночам.

Вотрен искоса посмотрел на Растиньяка.

– Милый мальчик, кто не хочет быть обманут игрою марионеток, тому надо войти внутрь балагана, а не довольствоваться подглядыванием сквозь дыры в парусинной стенке. Бросим этот разговор, – добавил он, видя, что Эжен готов вспылить. – Мы с вами потолкуем после, когда угодно.

Обед проходил натянуто и мрачно. Папаша Горио, совершенно убитый фразой Растиньяка, не понял, что общее отношение к нему переменялось и у него есть молодой защитник, готовый заткнуть рот его преследователям.

<sup>37</sup> Конечная основа мира (лат.).

<sup>38</sup> Асимптота – буквально: «несовпадающая» (греч.) – прямая, которая, будучи безгранично продолжена, постоянно приближается к соответствующей кривой, но не пересекается с нею.

– Выходит, что господин Горио отец графини? – спросила шопотом г-жа Воке.

– А кроме нее – и баронессы, – ответил Растиньяк.

– Он лишь на это и пригоден, – сказал Бьяншон Эжену, – я щупал его голову: на ней только один бугорок – как раз именно отцовства; это отец неизлечимый.

Эжен был в серьезном настроении, и шутка Бьяншона не вызвала у него смеха. Он собирался извлечь пользу из советов г-жи де Босеан и спрашивал себя, где и как достать денег. Глазам его открылись светские саванны, пустынные и плодоносные в одно и то же время, и это зрелище наполнило его тревожною заботой. После обеда все поразошлись, а он остался в столовой.

– Так вы видели мою дочку? – спросил его Горио проникновенным голосом.

Старик вывел студента из раздумья; Эжен взял его за руку и, глядя на него с каким-то умилением, ответил:

– Вы хороший, достойный человек. Мы поговорим о ваших дочерях после.

Не желая сейчас слушать папашу Горио, он встал, ушел к себе в комнату и написал матери письмо:

*«Дорогая мама, не найдется ли у тебя третья грудь, чтобы напитать меня? Обстоятельства складываются так, что я могу быстро разбогатеть. Мне необходимы тысяча двести франков, и я должен их иметь во что бы то ни стало. О моей просьбе не говори ничего папе, – он, пожалуй, воспротивится, а если у меня не будет этих денег, то я впаду в полное отчаяние, способное довести меня до самоубийства. Своими замыслами я поделюсь с тобой при первом же свидании: писать понадобилось бы томы, чтобы растолковать тебе то положение, в каком я нахожусь. Милая мама, я не проигрался, долгов у меня нет; но если моя жизнь, которую ты мне дала, дорога тебе, найди для меня эту сумму. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, взявшей меня под свое покровительство. Мне нужно бывать в свете, а у меня нет ни одного су на свежие перчатки. Я могу питаться только хлебом, не пить ничего, кроме воды; если придется, буду голодать; но я не могу обойтись без тех орудий, которыми обрабатывают парижский виноградник. Дело идет о том, пробью ли я себе дорогу, или останусь барахтаться в грязи. Я знаю, сколько надежд вы возложили на меня, и хочу осуществить их побыстрее. Милая мама, продай что-нибудь из твоих наследственных драгоценностей, – я отдам тебе свой долг в самом скором времени. Мне хорошо известно положение нашей семьи, и я сумею оценить все ваши жертвы; поверь, я прошу их не напрасно, иначе я оказался бы чудовищем. Прими мою мольбу, как вопль всевластной нужды. В этом пособии все наше будущее, на эти деньги я должен выступить в поход, ибо жизнь в Париже непрерывная битва. Если ты сама не можешь собрать всей суммы и не остается ничего другого, как продать кружева тети, скажи ей, что я пришлю ей взамен другие, еще лучшие...»* и так далее.

Он написал обеим сестрам по письму с просьбой выслать ему их сбережения, а чтобы достигнуть своей цели и в то же время удержать сестер от семейного обсуждения этой жертвы, которую они, конечно, почтут за счастье принести, Эжен воздействовал на чуткость их души, затронув струны чести, всегда натянутые крепко и очень звучные в юных сердцах. И все же, окончив свои письма, он пришел в невольное смятение, он волновался, трепетал. Юный честолюбец хорошо знал безукоризненное благородство этих душ, затерянных в глуши, и отдавал себе отчет, какие тяготы он налагает на сестер и сколько в этом будет радости для них, какое удовольствие доставит им тайная беседа о любимом брате в укромном уголке усадьбы. В его сознании вдруг ясно возник образ сестер в ту самую минуту, когда они украдкой будут подсчитывать свое ничтожное богатство; он видел, как они пускают в ход девичье хитроумие, чтобы тайком выслать ему деньги, и впервые делают попытку сплутовать, чтобы проявить свое великодушие. «Сердце сестры – это алмаз чистоты, бездна нежности!» – подумал он. Он начинал стыдиться того, что написал. А сколько силы будет в их молитвах, сколько чистоты в душевном их порыве к небу! С каким наслаждением пожертвуют они всем, что у них есть. Какое горе испытает мать, если она не сможет выслать полностью всех денег! И эти возвышенные чувства и эти жертвы будут служить ему только ступенькой, чтобы подняться к Дельфине Нусинген. Из его глаз скатилось несколько сле-

зинок – последние крупницы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи. Он шагал по комнате, обуреваемый отчаянием. Папаша Горио вошел к нему, заметив в полуоткрытую дверь это хождение взад и вперед.

– Что с вами? – спросил его папаша Горио.

– Ах, дорогой сосед, я все еще и сын и брат, как вы – отец. Вы правы, что боитесь за графиню Анастаси, она в руках некоего Максима де Трай, и он ее погубит.

Папаша Горио удалился, бормоча какие-то слова, но Эжен не уловил их смысла.

На следующий день Растиньяк пошел на почту отправить свои письма. Он колебался до последнего мгновения, но все же опустил их в почтовый ящик, сказав: «Мне посчастливится!» – выражение игрока, крупного полководца, но выражение роковое: чаще оно ведет к гибели, а не к спасенью.

Через несколько дней Эжен отправился к графине де Ресто, но не был принят. Он трижды возобновлял свою попытку, но все три раза ее двери оказывались закрытыми для него, хотя он выбирал часы, когда там не бывало графа Максима де Трай. Виконтесса была права! Студент перестал учиться. Он заходил на лекции лишь для того, чтобы отметить при перекличке, а засвидетельствовав свою явку, сейчас же удирает. Им руководило то же рассуждение, что и большинством студентов. Свои занятия он отложил до той поры, когда придется сдавать экзамен. Эжен решил записаться сразу на лекции второго и третьего курсов, но только к самому концу засесть серьезно и пройти весь курс юридического факультета в один присест. Благодаря этому в его распоряжении оказалось пятнадцать месяцев, когда он мог свободно плавать в парижском океане и там заняться ловлей женщин или ужением богатства.

За последнюю неделю Эжен два раза посетил г-жу де Босеан, но заходил только в такое время, когда карета д'Ажуда съезжала со двора. Эта прославленная женщина, самая поэтическая личность во всем Сен-Жерменском предместье, еще на считанные дни сумела удержать поле битвы за собой, добившись отсрочки брака маркиза д'Ажуда-Пинто с мадмуазель Рошфид. Но эти дни, которые боязнь утратить счастье наполнила небывало жгучим чувством, должны были ускорить катастрофу. Маркиз д'Ажуда и Рошфиды считали разлад и примирение с виконтессой благоприятным обстоятельством, надеясь, что г-жа де Босеан привыкнет к мысли об этом браке и, наконец, пожертвует своими утренними встречами ради события, самой природой предусмотренного в жизни человека. Таким образом д'Ажуда, повторяя ежедневно самые святые обещания, разыгрывал комедию, а виконтесса охотно поддавалась этому обману. И лучшая ее подруга, герцогиня де Ланже, сказала про нее: «Вместо того чтобы благородно выброситься из окна, она просто скатилась с лестницы». Как бы то ни было, последние лучи сияли еще столько времени, что виконтесса продолжала жить в Париже и оказала ценные услуги своему юному кузену, чувствуя к нему какую-то суеверную привязанность. Эжен ей выказал большую преданность и полное сочувствие при обстоятельствах такого рода, когда женщина ни в чьих глазах не видит ни жалости, ни истинного утешения для себя, – а если в это время и бывает, что мужчина говорит женщине нежные слова, он это делает с расчетом.

Прежде чем повести атаку на дом Нусингена, Растиньяк хотел тщательно изучить расположение фигур на своей шахматной доске; для этого он постарался выяснить себе предшествующую жизнь папаша Горио и собрал точные сведения, которые сводились к следующему.

До революции Жан-Жоашен Горио был простым рабочим-вермишельщиком, ловким, бережливым и настолько предприимчивым, что в 1789 году купил все дело своего хозяина, павшего случайной жертвой первого восстания. Он обосновался на улице Жюсьен, близ Хлебного рынка, и проявил большую сметку, взяв на себя председательство у себя в секции, чтобы обеспечить свою торговлю покровительством людей, наиболее влиятельных в ту опасную эпоху. Такая хитрая политика и положила основание его богатству: началось оно в период настоящего или умышленно созданного голода, когда в Париже установилась огромная цена на хлеб. У дверей булочных люди дрались до смертоубийства, а в это время некоторые лица преспокойно покупали макароны в бакалейных лавках. За этот год гражданин Горио нажил состояние, позволившее ему впоследствии вести торговлю, пользуясь всеми преимуществами, какие дает торговцу крупный капитал. С ним произошло то, что бывает со всеми лишь относительно способными людьми. Его серость спасла



ему жизнь. К тому же он не вызывал к себе ничьей зависти, так как о его богатстве стало известно лишь тогда, когда слыть богачом уже не было опасно. Все его умственные способности, видимо, ушли в торговлю хлебом. Он не имел себе равных, когда дело шло о зерне, муке, крупе, их качестве, происхождении, хранении, когда требовалось предвидеть цену, предсказать недород или урожай, дешево купить зерно, запастись им в Сицилии, на Украине. Глядя, как он ведет свои дела, толкует законы о ввозе и вывозе зерна, изучает их дух, подмечает их недостатки, иной, пожалуй, мог подумать, что Горио способен быть министром. Терпеливый, деятельный, энергичный, твердый, быстрый в средствах достижения цели, обладавший орлиным зрением в делах, он все опережал, предвидел все, все знал и все скрывал, дипломат – в замыслах, солдат – в походах. Но вне этой особой отрасли, выйдя из простой и мрачной своей лавки, где он сидел в часы досуга на пороге, прислонясь плечом к дверному косяку, Горио вновь становился темным, неотесанным работником, не мог понять простого рассуждения, был чужд каких-либо духовных наслаждений, засыпал в театре и казался одним из парижских Долибанов,<sup>39</sup> сильных только своею тупостью. Почти все люди такого склада похожи друг на друга. Но в душе почти у каждого из них вы можете найти возвышенное чувство. И душу вермишельщика заполнили два властных чувства, поглотившие всю теплоту его сердца, как хлебная торговля впитала его мозг. Его жена, единственная дочь богатого фермера из Бри, стала предметом беспредельной любви, какого-то набожного поклонения мужа. Он восхищался этим хрупким, но сильным душою, отзывчивым и милым существом, противоположным его собственной природе. Если в мужчине есть чувство, ему врожденное, так это – гордость той защитой, какую он всечасно оказывает слабым существам. Добавьте сюда любовь, эту горячую признательность всех честных душ к источнику их наслаждений, и вам понятно станет множество своеобразных явлений в духовной жизни. После семи лет нерушимого блаженства вермишельщик потерял жену – на свое несчастье: она уже забирала над ним власть не только в сфере чувств. Быть может, ей удалось бы развить эту косную натуру, вложив в нее понимание действительности и жизни. Со смертью жены его привязанность к детям перешла разумные границы. Всю свою горячую любовь, обездоленную смертью, он перенес на дочерей, и первое время они отвечали во всем его отцовским чувствам. И купцы и фермеры наперебой старались выдать своих дочек за него, но, как ни были блестящи предложения, Горио решил остаться вдовым. Тесть вермишельщика, единственный мужчина, пользовавшийся его благоволением, утверждал за истину, что Горио поклялся не нарушать супружескую верность своей жене, хотя бы и умершей. Торговцы на Хлебном рынке, не понимая такого возвышенного безрассудства, только глумились над Горио и наградили его каким-то смехотворным прозвищем. Но когда один из них, подвыпив после сделки, вздумал произнести его во всеуслышанье, вермишельщик ткнул насмешника кулаком в плечо, да так, что тот стремглав отлетел к тумбе на углу улицы Облен. Беззаветная преданность, пугливая и чуткая любовь Горио к своим дочерям приобрели всеобщую известность, и как-то раз один из конкурентов, желая удалить его с торгов, а самому остаться и влиять на цены, сказал Горио, будто бы Дельфину только что сшиб кабриолет. Вермишельщик, бледный как смерть, в ту же минуту покинул рынок. Ложная тревога вызвала в нем такое столкновение противоречивых чувств, что он был болен несколько дней. Этого человека Горио не ударил сокрушительным кулаком в плечо, но, выбрав критическую для обманщика минуту, довел его до банкротства и таким образом выгнал с рынка навсегда.

Воспитание обеих дочерей, само собой разумеется, велось нелепо. Имея более шестидесяти тысяч франков дохода в год, Горио не тратил лично на себя и тысячи двухсот, но почитал за счастье исполнять все дочерние прихоти: наилучшим учителям вменялось в обязанность привить его дочкам все таланты, какие требовались хорошим воспитанием; при них состояла компаньонка, и, на их счастье, – женщина с умом и вкусом; они катались верхом, имели выезд, короче, жили, как прежде жили бы любовницы у старого богатого вельможи; чего бы им ни захотелось, хотя бы очень дорогого, отец спешил исполнить их желание и за свою щедрость просил в награду только

---

<sup>39</sup> Долибан – отец, весь ушедший в заботы о своей горячо любимой дочери; действующее лицо комедии «Глухой, или Переполненная гостиница» французского актера и драматурга Жана-Батиста Шудара, выступавшего под псевдонимом Дефорж (1746–1806).

ласки. Приравнивая своих дочек к ангелам, бедняга тем самым возносил их над собой; он любил даже то зло, которое от них терпел. Когда для дочерей пришла пора замужества, он дал им возможность выбрать себе мужей по своим наклонностям: каждой было назначено приданое в размере половины состояния отца. Анастаси, своею красотой прельстившую графа де Ресто, тянуло к аристократическим кругам, и это побудило ее покинуть отчий дом, чтобы устремиться в высшие общественные сферы. Дельфина любила деньги и вышла за банкира Нусингена, немца родом, ставшего бароном Священной Римской империи.<sup>40</sup> Горио остался вермишельщиком. Но вскоре и зятя и дочки нашли зазорным для себя, что он попрежнему ведет торговлю, – а в ней заключалась для него вся жизнь. Горио пять лет противился их настояниям; в конце концов он уступил и бросил торговать, обеспечив себя капиталом от продажи своего дела и от доходов за несколько последних лет; по расчетам г-жи Воке, у которой он поселился, этот капитал должен был приносить от восьми до десяти тысяч ливров в год. Горио забился в пансион Воке с отчаяния, когда увидел, что дочери по требованию своих мужей отказываются не только взять его к себе, но даже принимать его открыто.

Вот все те сведения о папаше Горио, какие дал некий г-н Мюре, купивший его дело. Таким образом, догадки, высказанные герцогиней де Ланже при Растиньяке, подтвердились. На этом мы и закончим введение к трагедии из парижской жизни, трагедии неведомой, но страшной.

В конце первой недели декабря Растиньяк получил два письма – одно от матери, другое от старшей сестры Лоры. Оба хорошо знакомых почерка вызвали в нем одновременно и трепет удовольствия и содроганье ужаса. В двух хрупких листиках бумаги заключался приговор его надеждам – жить им или умереть. При мысли о бедности родных он испытывал некоторый страх, но вместе с тем он уже не раз убеждался в их исключительной любви и знал, что мог бы смело высосать из них все, до последней капли крови. Письмо матери было следующего содержания:

*«Дорогое дитя, посылаю тебе то, что ты просил. Употреби эти деньги с пользой, ибо еще раз, даже для спасения твоей жизни, я не могла бы добыть столь значительную сумму, не посвятив в это отца, что нарушило бы полное согласие нашей семейной жизни. Для получения новых денег пришлось бы выдать обязательство под нашу землю. Не зная твоих проектов, я лишена возможности судить о них; но какого же они свойства, если ты боишься сообщить их мне? Для этого не нужно писать томы, матерям довольно слова, и одно слово избавило бы меня от мучительного чувства неизвестности. Не могу утаить от тебя, что письмо твое произвело на меня тягостное впечатление. Милый сын, что побудило тебя заронить мне в душу такой страх? Наверно, ты много выстрадал, пока писал свое письмо, ибо и я перестрадала многое, пока его читала. Какое поприще задумал ты избрать? Не будет ли твоя жизнь, твое благополучие связаны с необходимостью изображать собою не то, что ты есть, и посещать тот круг людей, где ты бывать не можешь, не входя в непосильные расходы и не теряя времени, драгоценного для твоего учения? Милый Эжен, поверь материнскому сердцу: кривой путь до добра не доводит. Терпенье и отречение – вот добродетели молодых людей на твоем месте. Я не ворчу на тебя, к нашему дару я не хочу примешивать никакой горечи. Мои речи – речи матери, доверчивой и предусмотрительной. Если ты знаешь, в чем состоит твой долг, мне ли не знать, как чисто твое сердце, как прекрасны твои стремления. Стало быть, я без боязни могу сказать тебе: иди, любимый мой, и действуй! Я трепещу, потому что я мать, но наши молитвы и благословения будут нежно сопровождать твой каждый шаг. Будь осторожен, милый сын. Ты обязан быть мудрым, как мужчина, ведь судьбы пяти дорогих тебе людей зависят от твоего ума. Да, наша судьба в твоих руках, и твое счастье – наше счастье. Мы молим бога помочь тебе в твоих начинаниях. Тетушка Марсийяк проявила в этих обстоятельствах неслыханную доброту; она сама додумалась до того, что ты писал мне о перчатках. „Да, у меня слабость к старшему племяннику“, го-*

---

<sup>40</sup> «...ставшего бароном Священной Римской империи». – «Священная Римская империя» – название, присвоенное германскому государству в X в. и сохранившееся до завоевания Германии войсками Наполеона I. Путем различных сделок с немецкой знатью и с правительствами германских княжеств немецкие и иноземные буржуа становились «титлованными особами».

ворила она весело. Эжен, люби крепко свою тетю: о том, что она сделала ради тебя, я расскажу тебе только тогда, когда ты добьешься полного успеха, если же его не будет, то ее деньги будут жечь тебе руки. Вы, дети, не знаете, что значит лишать себя памятных вещей! Но ради вас чего не принесем мы в жертву! Тетушка поручила сказать тебе, что целует тебя в лоб и хотела бы этим поцелуем подарить тебе способность всегда иметь успех. Добрая, чудесная женщина написала бы тебе сама, не будь у ней хирагры.<sup>41</sup> Отец здоров. Урожай нынешнего 1819 года превзошел все наши ожидания. Прощай, дорогой сын. Не сообщаю ничего о сестрах: тебе пишет Лора. Предоставляю ей удовольствие поболтать о маленьких событиях в нашей семье. Пошли тебе боже успеха! О! да, да, Эжен, добейся успеха: из-за тебя я испытала столько жгучей скорби, что вторично мне не снести ее. Я узнала, что значит быть бедной, тоскуя по богатству, которое могла бы отдать сыну. Ну, прощай. Не оставляй нас без вестей и в заключение прими горячий материнский поцелуй».

Когда Эжен закончил чтение письма, слезы катились по его щекам, он думал о том, как папаша Горио скручивал серебряную чашку, чтобы продать ее и оплатить вексель своей дочки. «Твоя мать тоже „скрутила“ собственные драгоценности! – говорил он себе. – И тетюшка, наверно, плакала, распродавая свои фамильные реликвии! Так по какому праву ты стал бы ругать Анастаси? Ради твоего эгоистического будущего ты сделал то же самое, что совершила она для своего любовника. Кто лучше: ты или она?» Студент почувствовал, как все внутри его испепеляется невыносимым жаром. Он собирался отказаться от светской жизни, он был готов отвергнуть эти деньги. Он испытал тайные угрызения совести, благородные и прекрасные, что редко получает достойную оценку у людей, когда они судят своих ближних, но побуждает ангелов небесных дать отпущение вины преступнику, хотя и осужденному земными законниками. Эжен раскрыл письмо сестры, написанное в таких невинно-прелестных выражениях, что у него сразу отлегло от сердца:

«Дорогой брат, твое письмо явилось очень кстати. Я и Агата собирались истратить наши деньги, но разошлись во взглядах и не могли решить, что покупать. Ты достиг того же, что и слуга испанского короля, когда он уронил на пол все карманные часы своего господина: ты водворил согласие. Мы в самом деле ссорились из-за того, какому нашему желанию отдать предпочтение, и не догадывались, дорогой Эжен, найти такое применение нашим деньгам, которое объединило бы все наши желания. Агата даже запрыгала от радости. Словом, весь день мы были сами не свои, и так приметно (выражаясь стилем тети), что мама строго спросила нас: „Да что такое с вами?“ Если бы она хоть чуточку нас побранила, мы были бы, я думаю, довольны еще больше. Пострадать за любимого человека большое удовольствие для женщины! Я одна задумалась и загрустила при всей своей радости. Наверно, я окажусь плохой женой – такая я мотовка. Я купила себе два пояса, хорошенький пунсон, чтобы протыкать дырочки в своих корсетах, то есть чепуху, но в результате у меня осталось меньше денег, чем у толстухи Агаты, потому что она бережлива и собирает монетки в одну кучку, как сорока, – у нее оказалось двести франков! А у меня, мой бедный друг, только полтора. Я больно наказана и хотела швырнуть в колодец мой злополучный пояс, мне будет неприятно его носить. Я обокрала тебя. Агата просто прелесть – она сказала: „Пошлем триста пятьдесят франков от нас обеих!“ Я не могу удержаться, чтоб не рассказать тебе весь ход событий. Знаешь, как мы поступили, чтобы исполнить твой наказ? Мы обе взяли наши пресловутые деньги и отправились гулять, но едва мы очутились на большой дороге, как бросились бежать в Рюфек, где попросту отдали деньги 2-ну Гримберту, содержателю конторы Королевских почтовых сообщений! Обратно мы летели легко, как ласточки. „Может быть, такую легкость нам придает удача?“ – сказала мне Агата. Мы наговорили друг другу множество вещей, но вам, господин парижанин, я их не повторю, – слишком большую роль играли в этом вы. О дорогой брат, мы очень тебя любим, вот и все. Что касается тайны, то, по словам тети, такие скрытницы, как мы, на все способны, даже на молчание. Мама с тетей таинственно отправились в Ангулем, ни словом не обмолвясь о высших политиче-

---

<sup>41</sup> Хирагра – подагрическое поражение рук.

ских целях своей поездки, которой предшествовали длительные совещания, куда мы, а также г-н барон, не допускались. Великие начинания владеют умами в государстве Растиньяк. Инфанты попрежнему вышивают муслиновое платье с ажурными цветочками для ее величества, и работа подвигается в глубокой тайне; осталось вышить только два конца. Вынесено решение не возводить стены со стороны Вертэй, там будет только изгородь. От этого население королевства лишится фруктов с деревьев и шпалер, зато для чужестранцев останется прекрасный вид. Если наследный принц нуждается в носовых платках, то да будет ему известно, что вдовствующая королева де Марсийяк порылась в своих сокровищницах и сундуках, известных под названием Помпеи и Геркуланума, и обрела там штуку отличного голландского полотна, про которую она забыла; принцессы Лора и Агата предоставляют в ее распоряжение иголки, нитки и свои руки, красные по-прежнему. Два юных принца, дон Анри и дон Габриэль, не бросили пагубной привычки объедаться виноградным вареньем, бесить своих сестер, ничему не учиться, разорять птичьи гнезда, шуметь и, вопреки законам государства, срезать ивовые побеги себе на тросточки. Папский нунций, а в просторечии – наш священник, грозит им отлучением от церкви, если они вместо правописания будут попрежнему усваивать право шатания.

Прощай, милый брат! Никогда еще ни одно письмо не содержало столько молитв, возносимых за твое счастье, столько радостной любви. Когда приедешь сюда, тебе придется порассказать нам очень много! Я старшая, и ты мне скажешь все. Тетушка дала понять нам, что ты имеешь успех в свете.

*Болтают все о даме, об остальном молчок!*

При нас, конечно! Вот что, Эжен: если хочешь, мы можем обойтись без носовых платков, а вместо них сошьем тебе рубашки. По этому вопросу отвечай скорей. Если тебе нужны хорошо сшитые, красивые рубашки, и в скором времени, то нам придется засесть за них сейчас же; если в Париже есть неведомые нам фасоны, тогда пришли нам образец, в особенности для манжет. Прощай, прощай! Целую тебя в лоб с левой стороны, в тот висок, который принадлежит только мне. Чистую страничку предоставляю Агате, получив от нее обещание не читать того, что я тебе пишу. Но для большей верности, я буду рядом с ней, пока она напишет. Любящая тебя сестра

*Лора де Растиньяк».*

«О, да, да, богатство, во что бы то ни стало! – твердил себе Эжен. Никакими сокровищами не оплатить такую беззаветную любовь. О, как бы я хотел дать им все счастье сразу!.. Полторы тысячи франков! – прошептал он после некоторой паузы. – Надо, чтобы каждая монета шла в дело! Лора права. Честное слово! у меня рубашки только из простого полотна. Девушка ради чужого счастья становится хитра, как вор. Сама по себе простушка, она предусмотрительна ради меня; это ангел, который не понимает земных прегрешений, но прощает их».

Свет принадлежал ему! Портной был призван, опрошен, завоеван. Увидав Максима де Трай, Растиньяк тогда же понял, какое влияние имеет портной на судьбы молодых людей. Увы, нет середины между двумя понятиями о портном: это или друг, или смертельный враг, глядя по работе. В своем портном Эжен нашел человека, который по-отечески понимал свой промысел и на себя смотрел как на звено между настоящим и будущим молодых людей. Благодарный Растиньяк, впоследствии блиставший остроумием, создал ему богатство одним своим изречением.

– Я знаю, – говорил Растиньяк, – две пары брюк его работы, которые способствовали двум женитьбам, приносившим двадцать тысяч дохода в год.

Полторы тысячи франков – и сколько хочешь фряков! В такой момент бедный южанин уже ни в чем не сомневался и, спускаясь к завтраку, имел особенный, неизъяснимый вид, присущий юношам, когда у них есть некоторая сумма денег. Едва в студенческий карман попадут деньги, как настроение студента поднимается, подобно какой-то фантастической колонне, и он возносится на этот пьедестал. Походка у студента сразу делается красивой, он чувствует в себе самую точку опоры для своих действий, смотрит прямо и открыто, его движения быстры; вчера – он робок, смирен,



готов сносить побои, назавтра сам побьет хоть первого министра. С ним творится что-то неслыханное: он хочет все и может все, в его желаниях сумбур, он весел, щедр и общителен. Короче говоря, бескрылой птице дали размашистые крылья. Студент без денег лишь изредка урвет какое-нибудь удовольствие, – так собака ворует кость, преодолев тысячу опасностей, потом грызет ее, высасывает мозг и бежит дальше; но если юноша потряхивает кошельком, где приютились золотые шальные монеты, то он смакует наслажденья, растягивает их, он доволен собою, витает в небесах, забыв, что значит слово «нищета». К его услугам весь Париж. О, молодость, пора, когда все блещет, искрится и пламенеет; пора разгульной силы, зря пропадающей, не оцененной ни женщинами, ни мужчинами! Пора долгов и вечной тревоги, что, впрочем, лишь во много крат усиливает наслажденья! Тот, кто не знает левого берега Сены, между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер,<sup>42</sup> тот ничего не смыслит в жизни человека!

«О, если б парижанки только знали, они сюда пришли бы за любовью!» говорил себе Растиньяк, поглощая у вдовы Воке вареные груши ценой в один лиар за штуку.

В эту минуту посыльный Королевских почтовых сообщений, позвонивший у решетчатой калитки, вошел в столовую. Спросив г-на Эжена де Растиньяка, он передал ему два мешочка и квитанцию для подписи. Вотрен сверкнул на Растиньяка таким пронизывающим взглядом, словно хлестнул его кнутом.

– У вас есть чем оплатить уроки фехтованья и стрельбы в тире, – сказал Эжену этот человек.

– Наконец-то прибыли галионы!<sup>43</sup> – воскликнула г-жа Воке, посматривая на мешки.

Мадмуазель Мишоно боялась взглянуть на деньги, чтобы не выдать своей алчности.

– У вас добрая мать, – заметила г-жа Кутюр.

– У него добрая мать, – повторил Пуаре.

– Да, маменька пустила себе кровь, – сказал Вотрен. – Теперь вы можете откалывать все ваши штуки, бывать в свете, выуживать приданое и приглашать на танцы графинь с цветами персика на голове. Но послушайте моего совета, молодой человек, почаще заходите в тир.

Вотрен показал, будто целится в противника. Растиньяк хотел дать посыльному на чай, но не нашел ничего у себя в кармане. Вотрен пошарил у себя и бросил двадцать су посыльному.

– Вам всегда открыт кредит, – проговорил он, глядя на студента.

Растиньяку пришлось поблагодарить его, хотя со времени их столкновения в тот день, когда Эжен вернулся от г-жи де Босеан, этот человек стал ему несносен. За последнюю неделю Вотрен и Растиньяк встречались молча и наблюдали друг за другом. Студент напрасно спрашивал себя, что было этому причиной. Несомненно, что мысли действуют на расстоянии прямо пропорционально силе, породившей их, и бьют в ту точку, куда их посылает мозг по какому-то закону математики, похожему на тот, что управляет бомбой, вылетевшей из мортиры. Результаты их действия могут быть различны. Бывают мягкие натуры, в которых чужие мысли, засев глубоко, производят разрушение; зато встречаются и хорошо вооруженные натуры – такие черепа, закованные в бронзу, что воля другого человека плющится о них и тут же падает, как пуля, ударившая в каменную стену; кроме них, есть дряблые и рыхлые натуры: чужие мысли в них зарываются бессильно, как ядра в мягкой насыпи траншей. Голова Растиньяка относилась к числу голов, начиненных порохом и готовых ко взрыву от малейшей искры. В нем было слишком много пылкой юности, и он не мог не поддаваться этой силе мыслей, этой заразительности чувств, когда в них столько причудливых явлений, которые захватывают нас помимо нашей воли. Острота духовного зрения у Растиньяка не уступала зоркости рысьих его глаз. Каждое из его двояких восприятий действительности (умом и чувством) обладало той сокровенной широтой, той гибкостью, какими восхищают нас люди особых дарований, как, например, искусные бойцы на шпагах, способные мгновенно уловить все уязвимые места любого панцыря. Впрочем, за последний месяц Растиньяк приобрел не меньше недостатков, чем достоинств. Недостатки вызывались требованиями света и настойчивостью все

<sup>42</sup> «...между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер» – то есть в Латинском квартале.

<sup>43</sup> Галион – испанское парусное судно. На галионах испанцы вывозили в XVI–XVII вв. с территорий Южной Америки огромные количества серебра и золота, награбленного ими или добытого при помощи рабского труда индейцев.

возрастающих желаний. К его достоинствам относилась та южная горячность, которая повелевает выходцу из-за Луары итти прямо на препятствие, чтобы его преодолеть, и не дает стоять на месте в нерешительности; северяне считают это свойство недостатком; по их мнению, оно хотя и положило начало возвышению Мюрата,<sup>44</sup> но стало и причиной его гибели. Отсюда можно сделать такой вывод: когда южанин умеет сочетать в себе пронырство северянина и дерзость уроженцев Залуарья, он в своем роде совершенство и никому не сдаст своих позиций.

Таким образом, Эжен не мог бы долго оставаться под обстрелом батареей Вотрена, не зная, кто ему Вотрен – друг или недруг. Временами ему казалось, что эта странная личность читает у него в душе и прозревает его страсти, а между тем у самого Вотрена все замкнуто так крепко, точно он обладает невозмутимой глубиной сфинкса, который знает, видит все, но ничего не говорит. Теперь, с полным карманом денег, Эжен взбунтовался.

– Будьте любезны подождать, – сказал он, видя, что Вотрен уже встал и допивает кофе, собираясь уходить.

– Зачем? – спросил этот сорокалетний мужчина, надевая широкополую шляпу и взяв железную палку, которую он часто делал «мельницу», доказывая, что не побоится нападения хотя бы и четырех грабителей.

– Я отдам вам долг, – ответил Растиньяк, спешно развязывая один мешочек и отсчитывая сто сорок франков для хозяйки. – Жалеть мешка – не иметь дружка, – сказал он г-же Воке. – Мы в расчете до Сильвестрова дня.<sup>45</sup> Разменяйте мне сто су.

– Жалеть дружка – не иметь мешка, повторил Пуаре, глядя на Вотрена.

– Вот ваши двадцать су, – сказал Растиньяк, протягивая монету сфинксу в парике.

– Можно подумать, что вы боитесь быть мне обязанным хоть чем-нибудь! – воскликнул Вотрен, проникая своим всевидящим взглядом в душу молодого человека и награждая его иронической диогеновской усмешкой, уже не раз злившей Растиньяка.

– Пожалуй... да, – ответил студент, держа в руке свои мешочки и собираясь итти к себе наверх.

Вотрен пошел к двери в гостиную, а студент намеревался пройти в дверь, ведущую на площадку перед лестницей.

– А знаете ли, маркиз де Растиньякорама, то, что вы мне сказали, не совсем учтиво, – заметил Вотрен, плашмя ударив палкой по двери в гостиную, и подошел к студенту, смотревшему на него холодным взглядом.

Растиньяк затворил дверь в столовую и повел Вотрена на площадку лестницы, отделявшую столовую от кухни, где была дверь в сад, а над ней низкое продолговатое окошко с решеткой из железных прутьев. В это время Сильвия выскочила из кухни, и студент при ней сказал Вотрену: «Господин Вотрен, во-первых, я не маркиз, а во-вторых, меня зовут не Растиньякорама».

– Они будут драться, – сказала равнодушно мадмуазель Мишоно.

– Будут драться, – повторил Пуаре.

– О нет, – ответила г-жа Воке, поглаживая рукой стопку золотых монет.

– Но они уже идут под липы, – воскликнула мадмуазель Викторина, встав с места, чтобы посмотреть в сад. – Бедный молодой человек, ведь он прав!

– Пойдем, милочка, наверх, нас это не касается, – обратилась к ней г-жа Кутюр.

Госпожа Кутюр и Викторина встали, чтобы уйти, но на пороге двери им преградила путь толстуха Сильвия.

– Этого еще не доставало! – заявила она. – Господин Вотрен сказал господину Эжену: «Давайте объяснимся!» Потом он взял его под руку, – и вот они идут по нашим артишокам!

В это мгновение появился Вотрен.

– Мамаша Воке, – сказал он улыбаясь, – не пугайтесь; сейчас под липами я попробую свои

---

<sup>44</sup> Мюрат Иоахим (1767–1815) – маршал Наполеона I; с 1808 по 1814 г. – король Неаполитанский; после падения Наполеона был низложен, сделал попытку вернуть себе престол, но был схвачен и казнен.

<sup>45</sup> «Мы в расчете до Сильвестрова дня» – то есть до 31 декабря.

пистолеты.

– О господин Вотрен, за что хотите вы убить Эжена? – сказала Викторина, всплеснув руками.

Вотрен отступил на два шага и некоторое время смотрел на Викторину.

– Вот так история! – воскликнул он шутливо, заставив покраснеть бедную девочку. – А правда, этот молодой человек очень мил? – добавил он. – Вы навели меня на мысль, прелестное дитя. Я очастливилу вас обоих.

Госпожа Кутюр взяла свою воспитанницу под руку и увела, сказав ей на ухо:

– Слушайте, Викторина, сегодня я вас не узнаю.

– Я не хочу, чтобы у меня стреляли из пистолетов, – заявила г-жа Воке. – В такой час все соседи всполошатся, да и полиция пожалует.

– Ну, тихо, мамаша Воке, – ответил Вотрен. – Ля-ля, прекрасно, мы пойдем в тир.

Он присоединился к Растиньяку и дружески взял его под руку.

– Если я докажу вам, – сказал он, – что на тридцать пять шагов всаживаю пулю в туза пик пять раз подряд, то это не убавит вашей прыти? На мой взгляд, вы малость бесноваты и дадите убить себя, как дурак.

– Вы уже на попятный! – ответил Эжен.

– Не выводите меня из терпения, – предостерег Вотрен. – Сегодня не холодно, пойдем сядем вот там, – предложил он, указывая на зеленые скамейки. – Тут никто нас не услышит. Мне нужно потолковать с вами. Вы юнец хороший, и я не хочу вам зла, ведь я вас люблю, честное слово Обма... (тьфу, черт!)... честное слово Вотрена. За что я люблю вас, я вас скажу потом. А пока что я знаю вас так, точно сам вас создал, и докажу вам это. Положите ваши мешки сюда, – добавил он, указав на круглый стол.

Растиньяк положил деньги на стол и сел, сгорая от любопытства, разожженного до предела внезапной переменой в обращении человека, который только что хотел его убить, а теперь выставлял себя каким-то покровителем.

– Вам очень хотелось бы узнать, кто я, чем занимался прежде, что делаю теперь, – начал Вотрен. – Мой мальчик, вы слишком любопытны. Только спокойно, вы услышите немало всячины! Мне не повезло. Выслушайте, а говорить будете потом. Вот вам моя прежняя жизнь в трех словах. Кто я? Вотрен. Что делаю? Что нравится. И все. Хотите знать мой характер? Я хорош с теми, кто хорош со мной или кто мне по душе. Им все позволено, они могут наступать мне на ногу, и я не крикну: «Эй, берегись!» Но, черт возьми, я зол, как дьявол, с теми, кто досаждают мне или просто неприятен! Надо вам сказать, что для меня убить человека все равно что плюнуть. Но убиваю, только когда это совершенно необходимо, и стараюсь сделать дело чисто: я, что называется, артист. И вот, каков я есть, я прочел «Воспоминания» Бенвенуто Челлини, да еще по-итальянски! Это был сорви-голова, он-то и научил меня подражать провидению, которое нас убивает и так и сяк, но, кроме этого, он научил меня любить прекрасное во всем, где только оно есть. А разве не прекрасна роль, когда идешь один противу всех и у тебя есть шансы на удачу? Я много размышлял о современном строе вашего общественного неустройства. Дуэль, мой мальчик, – детская забава, дурость. Когда один из двух живых людей должен сгинуть, только дурак отдаст себя на волю случая. А дуэль? Орел или решка! И только. Я всаживаю в туза пик пять пуль подряд, пуля в пулю, да еще на тридцать пять шагов! Имея такой талант, можно быть уверенным, что уложишь своего противника. И что же, я стрелял в одного человека на двадцать шагов и промахнулся. А мой чудак не держал в руке пистолета ни разу в жизни. Пощупайте! – сказал этот необыкновенный человек, расстегивая жилет и обнажая грудь, мохнатую, как спина медведя, поросшую какой-то противной буро-рыжей шерстью; затем вложил палец Растиньяка в ямку на своей груди и добавил: – Это тот самый молокосос подпалил мне мех, но тогда я был младенцем ваших лет, двадцати одного года. Я еще верил кое во что, в женскую любовь, в кучу глупостей, во что и вам предстоит влипнуть. Могло случиться, что мы бы с вами подрались, не так ли?! Возможно, что вы убили бы меня. Допустим, я лежу в могиле, но куда деваться вам? Пришлось бы удирать в Швейцарию, продать папенькины деньги, а их нет. Я освещу вам ваше положение и сделаю это с высоты своего превосходства, потому что я разобрался в земных делах и вижу в жизни только два пути: тупое

повиновение или бунт. Я лично не подчиняюсь ничему, ясно? А знаете ли вы, что нужно вам при вашем теперешнем размахе? Миллион – и как можно скорее, а то мы с нашей головушкой можем совершить прогулку до сетей Сен-Клу,<sup>46</sup> чтобы удостовериться, есть ли высшее существо. Этот миллион я вам дам. – Вотрен сделал паузу, глядя на Эжена. – Ага! Вы смотрите уже приветливее на милого дядюшку Вотрена. Услыхав слово «миллион», вы стали похожи на молодую девушку, которой сказали: «сегодня вечером», и она прихорашивается, облизываясь, как кот на молоко. Очень хорошо. Значит, пошли? Рука об руку! Вот вам, юноша, ваше наличие. Там, в провинции, у нас есть папа, мама, старая тетя, две сестры (восемнадцати и семнадцати лет), двое братишек (пятнадцати и десяти лет), таков список всей команды. Тетка воспитывает сестер. Кюре дает уроки латыни обоим братьям. Семья питается не столько белым хлебом, сколько похлебкой из каштанов, папаша бережет свои штаны, у мамыши – от силы одно платье для зимы и одно для лета, а сестры ходят в чем придется. Я знаю все, я был на юге. Так обстоит дело и у вас; если вам высылают тысячу двести франков в год, значит земляшка ваша дает не более трех тысяч. У нас есть кухарка, есть слуга, – надо же соблюсти внешнюю пристойность: папаша, как-никак, барон. А что касается нас лично, то у нас есть честолюбие, есть родственники Босеаны – а ходим мы пешком; жаждем богатства – а нет ни одного су: едим стряпню маменьки Воке – а любим роскошные обеды в Сен-Жерменском предместье; спим на дрянной койке – а желает приобрести особняк! Ваших стремлений я не порицаю. Иметь честолюбие, дружочек мой, дано не каждому. Спросите женщин, каких мужчин они предпочитают, – честолюбцев. У честолюбцев хребет крепче, кровь богаче железом, сердце горячее, чем у других мужчин. А женщина в расцвете своей жизни чувствует себя такой счастливой, такой красивой, что предпочитает всем мужчине огромной силы, не страшась, что он ее может сломать. Я перечислил ваши пожелания, чтобы задать вам один вопрос. Вопрос такой: у нас аппетит волчий, зубки острые, что же делать, как нам добыть провизии в котел? Прежде всего нам нужно проглотить Свод законов; это невесело и ничему не учит, а надо. Пусть так; мы делаемся членом суда, а затем председателем уголовного суда, и тогда мы выжигаем С. К.<sup>47</sup> На плече несчастных, которые лучше нас, ссылаем их на каторгу, доказывая богачам, что они могут спать спокойно. Все это не забавно, да и канительно. Сперва маяться года два в Париже, только поглядывать на сладенькое, отнюдь не трогая, хотя мы его очень любим. Всегда желать и никогда не удовлетворять своих желаний – дело утомительное. Будь вы малокровны, с темпераментом моллюска, вам было бы нечего бояться; а то кровь у вас львиная, бурливая и вожделие такое, что хватит на двадцать глупостей за один день. Вы погибнете от этой пытки, самой ужасной, какая только есть в аду у бога. Допустим, что вы благоразумны, пьете молоко и сочиняете элегии; тогда, после многих неприятностей и таких лишений, что и собака взбесится, вам с вашим благородством придется начинать товарищем какого-нибудь негодяя прокурора в захолустном городишке, где правительство швырнет вам тысячу франков жалованья в год, а это все равно, что плеснуть супа догу мясника. Лай на воров, защищай богатого, посылай на гильотину смелых духом. Премного обязан! Если у вас нет покровителей, вы так и сгниете в вашем провинциальном трибунале. К тридцати годам вы будете судьей на жалованье в тысячу двести франков, если, конечно, еще раньше не выкинете судейскую мантию ко всем чертям. Лет сорока вы женитесь на дочери какого-нибудь мельника и обеспечите себя доходом в шесть тысяч ливров. Вот спасибо! Имея покровителей, вы тридцати лет станете провинциальным прокурором с окладом в тысячу экю и женитесь на дочке мэра. Если вы пойдете на небольшие подлости в политике, вроде того, что на избирательном листке будете читать Виллель вместо Манюэль<sup>48</sup> (фамилии их рифмуются, стало быть совесть мо-

<sup>46</sup> «...совершить прогулку до сетей Сен-Клу» – то есть утопиться. Около городка Сен-Клу, недалеко от Парижа, вниз по течению Сены, река была перегорожена сетями, чтобы вылавливать тела утопленников.

<sup>47</sup> «С. К.» – ссыльнокаторжный.

<sup>48</sup> «...На избирательном листке будете читать Виллель вместо Манюэль». Граф де Виллель Жозеф (1773–1854) – французский реакционный политический деятель, один из лидеров крайних роялистов; в 1821–1827 гг. возглавлял кабинет министров. – Манюэль Жак (1775–1827) – член палаты депутатов, бывший в оппозиции к правлению Бурбонов; в марте 1823 г. Манюэль за свое антимонархическое выступление был незаконно исключен из палаты ее реакционным большинством. Избирательная система во Франции времен Реставрации, так же как и в настоящее время, от-



жет быть покойна), тогда вы в сорок лет будете генерал-прокурором и можете стать депутатом. Заметьте, милое дитя, что в нашей совести мы понаделали прорех, что пережили двадцать лет всяких огорчений, терпели тайную нужду, а наши сестры превратились в старых дев. Имею честь еще заметить, что на всю Францию только двадцать генерал-прокуроров, а жаждущих попасть на это место двадцать тысяч, и среди них встречаются мазурики, готовые продать свою семью, чтобы подняться на одну зарубку. Если такое ремесло вам не по вкусу, посмотрим на другое. Не хочет ли барон де Растиньяк стать адвокатом? О! Замечательно! Надо томиться десять лет, тратить тысячу франков в месяц, иметь библиотеку, приемную, бывать в свете, трепать языком, прикладываться к мантии какого-нибудь стряпчего, чтобы иметь дела. Если такое ремесло подходит вам, то я не возражаю; но вы найдите мне во всем Париже пять адвокатов пятидесяти лет от роду с заработком больше пятидесяти тысяч в год. Брр! Я предпочел бы сделаться пиратом, чем так поганить свою душу. А помимо всего прочего, откуда взять на это денег? Все это не забавно. У вас есть одна возможность приданое жены. Не хотите ли жениться? Для вас это все равно, что повесить себе на шею камень; кроме того, если вы женитесь на деньгах, где же тут чувство чести, где благородное происхождение? Лучше вам сегодня же поднять бунт против условностей людской морали. Жениться по расчету – значит пресмыкаться перед женой, лизать пятки у ее мамы, совершать такие мерзости, что и свинье противно, тьфу! Еще куда ни шло, если бы вы нашли счастье. Но в таком браке вы будете чувствовать себя трубой для стока нечистот. Лучше воевать с мужчинами, чем бороться с собственной женой. Вы, юноша, на перекрестке жизни, выбирайте! Вы уже выбрали: вы побывали у вашей кузины де Босеан – на вас пахнуло роскошью; вы побывали у дочки папаши Горио, графини де Ресто, – на вас пахнуло парижанкой. В тот день, когда вы от нее пришли домой, у вас на лбу было написано одно словцо, и я легко прочел его: пробиться! Пробиться во что бы то ни стало! Bravo, сказал я, такой молодчик как раз по мне. Вам нужны были деньги. Откуда их достать? Вы высосали кровь из своих сестер. Все братья более или менее обирают своих сестер. Бог весть как, вам удалось выцарапать тысячу пятьсот франков из такой глуши, где каштанов гораздо больше, чем золотых монет, но эти деньги разбредутся, как солдаты-мародеры. Тогда что делать? Может быть, вы собираетесь работать? Но работа, как вы понимаете ее сейчас, дает к старости комнату у маменьки Воке людям такого сорта, как Пуаре. Пятьдесят тысяч молодых людей, находящихся в вашем положении, стремятся разрешить задачу быстрого обогащения, и среди них вы только единица. Посудите, что вам предстоит: сколько усилий, какой жестокий бой! Пятидесяти тысяч доходных мест не существует, и вам придется пожирать друг друга, как паукам, посаженным в банку. Известно ли вам, как здесь прокладывают себе дорогу? Блеском гения или искусством подкупать. В эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникнуть как чума. Честностью нельзя достигнуть ничего. Перед силой гения склоняются и его же ненавидят, стараются очернить его за то, что гений берет все без раздела, но, пока он стоит твердо, его превозносят, – короче говоря, боготворят, встав на колени, когда не могут втоптать в грязь. Продажность – всюду, талант – редкость. Поэтому продажность стала оружием посредственности, заполонившей все, и острие ее оружия вы ощутите везде. Вы увидите, что жены тратят больше десяти тысяч франков на наряды, в то время когда мужья их получают шесть тысяч на все про все. Вы увидите, как чиновники с окладом в тысячу двести франков покупают земли. Вы увидите, как женщины продают себя за прогулки в карете сына пэра Франции, потому что в ней можно разъезжать по среднему шоссе в Лоншане. Вы уже видели, как простофиля папаша Горио был вынужден платить по векселю, подписанному дочкой, хотя у ее мужа пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Бьюсь об заклад: стоит вам сделать два шага в Париже, и вы сейчас же натолкнетесь на дьявольские махинации. Ставлю свою голову против этой кочерыжки от салата, что у первой женщины, которая вам понравится, вы угодите в осиное гнездо, если она молода, красива и богата. Они все не в ладах с законом и по любому поводу ведут войну с мужьями. Мне никогда не кончить, если я вздумаю излагать вам, какие сделки заключаются ради тряпок, любовников, детей, ради домашних нужд или из тщеславия, но, будьте уверены, редко – по добрым побуждениям. Вот почему честный человек всем враг. Но что такое, по-вашему, честный человек? В Париже честный человек – тот, кто дей-

---

крывала широкий простор для угодной правительству фальсификации выборов.

ствует молчком и не делится ни с кем. Я оставляю в стороне жалких илотов, которые повсюду тянут лямку, никогда не получая награды за свои труды; я называю их братством божьих дурачков. Там – добродетель во всем расцвете своей глупости, но там же и нужда. Я отсюда вижу, какая рожь будет у этих праведных людей, если бог сыграет с ними злую шутку и вдруг отменит Страшный суд. Итак, раз вы хотите быстро составить состояние, необходимо или уже быть богатым, или казаться им. Чтобы разбогатеть, надо вести игру большими кушами, а будешь скаречничать в игре – пиши пропало! Когда в сфере ста доступных вам профессий человек десять быстро достигли успеха, публика сейчас же обзывает их ворами. Сделайте отсюда вывод. Вот жизнь как она есть. Все это не лучше кухни – вони столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай руки, только потом умеешь хорошенько смыть грязь; вот вся мораль нашей эпохи. Если я так смотрю на человеческое общество, то мне дано на это право, я знаю общество. Вы думаете, что я его браню? Нисколько. Оно всегда было таким. И моралистам никогда его не изменить. Человек далек от совершенства. Он лицемерен иной раз больше, иной раз меньше, а дураки болтают, что один нравственен, а другой нет. Я не осуждаю богачей, выхваляя простой народ: человек везде один и тот же, что наверху, что в середине, что внизу. На каждый миллион в людском стаде сыщется десяток молодцов, которые ставят себя выше всего, даже законов; таков и я. Если вы человек высшего порядка, смело идите прямо к цели. Но вам придется выдержать борьбу с посредственностью, завистью и клеветой, итти против всего общества. Наполеон столкнулся с военным министром по имени Обри, который чуть не сослал его в колонии. Проверьте самого себя! Ежедневно, встав утром, наблюдайте, стала ли ваша воля крепче, чем накануне. Принимая все это во внимание, я предложу вам такое дело, что от него едва ли кто откажется. Слушайте внимательно. Извольте ли видеть, у меня есть некий план. Я задумал пожить патриархальной жизнью в большом именье, так – тысяч сто арпанов,<sup>49</sup> на юге Соединенных Штатов. Я хочу сделаться плантатором, иметь рабов и нажить несколько миллиончиков от продажи табаку, волов и леса; хочу стать владетельной особой, делать что вздумается и вести жизнь, непонятную здесь, где человек ютится в оштукатуренной норе. Я большой поэт. Но стихов я не пишу: моя поэзия в действиях и чувствах. У меня есть пятьдесят тысяч франков, но их мне хватит от силы на сорок негров, а чтобы удовлетворить стремления к патриархальной жизни, мне нужно двести негров, для этого понадобится двести тысяч франков. Почему негров? Дело в том, что негры – это взрослые ребята, с ними можно проделывать все что угодно, и ни один любознательный прокурор не потянет вас к ответу. Владея этим черным капиталом, я через десять лет буду иметь три-четыре миллиона. Когда же я разбогатею, меня не спросят: «Кто ты такой?» Я буду господин Четыре Миллиона, гражданин Соединенных Штатов. Мне будет пятьдесят лет, я еще не превращусь в труху и потешусь, как мне любо. Короче говоря, если я добуду вам миллион приданого, дадите вы мне двести тысяч? Двадцать процентов за комиссию, а? Разве это много? Вы влюбите в себя свою невесту; женившись, вы сделаете вид, будто у вас какие-то заботы, что вас терзает совесть, недели две вы будете печальны. И вот однажды ночью, немного поломавшись, вы между поцелуями объявите жене, что у вас двести тысяч долга, сказав при этом «моя любимая». Этот водевиль разыгрывают ежедневно отборнейшие молодые люди. Молодая женщина отдаст без колебаний свой кошелек тому, кто успел завладеть ее сердцем. Может быть, вам кажется, что вы потерпите убыток? Нет. Вы найдете способ покрыть все двести тысяч, обделав какое-нибудь дело. При ваших деньгах и уме вы создадите себе такое состояние, какое только захотите. Ergo,<sup>50</sup> в полгода вы обеспечите собственное счастье, счастье вашей дорогой женушки и счастье вашего Вотрена, не говоря о счастье вашего семейства, которое зимою греет себе пальцы дыханьем, за неименьем дров. Не удивляйтесь ни моему предложению, ни моим условиям! В Париже из шестидесяти блестящих браков сорок семь основаны на сделках такого рода. Нотариальная палата заставила господина...\*

– Что я должен сделать? – жадно спросил Растиньяк, прервав Вотрена.

– Почти что ничего, – ответил этот человек, и на лице его мелькнуло выражение, похожее на

<sup>49</sup> Арпан – старинная французская мера земельной площади (около 0,5 гектара).

<sup>50</sup> Следовательно (лат.).

затаенную улыбку рыбака, почуявшего, что рыба клюнула. – Выслушайте меня внимательно! Сердце жалкой, несчастной, бедной девушки – губка, готовая жадно впитать в себя любовь и до такой степени сухая, что разбухает, как только на нее упала капля чувства. Приволокнуться за девушкой, когда она бедна, в отчаянии, одинока и не подозревает, что ее ждет богатство! Черт подери! Это иметь на руках все козыри, знать в лотерее выигрышные номера, играть на курсе ренты, получая все сведения заранее. Вы сразу утвердите на крепких сваях нерушимый брак. Если такая девушка получит миллионы, она их высыплет к вашим ногам, словно это щебень. Бери, любимый! Бери, Адольф, Альфред или Эжен! – скажет она, если у Адольфа, Альфреда или Эжена хватит ума принести ей какую-нибудь жертву. Под жертвой я разумею продажу поношенного фрака, чтобы пойти совместно в «Синий циферблат» поесть крутонов с шампиньонами, а оттуда вечером в театр Амбигю-Комик; можно заложить часы и подарить ей шаль. Я уже не говорю о всякой любовной писанине и прочей чепухе, на которую так падки женщины, – например о том, чтоб, находясь в разлуке с милой, sprysнуть водой почтовую бумагу, изображая слезы; впрочем, сдается мне, язык сердец знаком вам хорошо. Париж, изволите ли видеть, вроде девственного леса Северной Америки, где бродят двадцать племен различных дикарей, гуронов, иллинойцев, промышляя охотой в общественных угодьях. Вы, например, охотитесь за миллионами; чтобы добыть их, вы пользуетесь капканами, ловушками, манками. Охота имеет свои отрасли. Один охотится за приданым, другой за ликвидацией чужого предприятия; первый улавливает души, второй торгует своими доверителями, связав их по рукам и по ногам. Кто возвращается с набитым ягдташем, тому привет, почет, тот принят в лучшем обществе. Надо отдать справедливость этой гостеприимной местности: вы имеете дело с городом, самым терпимым во всем мире. В то время как гордые аристократы других столиц Европы не допускают в свою среду миллионера-подлеца, Париж раскрывает ему свои объятия, бегают на его пиры, ест его обеды и чокается с его подлостью.

– Но где найти такую девушку?

– Она рядом с вами, она – ваша!

– Мадмуазель Викторина?

– Правильно.

– Каким образом?

– Будущая баронессочка де Растиньяк уже влюблена в вас.

– У нее ничего нет, – удивленно возразил Эжен.

– Ага! Вот мы и дошли до дела. Еще два слова – все станет ясно, сказал Вотрен. – Тайфер-отец – старый негодяй: подозревают, что он убил одного своего друга во время революции. Это молодчик моего толка и независим в своих мнениях. Он банкир, главный пайщик банковского дома «Фредерик Тайфер и Компания». Все состояние он хочет оставить своему единственному сыну, обездолив Викторину. Подобная несправедливость мне не по душе. Я вроде Дон-Кихота: предпочитаю защищать слабого от сильного. Если бы господь соизволил отобрать сына у банкира, Тайфер взял бы обратно дочь к себе; ему захочется иметь наследника – эта глупость свойственна самой природе, а народить еще детей он уже не в состоянии, я это знаю. Викторина кротка, мила, быстро его окрутит, превратит в кубарь и будет им вертеть, подстегивая отцовским чувством! Она будет глубоко тронута вашей любовью, вас не забудет и выйдет за вас замуж. Я же беру себе роль провидения и выполняю господню волю. У меня есть друг, обязанный мне очень многим, полковник Луарской армии,<sup>51</sup> только что вступивший в королевскую гвардию. Полковник следует моим советам и стал ярым роялистом; он не дурак и поэтому не дорожит своими убеждениями. Могу подать, мой ангел, еще один совет: бросьте считаться с вашими убеждениями и вашими словами. Продавайте их, если на это будет спрос. Когда человек хвастается, что никогда не изменит своих убеждений, он обязуется итти все время по прямой линии, – это болван, уверенный в своей непогрешимости. Принципов нет, а есть события; законов нет – есть обстоятельства; человек высокого полета сам применяется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Будь принципы и законы непреложны, народы не сменяли бы их, как мы – рубашку. Отдельная личность не обязана

<sup>51</sup> Луарская армия – уцелевшая после поражения Наполеона при Ватерлоо часть его армии, которая, по соглашению с союзниками, отошла к югу от Луары и была там расформирована.

быть мудрее целой нации. Человек с ничтожными заслугами перед Францией почитается теперь, как некий фетиш, только потому, что за все хватался с большим жаром, а самое большее, на что он годен, это стоять среди машин в Промышленном музее с этикеткой Лафайет,<sup>52</sup> и в то же время каждый швыряет камень в князя,<sup>53</sup> который презирает человечество так глубоко, что плюет ему в лицо столько кляत्व, сколько оно требует, но во время Венского конгресса не допустил раздела Франции; его должны бы забросать венками, а вместо этого забрасывают грязью. О, я-то знаю положение вещей! Тайны многих людей в моих руках! Ну, будет! Я лишь тогда усвою какое-нибудь незыблемое убеждение, когда найду три головы, согласных в применении одного и того же принципа, а ждать этого придется мне долго! Во всех судах нельзя найти и трех судей, которые держались бы одного мнения об одном и том же параграфе закона. Возвращаюсь к моему приятелю. Стоит мне только попросить, и он готов хоть снова распять Христа. Достаточно одного слова дяденки Вотрена, и он вызовет на ссору этого плута, который ни разу не послал своей бедняжке сестре хотя бы пять франков, и...

Тут Вотрен поднялся, встал в позицию и сделал выпад.

—...и в преисподнюю! — добавил он.

— Какой ужас! — сказал Эжен. — Вы шутите, господин Вотрен.

— Ля-ля-ля, спокойно! — ответил этот человек. — Не прикидывайтесь ребенком... Впрочем, если вам это нравится, возмущайтесь, негодуйте! Говорите, что я мерзавец, преступник, негодяй, бандит, только не называйте ни шпионом, ни мошенником! Ну же, говорите, стреляйте залпом! Прощаю вам: в ваши годы это так естественно. Я был и сам таким же! Только поразмыслите. Когда-нибудь вы поступите гораздо хуже. Вы приволокнетесь за хорошенькой женщиной и будете брать от нее деньги. Вы уже думали об этом, — сказал Вотрен, — да и как вам выдвинуться, если не спекулировать своей любовью? Добродетель, милый мой студент, не делится на части; или она есть, или ее нет. Нам предлагают церковное покаяние в своих грехах. Нечего сказать, хороша система! Благодаря ей можно очиститься от преступления, выразив свое сокрушение о нем! Обольстить женщину, чтобы взобраться на ту или другую ступеньку социальной лестницы, посеять раздор в семье между детьми — словом, пойти на все мерзости, какие совершают шито-крыто, но так или иначе в целях личной выгоды или наслаждения. Что это, по-вашему? Деяния во имя веры, надежды и любви? Когда денди за одну ночь отнимает у детей половину их состояния, его при-суждают к двум месяцам тюрьмы, а почему же бедняка за то, что он украл тысячефранковую бумажку при «отягчающих вину обстоятельствах», шлют на каторгу? Вот вам законы. Нет в них ни одного параграфа, который не упирался бы в нелепость. Человек в модных перчатках и с ложью в сердце совершил убийство, не проливая крови, а действуя обманом; убийца открыл дверь отмычкой — то и другое ночные преступления. Ведь между тем, что предлагаю вам я, и тем, что рано или поздно совершите вы, нет разницы, если не считать пролитой крови. А вы верите во что-то незыблемое в этом мире! Так презирайте же людей и находите в сетях Свода законов те ячейки, где можно проскользнуть. Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.

— Замолчите, я не желаю больше слушать, вы доведете меня до того, что я перестану верить самому себе. Сейчас я знаю только то, что подсказывают мне чувства.

— Как вам угодно, прекрасное дитя. Я думал, вы покрепче. Больше не скажу вам ничего. Впрочем, последнее слово. — Он посмотрел на студента в упор и сказал: — Вам известна моя тайна.

— Молодой человек, отказываясь от ваших услуг, сумеет забыть ее.

— Хорошо сказано, мне нравится. Не всякий будет настолько щепетилен. О том, что я хочу сделать для вас, не забывайте. Даю вам две недели сроку. Да или нет — на ваше усмотрение.

<sup>52</sup> Лафайет Мари-Жан-Поль, маркиз (1757–1834) — французский политический деятель, участник буржуазных революций в 1789 и 1830 гг. В период Реставрации — один из лидеров либеральной буржуазии. После Июльской революции 1830 г. содействовал возведению на престол «короля банкира» Луи-Филиппа.

<sup>53</sup> «...Каждый швыряет камень в князя». — Речь идет о Талейране. Талейран (1754–1838) — известный французский дипломат, отличавшийся беспринципностью и циничной неразборчивостью в средствах; играл видную роль на Венском конгрессе 1814–1815 гг.



«Что за железная логика у этого человека! – подумал Растиньяк, глядя, как спокойно удаляется Вотрен, держа подмышкой палку. – Он грубо, напрямик сказал мне то же самое, что говорила в приличной форме госпожа де Босеан. Стальными когтями он раздирал мне сердце. Зачем стараюсь я попасть к Дельфине Нусинген? Он разгадал мои внутренние побуждения, едва они успели зародиться. Этот разбойник в двух словах поведал мне о добродетели гораздо больше, чем я узнал из книг и от людей. Если добродетель не терпит сделок с совестью, значит я обокрал своих сестер!» – сказал он, швырнув мешок на стол.

Он сел и долго не мог прийти в себя под наплывом ошеломляющих мыслей.

«Быть верным добродетели – это возвышенное мученичество! Да! Все верят в добродетель, а кто же добродетелен? Народы сделали своим кумиром свободу, а где же на земле свободный народ? Твоя юность еще чиста, как безоблачное небо, но ты хочешь стать большим человеком или богачом, а разве не значит это итти сознательно на то, чтобы лгать, сгибаться, ползать, снова выпрямляться, лстить и притворяться? Разве это не значит добровольно стать лакеем у тех, кто сам сгибался, ползал, лгал? Прежде чем сделаться их сообщником, надо подслуживаться к ним. О нет! Хочу трудиться благородно, свято, хочу работать день и ночь, чтоб только трудом достичь богатства. Это самый долгий путь к богатству, но каждый вечер голова моя будет спокойно опускаться на подушку, не отягченная ни единым дурным помыслом. Что может быть прекраснее – смотреть на свою жизнь и видеть ее чистой, как лилия? Я и моя жизнь – жених и невеста. Да, но Вотрен мне показал, что происходит после десяти лет супружества. Черт возьми! Голова идет кругом. Не хочу думать ни о чем: сердце – вот верный вожатый!»

Его раздумье нарушил голос толстухи Сильвии, доложившей о прибытии портного. Растиньяк явился перед ним, держа в руках два мешка с деньгами, и не досадовал на это обстоятельство. Примерив свои фраки, предназначенные для вечеров, он облачился в новый дневной костюм, преобразивший его с головы до ног.

«Я не уступлю графу де Трай, – сказал он сам себе. – Наконец-то я приобрел дворянский вид!»

– Господин Эжен, – обратился к нему папаша Горио, входя в комнату, – вы спрашивали меня, не знаю ли я, в каких домах бывает госпожа де Нусинген.

– Да!

– Так вот, в следующий понедельник она едет на бал к маршалу Карильяно. Если у вас есть возможность попасть туда, вы мне расскажете, как веселились мои дочери, как были одеты, ну, словом, все.

– Откуда вы знаете об этом, дорогой папаша Горио? – спросил Эжен, усаживая его у камина.

– А мне сказала ее горничная. От Констанции и Терезы я знаю все, что мои дочери делают, – весело ответил Горио.

Старик напоминал еще очень юного любовника, счастливого уже тем, что он придумал ловкий способ войти в жизнь своей возлюбленной, не вызывая у нее даже подозрений.

– Вы-то их увидите! – добавил он, наивно выражая горестную зависть.

– Не знаю, – ответил ему Эжен. – Я сейчас пойду к госпоже де Босеан, чтобы спросить ее, не может ли она представить меня супруге маршала.

С какой-то внутренней отрадой Эжен мечтал явиться к виконтессе одетым так, как отныне будет одеваться всегда. То, что у моралистов зовется «безднами человеческого сердца», – на самом деле только обманчивые мысли, произвольные стремления к личной выгоде. Все эти блуждания души, – тема для стольких высокопарных разглагольствований, – все эти неожиданные извороты имеют одну цель: побольше наслаждений! Увидав себя хорошо одетым, в модных перчатках и красивых сапогах, Эжен забыл о добродетельной решимости. Обращиваясь спиной к истине, юность не решается взглянуть на себя в зеркало совести, тогда как зрелый возраст в него уже смотрелся; вот и вся разница между двумя этапами жизни человека.

Два соседа, Эжен и папаша Горио, за последние дни сдружились. Их взаимная приязнь имела те же психологические основания, какие привели студента к противоположным чувствам по отношению к Вотрену. Если смелый философ задумает установить воздействие наших чувств на мир физический, то он найдет, конечно, немало доказательств действию вещественной их силы в от-

ношениях между животными и нами. Какой физиономист способен разгадать характер человека так же быстро, как это делает собака, сразу чувствуя при виде незнакомца, друг он ей или не друг? *Цепкие атомы* – это выражение вошло как поговорка в словесный обиход и представляет собой одно из тех явлений языка, что продолжают жить в разговорной речи, опровергая этим философические бредни личностей, желающих ответить, как мякину, все старые слова. Любовь передается. Чувство кладет на все свою печать, оно летит через пространства. Письмо – это сама душа, эхо того, кто говорит, настолько точное, что люди тонкой души относят письма к самым ценным сокровищам любви. Бессознательное чувство папаши Горио могло сравниться с высочайшей собачьей чуткостью, и он уловил восторженную юношескую симпатию и теплое отношение к нему, возникшие в душе студента. И все-таки их нарождавшаяся близость еще не приводила к откровенности. Хотя Эжен и выразил желание увидеть г-жу де Нусинген, он не рассчитывал попасть к ней в дом через посредство старика, а лишь надеялся на то, что Горио может проболтаться ей и этим оказать ему услугу. Папаша Горио беседовал с ним о дочерях, не выходя из рамок того, что высказал о них Эжен при всех, когда вернулся после двух своих визитов. На следующий день Горио сказал ему:

– Дорогой мой, как это вы могли подумать, будто госпожа де Ресто прогневалась на вас за то, что вы упомянули мое имя? Обе дочки очень меня любят. Как отец я счастлив. А вот два зятя повели себя со мною худо. Я не хотел, чтобы дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с мужьями, и предпочел навещать дочек потихоньку. Эта таинственность даем мне много радостей, их не понять другим отцам, тем, кто может видаться со своими дочерьми в любое время. Но мне этого нельзя, вы понимаете? Поэтому, когда бывает хорошая погода, я хожу на Елисейские Поля, заранее спросив у горничных, собираются ли мои дочки выезжать. И вот я жду их на том месте, где они должны проехать, а когда кареты их поравняются со мной, у меня сильнее бьется сердце; я люблюсь туалетом своих дочек; проезжая мимо, они приветствуют меня улыбочкой, и тогда мне кажется, что вся природа золотится, точно залитая лучами какого-то ясного-ясного солнца. Я остаюсь ждать – они должны ехать обратно. И я их вижу еще раз! Воздух им на пользу – они порозовели. Вокруг себя я слышу разговоры: «Какая красавица!» А у меня душа радуется. Разве они не моя кровь? Я люблю тех лошадей, которые их возят, мне бы хотелось быть той маленькой собачкой, которую дочки мои держат на коленях. Я живу их удовольствиями. Каждый любит по-своему. Кому мешает моя любовь? Почему люди пристают ко мне? Я счастлив по-своему. Что же тут преступного, ежели я вечером иду взглянуть на моих дочек, когда они выходят из дому, отправляясь куда-нибудь на бал. Как мне бывает грустно, если я опоздаю и мне скажут: «Мадам уехала». Однажды я не видал Нази целых два дня, и тогда я прождал с вечера до трех часов утра, чтобы ее увидеть. От радости я чуть не умер! Прошу вас, если где-нибудь пойдет речь обо мне, говорите только, какие мои дочки добрые. Они готовы засыпать меня всякими подарками, но я не допускаю этого и говорю им: «Берегите ваши деньги для себя! Что мне в подарках? Мне ничего не нужно». Да и на самом деле, что я такое? – жалкий труп, а душа моя всегда и всюду с моими дочками. Если вам удастся повидать госпожу де Нусинген, скажите мне, которая из них понравилась вам больше, добавил после паузы старичок, заметив, что Эжен собрался уходить: студент шел прогулять в Тюильри до того часа, когда будет возможно явиться к г-же де Босеан.

Эта прогулка решила участь Растиньяка. Несколько женщин обратили на него внимание. Он был так молод, так красив, в его нарядности так много вкуса! Заметив, что на него смотрят, чуть не люблюсь, он позабыл обобранных сестер и тетку, забыл о добродетельной своей брезгливости. Он видел, как у него над головой пронесся демон, которого легко принять за ангела, тот сатана на пестрых крыльях, что рассыпает рубины, вонзает золотые стрелы в фронтоны на дворцах, наряжает женщин в багряницу и облекает глупым блеском троны, первоначально очень скромные; он уже внял богу трескучего тщеславия с его сверкающими побрякушками, которые мы принимаем за символы могущества. Речь Вотрена при всем своем цинизме запала ему в душу, как в память девушки врезается гнусный профиль сводни, говорящей: «Любви и золота по горло!»

Беспечно побродив, Эжен явился около пяти часов к г-же де Босеан и получил удар, один из самых страшных ударов, против которых юные сердца оказываются беззащитны. До сих пор он находил у виконтессы учтивую приветливость, подкупающую любезность – то, что вырабатывает-

ся благодаря аристократическому воспитанию, но достигает совершенства лишь тогда, когда идет от сердца. А тут при появлении Эжена г-жа де Босеан только кивнула головой и сухо заявила:

– Господин де Растиньяк, я не могу принять вас, по крайней мере в данную минуту! Я очень занята...

Для человека наблюдательного, каким стал очень быстро Растиньяк, ее слова, кивок, взгляд, перемена тона – все было повестью о нравах и характере определенной касты. Он увидел под бархатной перчаткой стальную руку, под благородными манерами культ своей личности и эгоизм, под лаком – дерево. Он, наконец, постиг что значит понятие: «Мы, король», которое берет начало под плюмажем трона, а кончается под навершьем шлема на самом захудалом дворянине. Эжен слишком легко уверовал в благородные чувства женщины, полагаясь на ее слова. Подобно всем обездоленным, он честно подписал желанный договор, который должен связывать благодетеля с тем, кому тот покровительствует, и в первом пункте свято утверждать между людьми большой души их полное равенство. Когда благодеяние связует воедино два существа, оно порождает небесное чувство, такое же редкое и неоцененное, как настоящая любовь. То и другое чувство – роскошные дары возвышенной души.

Чтобы попасть на бал к герцогине Карильяно, Растиньяк снес эту выходку и с дрожью в голосе ответил:

– Мадам, если бы не важное дело, я не пришел бы докучать вам. Будьте так добры, разрешите мне зайти к вам позже, мне не к спеху.

– Хорошо, приходите ко мне обедать, – ответила она, сама несколько смутившись резкостью своих слов; эта женщина была по-настоящему добра и благородна.

Эжен был тронут внезапной переменой, но все же, уходя, подумал: «Пресмыкайся, сноси все. Если лучшая из женщин способна вычеркнуть обеты дружбы в один миг и отшвырнуть тебя, как старый башмак, чего же ждать от остальных? Так, значит, каждый за себя? Правда, она не виновата, что я нуждаюсь в ней, и дом ее не лавочка. Надо, как говорит Вотрен, стать пушечным ядром».

Но предвкушение удовольствия обедать у г-жи де Босеан быстро разогнало горькие думы Растиньяка. Так, в силу какого-то предопределения, малейшие события его жизни будто нарочно толкали его на тот путь, где, по замечанию страшного сфинкса из пансиона Воке, ему придется, как на поле битвы, убивать, чтобы не быть убитым, обманывать, чтобы его не обманули; где придется оставить у заставы совесть, сердце, надеть маску, без жалости играть людьми и, как в Лакедемоне, незримо для сторонних глаз готовить свою победу, чтобы заслужить венки.<sup>54</sup>

Вернувшись к виконтессе, Эжен нашел ее такой же ласковой и доброй, какой она всегда бывала с ним. Они вдвоем направились в столовую, где виконт де Босеан ожидал свою жену. Вся сервировка блистала роскошью, как известно, достигшей в эпоху Реставрации высшей степени. Для виконта, как и для многих пресыщенных людей, уже не существовало иного рода наслаждений, кроме хорошего стола. В области гурманства он принадлежал к школе Людовика XVIII и герцога Эскара.<sup>55</sup> Стол у него являл двойную роскошь – для вкуса и для глаз. Такое зрелище еще ни разу не открывалось перед изумленным взором Растиньяка: впервые он обедал в доме, где блеск общественного положения передавался по наследству. Мода недавно отменила ужины по окончании балов, обычные во времена Империи, когда военным нужно было набираться сил для будущих боев – и в чужих странах и в своем отечестве. До этого обеда Эжен бывал лишь на балах. Впоследствии он славился своей самоуверенностью, но приобретать ее он начинал уже теперь и благодаря ей не растерялся. Когда человек пылкого воображения видит перед собою на столе чеканную серебряную утварь и множество особых тонкостей в роскошной сервировке, когда он впервые любит бесшумными движениями прислуги, ему, конечно, весьма трудно такой краси-

---

<sup>54</sup> «...как в Лакедемоне... готовить свою победу». Лакедемон – древний греческий город, иначе Спарта; Растиньяк, мечтая о карьере, сравнивает себя с участниками происходивших в Спарте «Олимпийских игр» – спортивных состязаний, где победитель получал лавровый венок.

<sup>55</sup> «...Принадлежал к школе Людовика XVIII и герцога Эскара». – Король Людовик XVIII и его придворный герцог д'Эскар отличались необычайным чревоугодием.

вой жизни предпочесть жизнь, полную лишений, хотя бы он и собирался избрать ее еще сегодня утром. Мысль Эжена на одно мгновение перенесла его обратно в семейный пансион, – им овладел такой глубокий ужас, что он дал клятву расстаться с пансионом в январе, устроиться в хорошем доме, а кстати избавиться и от присутствия Вотрена и от ощущения его тяжеловесной длани на своем плече. Если себе представить, сколько всяких форм скрытого или вопиющего разврата заключено в Париже, то каждый умный человек задаст себе вопрос: в силу какого заблуждения государство открывает в Париже школы и собирает в них молодежь, отчего в нем пользуются неприкосновенностью хорошенькие женщины, почему золото, выставленное в деревянных чашах у менял, не исчезает, как по волшебству, из этих чаш? Но когда подумаешь, насколько малочисленны примеры злодеяний, даже проступков молодежи, невольно проникнешься великим уважением к тем терпеливым Танталам, которые ведут борьбу с самим собой и почти всегда выходят победителями! Взять хотя бы этого бедного студента и описать по-настоящему его борьбу с Парижем, получился бы один из самых драматичных эпизодов в истории нашей современной цивилизации.

Г-жа де Босеан тщетно посматривала на Эжена, побуждая его высказаться, – ему не хотелось говорить в присутствии виконта.

– Вы проводите меня сегодня к Итальянцам? – спросила виконтесса мужа.

– У вас, конечно, не может быть сомнений в том, что я бы с удовольствием вам повиновался, – ответил он с иронической любезностью, обманувшей Растиньяка, – но я должен кое с кем встретиться в театре Варьете.

«Со своей любовницей», – подумала г-жа де Босеан.

– Разве д'Ажуда не будет у вас сегодня вечером? – спросил виконт.

– Нет, – ответила она с досадой.

– В таком случае, если вам непременно нужен кавалер, возьмите с собой господина де Растиньяка.

Виконтесса, улыбаясь, взглянула на Эжена.

– Это вам очень повредит, – заметила она.

– «Француз любит опасность, ибо в ней он обретает славу», как говорит Шатобриан, – ответил Растиньяк, склоняя голову.

Несколько минут спустя двухместная карета мчала его с г-жой де Босеан в модный театр. Когда он вошел в ложу против сцены и все лорнетки направились не только на виконтессу в прелестном туалете, но также и на него, – все показалось Растиньяку какой-то феерией. Одно очарование следовало за другим.

– Вы хотели поговорить со мной, – напомнила ему г-жа де Босеан. Смотрите, вон госпожа де Нусинген – от нас через три ложи. А по другую сторону от нас – ее сестра с господином де Трай.

С этими словами виконтесса посмотрела на ложу, занятую мадмуазель де Рошфид, и лицо ее сразу просияло: д'Ажуда там не было.

– Она прелестна, – заметил Эжен, посмотрев на г-жу де Нусинген.

– У нее белесые ресницы.

– Зато какой красивый тонкий стан!

– Но большие руки.

– Замечательные глаза.

– Чересчур удлиненное лицо.

– Продолговатая форма – признак породы.

– Ее счастье, что есть хотя бы такой. Посмотрите только, как она берет и как опускает свой лорнет! Во всех движениях сказывается Горио, – ответила виконтесса к великому удивлению Эжена.

Действительно, г-жа де Босеан разглядывала сквозь лорнетку театральный зал, как будто не обращая внимания на г-жу де Нусинген, но не теряла из виду ни одного ее жеста. Публика собралась прекрасная, как на подбор. Дельфине Нусинген немало льстило исключительное внимание красивого, изящного кузена г-жи де Босеан, который смотрел только на нее...

– Если вы будете глядеть на нее не сводя глаз, то это будет явным неприличием. Навязываясь людям, вы не добьетесь ничего.



– Дорогая кузина, – обратился к ней Эжен, – вы уже оказали мне благое покровительство; если вы намерены довести ваше доброе дело до конца, я попросил бы вас лишь об одной услуге: для вас она не представит затруднений, меня же осчастливит. Я влюблен.

– Уже?

– Да.

– И в эту женщину?

– Разве мои притязания могли бы найти отклик в другом месте? – спросил он, глядя пытливым взором на кузину, и, сделав паузу, продолжал: – С герцогиней Беррийской близка герцогиня де Карильяно, и, наверно, вы с ней видите, – будьте добры, представьте меня ей и возьмите меня с собой на ее бал в ближайший понедельник. Там я встречу с госпожой де Нусинген и поведу свою первую атаку.

– Охотно, – ответила она. – Если вы уже чувствуете к ней влечение, то ваши сердечные дела идут отлично. Вон де Марсе, в ложе княгини Галатион. Для госпожи де Нусинген это пытка, ее мучит ревность. Нельзя придумать лучшего момента, чтобы подойти к женщине, в особенности к жене банкира. Эти дамы с Шоссе д'Антен все мстительны.

– А как бы поступили вы в подобном случае?

– Я? Страдала бы молча.

В это время в ложе г-жи де Босеан появился маркиз д'Ажуда.

– Я наспех разделался с делами, чтобы снова увидеть вас, и мой поступок – не жертва, поэтому я и докладываю вам о нем.

Глядя на сияющее радостью лицо виконтессы, Эжен понял разницу между выраженьем истинной любви и ужимками парижского кокетства. Любуясь своей кузиной, он умолк и со вздохом уступил место маркизу д'Ажуда. «Какое благородное, какое поистине высокое создание – женщина, способная так любить! – размышлял Эжен. – И этот человек собирается изменить ей ради какой-то куклы! Как можно изменить ей?» Детская ярость поднялась в его душе. И он хотел бы припасть к ногам своей кузины, – мечтал о демоническом могуществе, чтоб унести ее в своем сердце, как орел уносит из долины ввысь белую козочку-сосунка. Ему казалось унижительным присутствовать в этом огромном музее красоты, не выставив своей картины – собственной любовницы. «Любовница и царственное положение – вот знаменье могущества». И он взглянул на г-жу де Нусинген, как смотрит оскорбленный на своего обидчика. Виконтесса обернулась и одним движением век выразила ему глубокую благодарность за его скромность. Первый акт кончился.

– Вы достаточно хорошо знакомы с госпожой де Нусинген, чтобы представить ей де Растиньяка? – спросила она маркиза д'Ажуда.

– Видеть у себя в ложе господина де Растиньяка доставит ей большое удовольствие, – ответил маркиз.

Красивый португалец встал, взял под руку студента, и в один миг Эжен предстал перед г-жой де Нусинген.

– Баронесса, – обратился к ней д'Ажуда, – имею честь представить вам шевалье Эжена де Растиньяка, кузена виконтессы де Босеан. Вы так его обворожили, что я решил ему доставить всю полноту счастья, сблизив с его кумиром.

Эти слова были сказаны в шутовском тоне, чтобы скрасить их грубоватый смысл, так как обычно он не вызывает неудовольствия у женщин, если прикрыт хорошей формой. Г-жа де Нусинген ответила улыбкой и предложила Растиньяку сесть в кресло ее мужа, только что покинувшего ложу.

– Я не решаюсь предложить вам остаться здесь со мной. Когда имеют счастье быть в обществе госпожи де Босеан, оттуда не уходят.

– Но если я хочу быть приятным моей кузине, то мне, пожалуй, будет лучше остаться с вами, – тихо ответил ей Эжен и уже громко добавил: – До прихода маркиза мы говорили с ней о вас, о вашем изяществе во всем.

Д'Ажуда откланялся и вышел.

– Вы действительно намерены остаться у меня? – спросила баронесса. Тогда мы ближе познакомимся друг с другом. Госпожа де Ресто уже возбудила во мне большое желание вас видеть.

– В таком случае графиня очень неискренна – она запретила принимать меня.

– Почему?

– Мне совестно рассказывать о том, что послужило этому причиной, но, поверяя вам такого рода тайну, я рассчитываю на вашу снисходительность. Ваш батюшка и я – соседи по квартире. Но что графиня де Ресто – его дочь, мне было неизвестно. Я имел неосторожность, хотя и совершенно безобидно, заговорить о нем, чем прогневил вашу сестру и ее мужа. Вы не поверите, каким мещанством показалось их отступничество моей кузине и герцогине де Ланже. Я описал сцену со мной, и они безумно хохотали. Тогда же госпожа де Босеан, проводя параллель между вашей сестрой и вами, говорила мне о вас в самых теплых выражениях и подчеркнула ваше замечательное отношение к моему соседу, господину Горио. Да и как вам не любить его? Он обожает вас так страстно, что я уже начал ревновать. Сегодня утром мы с ним беседовали о вас целых два часа. А вечером, проникшись тем, что мне рассказывал ваш батюшка, я за обедом у кузины спрашивал ее, неужели вы так же красивы, как нежны душою. Очевидно, госпожа де Босеан решила поощрить столь пламенное восхищение и привезла меня сюда, предупредив со свойственной ей любезностью, что я увижу вас.

– Как, я уже должна быть вам признательна? – спросила жена банкира. Еще немного, и мы окажемся старинными друзьями.

– Конечно, дружба с вами должна быть чем-то необыкновенным, но другом вашим я не хочу быть никогда.

Этот шаблонный вздор, пригодный лишь для новичков, кажется жалким, когда его читаешь безучастно, но для женщин он всегда имеет свою прелесть: жест, тон и взгляд молодого человека придают такому вздору множество значений. Г-жа де Нусинген решила, что Растиньяк очарователен. Подобно всем женщинам, она, не зная, что ответить на вопрос, затронутый так смело, подхватила другую тему:

– Да, сестра роняет себя своим отношением к бедняге отцу, а он для нас поистине был самым господом богом. Если я стала видеться с отцом лишь по утрам, то только потому, что вынуждена была уступить решительному требованию господина де Нусингена. Но из-за этого я очень долго чувствовала себя несчастной. Я плакала. Такое насилие, да еще после грубых брачных столкновений, явилось одною из причин, больше всего замутивших мою семейную жизнь. Глазам света я представляюсь, конечно, самой счастливой женщиной в Париже, а на самом деле – я самая несчастная. Вам может показаться безрассудным, что я так разговариваю с вами. Но вы знаете моего отца и, как его знакомый, не можете быть для меня чужим.

– Вам никогда не встретит никто другого, кто бы горел таким желанием принадлежать вам, как я, – ответил ей Эжен. – Чего ищете вы, женщины? Счастья, – добавил он задушевым тоном. – И вот если для счастья женщины необходимо быть любимой, обожаемой, иметь друга, поверенного всех ее желаний, всех ее фантазий, радостей и горя, друга, которому она могла бы открыть свою душу со всеми ее милыми недостатками и прекрасными достоинствами, не боясь предательства, то, верьте мне, такое неизменно пылкое и преданное сердце вы можете найти только у молодого человека, полного иллюзий, готового по одному вашему знаку идти на смерть, не ведающего света и не желающего знать его, потому что весь свет для него вы. Относительно себя я должен вам признаться, – хотя вы посмеетесь моей наивности, – что я приехал из глухой провинции, что я человек совсем неискушенный, всегда был окружен людьми с чистой душой и думал, что здесь я не найду любви. Случайно я встретился с моей кузиной, принявшей самое сердечное участие во мне; благодаря ей я понял, сколько сокровищ таит в себе горячая любовь; подобно Керубино, я влюблен во всех женщин, покамест не отдам себя всего какой-нибудь одной. Когда, придя в театр, я увидел вас, точно какое-то течение вдруг подхватило меня и понесло к вам. Сколько передумал я о вас еще до этого! Но и в мечтах я вас не представлял себе такой красавицей. Госпожа де Босеан мне запретила глядеть на вас чересчур долго. Она не понимает, как увлекательно смотреть на ваши алые хорошенькие губки, на белоснежный цвет лица, на ваши добрые глаза. Я говорю вам безрассудные слова, но прошу вас: не запрещайте мне их говорить!

Для женщин нет большего удовольствия, как вслушиваться в журчанье нежных слов. Им внемлет самая строгая святоша даже в том случае, когда она, повинувшись долгу, не может отвечать

на них. Начав с этого, Растиньяк кокетливо понизил голос и рассыпался мелким бесом; г-жа де Нусинген поощряла его улыбками, время от времени посматривая на де Марсе, упорно сидевшего в ложе княгини Галатион. Растиньяк пробыл у г-жи де Нусинген до той минуты, когда вернулся сам барон, чтобы проводить ее домой.

– Мадам, – сказал Эжен, – я надеюсь иметь удовольствие явиться к вам еще до бала у герцогини Карильяно.

– *Раз жена пригласил вас, вы можете быть уверен, что найдете добрый прием*, – ответил толстый эльзасец с круглым лицом, говорившим об уме весьма хитром и опасном.

«Дела мои идут как по маслу, ведь она не очень испугалась моего вопроса: „Могли бы вы полюбить меня?“ Моя лошадка взнуздана, вскочим в седло и подберем поводья», – говорил себе Эжен, направляясь к ложе де Босеан, чтобы проститься со своей кухней, которая уже встала с места и собиралась уходить вместе с д'Ажуда. Бедный студент не знал, что баронессу занимало совсем другое: она ждала от де Марсе решительного, терзающего душу, последнего письма. В восторге от мнимого успеха, Эжен проводил виконтессу до наружной колоннады, где дожидаются своих экипажей.

Когда Эжен расстался с ними, португалец, посмеиваясь, сказал г-же де Босеан:

– Ваш кузен сам не свой. Он сорвет банк. Этот юноша изворотлив, как угорь, и думаю, что он пойдет далеко. Лишь вы могли указать ему именно ту женщину, которой так нужен утешитель.

– Но надо знать, не любит ли она попрежнему того, кто расстается с ней.

Студент пешком прошел от Итальянского бульвара к себе на улицу Нев-Сент-Женевьев, лелея самые радужные замыслы. Он ясно видел, как пристально смотрела на него графиня де Ресто, пока он находился в ложе у виконтессы и у г-жи де Нусинген, а это позволяло думать, что двери графини не останутся закрыты для него. Эжен рассчитывал понравиться супруге маршала Карильяно и таким образом приобрести в парижском высшем обществе, на его вершине, четыре высокопоставленных знакомства. Он предугадывал, что в сложном механизме всеобщих материальных интересов необходимо уцепиться за какую-то систему его колес, чтобы оказаться в верхнем отделении машины; как этого достичь – он сознавал не очень ясно, но чувствовал себя достаточно крепким, чтобы стать спицей в ее ведущем колесе. «Если баронесса Нусинген заинтересуется мной, я научу ее, как управлять мужем. Он ворочает золотыми горами и может мне помочь разбогатеть сразу». Это не говорилось напрямик, Эжен еще не стал таким политиком, чтобы любое положение перевести на цифры, все расценить и подсчитать; эти мысли только плавали еще на горизонте в виде легких облачков и не были так грубо откровенны, как суждения Вотрена, но если б их прожечь в горниле совести, остаток получился бы не чище... Путем подобных сделок с совестью люди впадают в моральную распущенность, открыто признанную нашим поколением, где реже, чем когда-либо, встречаем мы людей прямых, людей чудесной воли, которые не уступают злу и самый маленький уклон от прямой линии считают преступленьем, – великолепные образы честности, давшие нам два мастерских создания; Альцеста<sup>56</sup> у Мольера, а недавно Дженни Динс<sup>57</sup> с ее отцом в романе Вальтера Скотта. Но, может быть, окажется таким же драматичным и прекрасным произведение совсем иного характера: художественное изображение извилистых путей, которыми проводит свою совесть светский честолюбец, пытаясь обойти зло, чтобы соблюсти внешние приличия и вместе с тем достигнуть своей цели. Пока Эжен дошел до пансиона, он уже увлекся г-жой де Нусинген: она ему казалась изящной, легкой, точно ласточка. Упоительная ласка ее глаз, шелковистость кожи, настолько нежной, что ему как будто виделась текущая под нею кровь, чарующий звук голоса, белокурая головка – все вспоминалось ему; возможно, что и быстрая ходьба, ускорив кровообращенье, содействовала такому чародейству. Студент резко стукнул в дверь к папаше Горио.

– Дорогой сосед, я виделся с госпожой Дельфиной, – сообщил Эжен.

---

<sup>56</sup> Альцест – главное действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп», прямой и непримиримый в своих суждениях человек.

<sup>57</sup> Дженни Динс – героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

– Где?

– У Итальянцев.

– Хорошо ли провела она время? Входите же.

Старик встал в одной рубашке, отворил дверь и поспешно лег опять в постель.

– Ну, рассказывайте, – попросил он.

Эжен впервые попал к папаше Горио, да еще только что налюбовавшись нарядом дочери, – и на лице его невольно выразилось недоумение при виде логова, где жил отец. Окно – без занавесок, отсыревшие обои отстали в нескольких местах и покоробились, обнажив пожелтелую от дыма штукатурку. Старик лежал на дрянной кровати, прикрытый тощим одеялом и с ватным покрывальцем на ногах, сшитым из лоскутков от старых платьев г-жи Воке. Пол сырой и весь в пыли. Против окна – старинный пузатенький комод розового дерева с медными выгнутыми ручками наподобие виноградной лозы, украшенными веточками и листиками; старый умывальник с деревянной доской, на нем кувшин в тазу и бритвенные принадлежности. В углу – брошенные башмаки, у изголовья – ночной шкафчик без дверцы, без мраморной доски; камин, где не было даже следов золы; рядом – ореховый прямоугольный стол с перекладной внизу, на которой папаша Горио недавно плющил серебряную вызолоченную чашку. Скверная конторка и на ней шляпа Горио; кресло с соломенным сиденьем и два стула завершали нищенскую обстановку. Грядка для полога прикреплена была к потолку какой-то тряпкой, а вместо полога с нее свисал лоскут дешевой материи в белую и красную шапку. Самый бедный рассыльный жил у себя на чердаке не так убого, как жил папаша Горио у г-жи Воке. От одного вида его комнаты становилось холодно, сжималось сердце; она имела сходство с тюремной камерой, и притом самой унылой. По счастью, Горио не видел выражения лица студента, когда тот ставил свечку на ночной столик. Старик, закутавшись до подбородка в одеяло, повернулся лицом к Эжену.

– Ну, кто же нравится вам больше, госпожа де Ресто или госпожа де Нусинген?

– Я отдаю предпочтение госпоже Дельфине за то, что она вас любит больше, – сказал студент.

В ответ на эти теплые слова Горио высвободил руку из-под одеяла и пожал руку Эжену.

– Спасибо, спасибо, – повторял расстроженный старик. – А что она говорила обо мне?

Растиньяк передал в приукрашенном виде свой разговор о нем с баронессой, и Горио внимал этому рассказу, как слову божию.

– Дорогое дитя! Да, да, она очень меня любит. Но не верьте ей в том, что она говорит об Анастази. Видите ли, сестры ревнуют меня друг к другу. Это лишнее доказательство их нежных чувств. Госпожа де Ресто тоже очень любит меня. Я это знаю. Отец знает своих детей, как знает всех нас бог, который видит самую глубину души и судит нас по нашим помыслам. Они обе одинаково нежны со мной. Ах, будь у меня хорошие зятья, я был бы совершенно счастлив! Полного счастья на земле, конечно, нет. Ах, если бы я жил с ними! Только бы слышать их голоса, знать, что они здесь, рядом, видеть их, когда они приходят и уходят, как то бывало, пока мы жили вместе, – и мое сердце запрыгало бы от радости. А красиво ли они были одеты?

– Да, – отвечал Эжен. – Но как же это так, господин Горио: ваши дочери окружены такою роскошью, а вы живете в этой конуре?

– По чести говоря, для чего мне лучшее жилище? – ответил Горио как будто беззаботно. – Мне трудно вам это объяснить, я не умею связать как следует двух слов. Все – здесь, – добавил он, ударив себя в грудь. – Моя жизнь в дочерях. Если им хорошо, если они счастливы, нарядны, ходят по коврам, то не все ли равно, из какого сукна мое платье и где я сплю? Им тепло, тогда и мне не холодно, им весело, тогда и мне не скучно. У меня нет иного горя, кроме их горестей. Когда вы станете отцом, когда услышите вы лепет своих деток и подумаете: «Это часть меня самого!», когда почувствуете, что эти малютки кровь от крови вашей, лучшее, что в ней есть, – а ведь это так! – то вам почудится, будто вы приросли к их телу, почудится, будто и вы движетесь, когда они идут. Мне отовсюду слышатся их голоса. Достаточно одного печального их взгляда, чтобы во мне застыла кровь. Когда-нибудь узнаете и вы, что их благополучием бываешь счастлив гораздо больше, чем своим. Я не могу вам объяснить всего: это внутренние движения души, которые повсюду сеют радость. Словом, я живу тройною жизнью. Хотите, расскажу вам одну занятую



вещь? Видите ли, став отцом, я понял бога. Все сущее произошло ведь от него, поэтому он везде-сущ. Такое же отношение между мной и дочерью. Только я люблю моих дочерей больше, чем господь бог любит мир, ибо мир не так прекрасен, как сам бог, а мои дочери прекраснее меня. Они настолько близки моей душе, что мне все думалось: сегодня вечером он их увидит! Боже мой! Пусть только какой-нибудь мужчина даст моей Дельфине счастье, то счастье женщины, когда она горячо любима, – и я стану ему чистить башмаки, буду у него на побегушках. Я знаю от горничной, что этот сударик де Марсе зловредный пес. У меня чесались руки свернуть ему шею. Не любить такое сокровище, такую женщину, с соловьиным голосом и стройную, как статуя! Где у нее были глаза, когда она шла замуж за этого эльзасского чурбана? Общим нужны были бы в мужа красивые, любезные молодые люди. А все случилось иначе из-за их прихоти.

Папаша Горио был великолепен. Эжену никогда не приходилось его видеть в озаренье пламенной отцовской страсти. Что замечательно, так это сила вдохновения, свойственная нашим чувствам. Взять хотя бы самое невежественное существо: стоит ему проявить подлинную, сильную любовь, оно сейчас же начинает излучать особый ток, который преобразует его внешность, оживляет жесты, скрашивает голос. Под влиянием страсти даже тупица доходит до вершин красноречия, если не складом речи, то по мысли, и как бы витает в какой-то лучезарной сфере. Так и теперь: и в голосе и в жестах старика чувствовалась захватывающая сила, какую отличаются великие актеры. Да и все наши лучшие чувства – разве они не могут быть названы поэтической речью нашей воли?

– Ну, значит, вас не огорчит, если я скажу вам, что, наверно, она порвет с де Марсе? – спросил Эжен папашу Горио. – Этот хлыщ бросил ее и пристроился к княгине Галатион. Что касается меня, то я сегодня вечером влюбился по уши в мадам Дельфину.

– Вот как! – воскликнул папаша Горио.

– Да. И я как будто ей понравился. Мы целый час проговорили о любви, а в субботу, послезавтра, я непременно отправлюсь к ней.

– О, как же буду я любить вас, мой дорогой, если вы ей понравитесь. Вы человек добрый, вы не станете ее мучить. Если же вы ей измените, я, не тратя слов, перережу вам горло. Женщина любит только раз, вы понимаете? Боже мой! Какие глупости я говорю, господин Эжен! Вам тут холодно. Боже мой! Так, значит, вы разговаривали с ней. Что же она просила передать мне?

«Ничего», – мысленно сказал Эжен, но вслух ответил:

– Она просила передать, что шлет вам горячий дочерний поцелуй.

– Прощайте, сосед, спокойной ночи, сладких сновидений, а уж у меня-то они будут благодаря тому, что вы сейчас сказали. Да поможет вам бог во всех ваших начинаниях! Сегодня вечером вы были моим ангелом, от вас повеяло на меня дочерью.

«Бедняга! – думал Эжен, укладываясь спать. – Все это способно тронуть каменное сердце. Дочь столько же помышляла о нем, сколько о турецком султана».

Со времени этого разговора папаша Горио стал видеть в своем соседе нежданного наперсника, своего друга. Между ними установились именно те отношения, какие только и могли привязать старика к другому человеку. У сильных чувств всегда есть свои расчеты. Папаша Горио воображал, что сам он будет немного ближе к дочери, что станет для нее более желанным гостем, если Эжен полюбит Дельфине. Кроме того, старик открыл Эжену одну из причин своих страданий. По сто раз на день он желал счастья г-же де Нусинген, а до сих пор она еще не испытала радостей любви. Эжен, конечно, представлялся папаше Горио, по его же выражению, самым милым молодым человеком, какого он когда-либо встречал, и старик как будто чувствовал, что Растиньяк доставит его дочери все наслаждения, которых ей нехватало. Таким образом, папаша Горио проникся к своему соседу дружбой, становившейся все крепче, а без нее и самая развязка этой повести была бы непонятна.

На следующее утро, за завтраком, то напряженное внимание, с каким папаша Горио посматривал на Растиньяка, сев с ним рядом, и несколько слов, сказанных им Эжену, и самое лицо старика, обычно похожее на гипсовую маску, а теперь преображенное, – все это повергло в изумление нахлебников. Вотрен, впервые после их беседы увидав студента, казалось, хотел что-то прочесть в его душе. Этой ночью, прежде чем заснуть, Эжен измерил всю ширь жизненного поля, представ-

шего его взору, и теперь, при виде Вотрена, он сразу вспомнил о его проекте, естественно подумал о приданом мадмуазель Тайфер, не удержался и посмотрел на Викторину, как смотрит самый добродетельный юноша на богатую невесту. Случайно глаза их встретились. Бедная девушка должна была признать, что Растиньяк в новом наряде поистине очарователен. Обменявшись с ней достаточно красноречивым взглядом, он мог не сомневаться в том, что стал для нее предметом смутных любовных чувств, волнующих всех молодых девушек, которые их обращают на первого пригожего мужчину. Внутренний голос кричал ему: «Восемьсот тысяч франков». Но Эжен сразу вернул себя к событиям предшествующего дня и решил, что его надуманная страсть к г-же де Нусинген будет служить ему противовесом от невольных дурных мыслей.

– Вчера у Итальянцев давали «Севильского цырюльника» Россини. Я никогда не слышал такой прелестной музыки, – сказал он окружающим. – Боже! Какое счастье иметь ложу у Итальянцев.

Папаша Горио поймал смысл этой фразы на лету, как собака улавливает жест хозяина.

– Вы, мужчины, катаетесь как сыр в масле, делаете что вздумается, заметила г-жа Воке.

– А, скажите, как вы возвращались домой? – спросил Вотрен.

– Пешком, – ответил Растиньяк.

– Ну, уж мне такое половинчатое удовольствие не по душе, я бы ездил в собственной карете, сидел в собственной ложе и возвращался бы домой со всеми удобствами, – заявил искушитель. – Все или ничего – вот мой девиз.

– Девиз хороший, – подтвердила г-жа Воке.

– Вы, может быть, пойдете навестить госпожу де Нусинген, – шопотом сказал Эжен папаше Горио. – Она вас примет с распростертыми объятиями, ей захочется узнать обо мне всякие подробности. Насколько мне известно, она всеми силами стремится попасть в дом моей кузины, виконтессы де Босеан. Так не забудьте передать ей, что я очень люблю ее и все время думаю, как бы осуществить ее желание.

Растиньяк поспешил уйти в Школу правовередения. Ему хотелось быть как можно меньше времени в этом постылом доме. Почти весь день он прогулял по городу; голова его лихорадочно горела, – состояние, хорошо знакомое всем молодым людям, обуреваемым чересчур смелыми надеждами. Под впечатлением доводов Вотрена Эжен задумался над жизнью общества, как вдруг, при входе в Люксембургский сад, он встретил своего приятеля Бьяншона.

– С чего у тебя такой серьезный вид? – спросил медик.

– Меня изводят дурные мысли.

– В каком роде? От мыслей есть лекарство.

– Какое?

– Принять их... к исполнению.

– Ты шутишь, потому что не знаешь, в чем дело. Ты читал Руссо?

– Да.

– Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?

– Да.

– И что же?

– Пустяки! Я приканчиваю уже тридцать третьего мандарина.

– Не шути. Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь вполне возможна и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы?

– А твой мандарин очень стар? Хотя, стар он или молод, здоров или в параличе, говоря честно... нет, черт возьми!

– Ты, Бьяншон, хороший малый. Ну, а если ты так влюбился в женщину, что готов выворотить наизнанку свою душу, и тебе нужны деньги, и даже много денег, на ее туалеты, выезд и всякие другие прихоти?

– Ну, вот! Сначала ты отнимаешь у меня рассудок, а потом требуешь, чтобы я рассуждал.

– А я, Бьяншон, схожу с ума; вылечи меня. У меня две сестры – два ангела красоты и непо-

рочности, и я хочу, чтобы они были счастливы. Откуда мне добыть им на приданое двести тысяч франков в течение ближайших пяти лет? В жизни бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести крупную игру, а не растрачивать свою удачу на выигрыши по мелочам.

– Но ты ставишь вопрос, который возникает перед каждым, кто вступает в жизнь, и этот гордиев узел хочешь рассечь мечом. Для этого, дорогой мой, надо быть Александром, в противном случае угодишь на каторгу. Я лично буду счастлив и той скромной жизнью, какую я создам себе в провинции, где попросту наследую место своего отца. Человеческие склонности находят и в пределах очень маленького круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах самого большого. Наполеон не съедал двух обедов и не мог иметь любовниц больше, чем студент-медик, живущий при Больнице капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда будет заключено в границах между подошвами наших ног и нашим теменем, – стоит ли оно нам миллион или сто луидоров в год, наше внутреннее ощущение от него будет совершенно одинаково. Подаю голос за сохранение жизни твоему китайцу.

– Спасибо, Бьяншон, ты облегчил мне душу! Мы с тобою навсегда друзья.

– Слушай, – продолжал студент-медик, – сейчас я был на лекции Кювье<sup>58</sup> и, выйдя оттуда в Ботанический сад, заметил Пуаре и Мишоно, – они сидели на скамейке и беседовали с одним субъектом, которого я видел у палаты депутатов во время прошлогодних беспорядков; у меня сложилось впечатление, что это полицейский, переодетый степенным буржуа-рантье. Давай понаблюдаем за этой парочкой, – зачем, скажу тебе после. Ну, прощай, бегу на поверку к четырем часам.

Когда Эжен вернулся в пансион, папаша Горио уже ждал его прихода.

– Вот вам письмо от нее. А каков почерк! – сказал старик.

Эжен распечатал письмо и прочел:

*«Милостивый государь, мой отец сказал мне, что вы любите итальянскую музыку. Я была бы очень рада, если бы вы доставили мне удовольствие, заняв место в моей ложе. В субботу поют Фодор и Пеллегрини, – уверена, что вы не откажетесь. Господин Нусинген присоединяется к моей просьбе и приглашает вас к нам пообедать запросто. Ваше согласие доставит ему большое удовольствие, избавив его от тяжелой семейной обязанности сопровождать меня. Ответа не надо, приходите; примите мои лучшие пожелания.*

*Д. де Н.».*

– Дайте мне посмотреть на него, – сказал старик, когда Эжен прочел письмо. – Вы, конечно, пойдете? – спросил он, нюхая листок. – Как хорошо пахнет! К бумаге прикасались ее пальчики.

«Так просто женщина не бросается на шею мужчине, – подумал Растиньяк. Она хочет воспользоваться мной, чтобы вернуть де Марсе. Только с досады делают подобный шаг».

– Ну, чего же тут думать? – сказал папаша Горио.

Эжен не имел понятия о тщеславной мании, обуявшей в это время многих женщин, и не знал, что жена банкира готова на любые жертвы, лишь бы проложить себе дорожку в Сен-Жерменское предместье. Это была пора, когда были в моде женщины, принятые в общество Сен-Жерменского предместья, у так называемых статс-дам Малого дворца, среди которых г-жа де Боссеан, подруга ее герцогиня де Ланже и герцогиня де Мофриньез занимали первые места. Лишь Растиньяк не знал, что дам с Шоссе д'Антен обуревало безумное желанье проникнуть в высший круг, блиставший такими созвездиями женщин.

Но недоверчивость Эжена оказала ему добрую услугу, вооружив его хладнокровием и скучным преимуществом – способностью ставить свои условия, а не принимать чужие.

– Да, я пойду, – ответил он папаше Горио.

---

<sup>58</sup> Кювье Жорж (1769–1832) – известный французский ученый, натуралист и палеонтолог; отстаивал метафизическое положение о неизменности биологических видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, выдвинул теорию геологических катастроф, которая, по определению Энгельса, «была революционна на словах и реакционна на деле».

Итак, простое любопытство вело Эжена к г-же де Нусинген, но, выкажи она к нему пренебрежение, его, быть может, влекла бы туда страсть. А все-таки Эжен с каким-то нетерпением ждал следующего дня, ждал часа своего визита. Для молодого человека первая его интрига таит в себе не меньше прелести, чем первая любовь. Уверенность в успехе вызывает множество радостных переживаний, причем мужчина в них не сознается, а между тем ими и объясняется все обаяние некоторых женщин. Страстное желание воспламеняется как трудностью, так и легкостью победы. Все человеческие страсти, конечно, возникают или держатся на этих двух началах, делящих всю область, подвластную любви, на две различные сферы. Такое разделение, быть может, вытекает из сложного вопроса темпераментов, который что там ни говори, играет в человеческом сообществе главенствующую роль. Если меланхоликам нужна возбуждающая доза разнообразного кокетства, то люди нервического склада или сангвиники могут сбежать с поля сражения, встретив чересчур стойкий отпор. Другими словами, элегия порождается лимфой, а дифирамб нервами.

Пока Эжен переодевался, он испытал немало мелких, но блаженных ощущений, которые щекочут самолюбие молодых людей, хотя они не любят говорить об этом, боясь насмешек. Эжен оправил свои волосы, думая о том, что взор красивой женщины скользнет украдкой по его кудрям. Так же ребячливо, как юная девица перед балом, он, наряжаясь, разрешил себе немного покривляться и, оправляя фрак, полюбовался тонкой своей талией. «Наверняка есть и такие, что сложены похуже!» – подумал он. Затем он спустился вниз, как раз в то время, когда все уже сидели за столом, и весело выдержал град глупых шуток по поводу его изящной внешности. Характерной чертой нравов в семейных пансионах является недоумение при виде человека, тщательно одетого. Стоит там надеть новое платье, и каждый сделает какое-нибудь замечание.

Бьяншон пощелкал языком, словно подгоняя лошадь.

– Вылитый пэр и герцог! – объявила г-жа Воке.

– Вы идете покорять? – спросила мадмуазель Мишоно.

– Кукареку! – закричал художник.

– Привет вашей супруге, – сказал чиновник из музея.

– А разве у господина де Растиньяка есть супруга? – спросил Пуаре.

– Супруга наборная-узорная, в воде не тонет, ручательство за прочность краски, цена от двадцати пяти до сорока, рисунок в клетку по последней моде, хорошо моется, прекрасно носится, полуперсть-полубумага, полулен, помогает от зубной боли и других болезней, одобренных Королевской медицинской академией! Лучшее средство для детей, еще лучше от головной боли, запора и прочих болезней пищевода, ушей и глаз! – прокричал Вотрен комичной скороговоркой, тоном ярмарочного шарлатана. – Вы спросите: «Почем же это чудо? По два су?» Нет. Даром. Это остатки от поставок Великому Моголу;<sup>59</sup> все европейские владыки, не исключая баденского герррррцога, соблаговолили посмотреть! Вход прямо! По дороге зайдите в кассу! Музыка, валяй! Брум-ля-ля, тринь-ля-ля, бум-бум! – И, переменяв голос на хриплый: – Эй, кларнет, фальшивишь. Я тебе дам по пальцам!

– Ей-богу! Что за приятный человек, с ним не соскучишься вовеки! – воскликнула г-жа Воке.

В ту минуту, когда, как по сигналу, вслед за забавной выходкой Вотрена раздался взрыв смеха и шуток, Эжен перехватил брошенный украдкой взгляд мадмуазель Тайфер, которая, наклонясь к г-же Кутюр, шептала ей что-то на ухо.

– А вот подъехал и кабриолет, – заявила Сильвия.

– Где же это он обедает? – спросил Бьяншон.

– У баронессы де Нусинген, дочери господина Горио, – пояснил Эжен.

При этом имени все взоры обратились к вермишельщику, глядевшему с какой-то завистью на Растиньяка.

На улице Сен-Лазар Эжен подъехал к дому, в пошлом стиле, с тонкими колонками, с дешевыми портиками, со всем тем, что в Париже зовется «очень мило», – типичному дому банкира, со всяческими затеями, с гипсовой лепкой и с мраморными мозаичными площадками на лестнице. Г-

<sup>59</sup> Великий Могол – титул мусульманских правителей Индии из династии Бабура, находившейся у власти с 1526 по 1707 г.



жу де Нусинген он нашел в маленькой гостиной, расписанной в итальянском вкусе и напоминавшей своей отделкой стиль кафе. Баронесса была грустна. Ее старанья скрыть свою печаль затронули Эжена тем сильнее, что не были игрой. Он рассчитывал обрадовать женщину своим приходом, а застал ее в отчаянии. Такая незадача кольнула его самолюбие.

Подшутив над ее озабоченным видом, Эжен попросил, уже серьезно:

– У меня очень мало прав на ваше доверие, но я полагаюсь на вашу искренность: если я вас стесняю, скажите мне об этом откровенно.

– Побудьте со мной, – ответила она, – господин де Нусинген обедает не дома, и если вы уйдете, я останусь одна, а я не хочу быть в одиночестве, мне нужно рассеяться.

– Но что такое с вами?

– Вам я бы могла сказать об этом только последнему из всех.

– А я хочу знать. Выходит так, что в этой тайне какую-то роль играю я.

– Может быть! Да нет, это семейные дразги, они должны остаться погребенными в моей душе. Разве я не говорила вам третьего дня – я вовсе не счастливая женщина! Самые тяжкие цепи – цепи золотые.

Если женщина говорит молодому человеку, что она несчастна, а молодой человек умен, хорошо одет и у него в кармане лежат без дела полторы тысячи франков, он непременно подумает то же, что пришло в голову Эжену, и поведет себя самодовольным фатом.

– Чего же больше вам желать? – спросил он. – Вы молоды, красивы, любимы и богаты.

– Оставим разговор обо мне, – сказала она мрачно, покачав головой. – Мы пообедаем вдвоем, потом отправимся слушать чудесную музыку. Я в вашем вкусе? – спросила она, вставая и показывая свое платье из белого кашемира с персидским рисунком редкого изящества.

– Я бы хотел, чтобы вы были для меня всем, – ответил Эжен. – Вы просто прелесть.

– Для вас это было бы грустным приобретением, – возразила она с горькой усмешкой. – Здесь ничто не говорит вам о несчастье, а между тем, несмотря на это внешнее благополучие, я в отчаянии. Мое горе не дает мне спать, я подурнею.

– О, это невозможно! – запротестовал Эжен. – Любопытно знать, что это за огорчения, которых не может рассеять даже беззаветная любовь?

– Если бы я доверила их вам, вы бы сбежали от меня. Ваша любовь ко мне – только обычное мужское ухаживание. Когда бы вы любили меня по-настоящему, вы сами пришли бы в полное отчаяние. Вы видите, что я должна молчать. Умоляю, поговорим о чем-нибудь другом. Пойдемте, я покажу вам мои комнаты.

– Нет, посидим здесь, – ответил Растиньяк, усаживаясь рядом с г-жой де Нусинген на диванчик у камина и уверенно взяв ее руку.

Она не протестовала и даже сама пожала ему руку крепким, порывистым пожатием, выдававшим сильное волнение.

– Послушайте, – обратился к ней Эжен, – если у вас есть неприятности, вы должны поделиться ими со мной. Я хочу доказать вам, что я люблю вас ради вас самих; либо продолжим наш разговор, и вы скажете, какое у вас горе, чтобы я мог его развеять, хотя бы для этого пришлось убить полдюжины мужчин, – либо я уйду и больше не вернусь.

– Хорошо! – воскликнула она, ударив себя по лбу под влиянием какой-то внезапной отчаянной мысли. – Я испытаю вас сейчас же. Да, – сказала она в раздумье, – другого выхода нет! – и позвонила.

– Карета барона готова? – спросила она у своего лакея.

– Да, сударыня.

– В ней поеду я. За бароном пошлете мой экипаж. Обед к семи часам.

– Ну, едемте, – приказала она Эжену.

Студенту казалось сном, что он сидит в карете самого де Нусингена и рядом с этой женщиной.

В Пале-Рояль, к Французскому театру, – приказала она кучеру.

По дороге, видимо волнуясь, она отказывалась отвечать на все расспросы Растиньяка, не знавшего, что думать об этом молчаливом, упорном, сосредоточенном сопротивлении.

«Один миг – и она ускользнула от меня», – подумал Растиньяк.

Карета остановилась, баронесса взглядом прекратила его безрассудные излияния, когда он чересчур увлекся.

– Вы очень меня любите? – спросила она.

– Да, – ответил он, скрывая нараставшую тревогу.

– Чего бы я ни потребовала от вас, вы не станете плохо думать обо мне?

– Нет.

– Готовы ли вы мне повиноваться?

– Слепо.

– Вы бывали когда-нибудь в игорном доме? – спросила она дрогнувшим голосом.

– Никогда.

– О, я могу вздохнуть свободно. Вам повезет. Вот мой кошелек, – сказала она. – Берите! В нем сто франков – все, чем располагает счастливая женщина. Зайдите в какой-нибудь игорный дом; где они помещаются, не знаю, но мне известно, что они есть в Пале-Рояле. Рискните этими ста франками в рулетку: или проиграйте все, или принесите мне шесть тысяч франков. Когда вернетесь, я расскажу вам, какое у меня горе.

– Черт меня побери, если я понимаю, что мне надо делать, но я вам повинуюсь, – ответил он радостно, подумав: «Она компрометирует себя при моем соучастии и не сможет мне отказать ни в чем».

Эжен берет красивый кошелек и, расспросив какого-то торговца готовым платьем, бежит к подъезду N 9, в ближайший игорный дом. Он поднимается по лестнице, сдает шляпу, входит и спрашивает, где рулетка. Завсегдатаи удивлены, а один из лакеев подводит его к длинному столу. Эжен, окруженный зрителями, спрашивает, нимало не стесняясь, куда поставить свою ставку.

– Если положить луидор на одно из тридцати шести вот этих чисел и номер выйдет, вы получите тридцать шесть луидоров, – сказал Эжену какой-то почтенный седой человек.

Растиньяк кидает все сто франков на число своих лет – двадцать один. Не успевает он опомниться, как раздается крик изумления. Он выиграл, сам не зная как.

– Снимите ваши деньги, – сказал ему седой человек, – два раза подряд выиграть таким способом нельзя.

Старик подал ему гребок, Эжен подгреб к себе три тысячи шестьсот франков и, попрежнему не смыслив ничего в игре, поставил их на красное. Видя, что он еще играет, все смотрят на него с завистью. Колесо крутится, он снова в выигрыше, и банкомет кидает ему еще три тысячи шестьсот франков.

– У вас семь тысяч двести франков, – сказал ему на ухо старик. – Мой совет вам – уходите: поверьте мне, красное уже выходило восемь раз. Если вы милосердны, отблагодарите за добрый совет и дайте что-нибудь на бедность бывшему наполеоновскому префекту, который впал в крайнюю нужду.

Эжен в растерянности позволяет седому человеку взять десять луидоров и сходит вниз с семью тысячами франков, так и не поняв, в чем суть игры, но ошеломленный своим счастьем.

– Вот возьмите! Теперь куда вы повезете меня? – сказал он, передав г-же де Нусинген семь тысяч, когда захлопнулась дверца кареты.

Дельфина обнимает его с безумной силой и целует крепко, но без всякой страсти.

– Вы спасли меня!

Слезы радости заструились по ее щекам.

– Друг мой, я расскажу вам все. Вы будете мне другом, не правда ли? На ваш взгляд, я богата, даже очень; у меня есть все или как будто бы есть все. Так знайте, что господин де Нусинген не позволяет мне распорядиться ни одним су: он оплачивает все расходы по дому, мой выезд, мои ложи, отпускает мне жалкую сумму на туалеты, сознательно доводя меня до тайной нищеты. Я слишком горда, чтобы выпрашивать. Я бы почитала себя последней тварью, если бы стала платить за его деньги той ценой, какую он хочет с меня взять! Отчего же я, имея семьсот тысяч франков, позволила себя ограбить? Из гордости, от негодования. Мы еще так юны, так простодушны, когда начинаем супружескую жизнь. Чтобы выпросить денег у мужа, мне довольно было одного слова,

но я не могла произнести его, я не решалась никогда заикнуться о деньгах, я тратила собственные сбережения и то, что мне давал бедный отец, потом я стала заниматься. Брак – самое ужасное разочарование в моей жизни, я не могу говорить об этом с вами; достаточно вам знать, что я бы выбросилась из окна, если бы мне пришлось жить с Нусингеном не на разных половинах. Когда же оказалось необходимым сказать ему о моих долгах, долгах молодой женщины, о тратах на дорогие украшения, на всякие другие прихоти (отец нас приучил не знать ни в чем отказа), я очень мучилась; наконец набралась храбрости и заявила ему о своих долгах. Разве у меня не было своего собственного состояния? Нусинген вышел из себя, сказал, что я разорю его, наговорил мне всяких мерзостей! Я была готова провалиться сквозь землю. Так как он забрал мое приданое себе, он все же заплатил, но с той поры назначил мне на личные мои расходы определенную сумму в месяц; я покорила, чтобы иметь покой. А потом мне захотелось польстить самолюбию одного известного вам человека. Хотя он обманул меня, но я бы поступила дурно, не отдав справедливости благородству его характера. И все же он со мной расстался недостойным образом. Если мужчина отсыпал кучу золота женщине в дни ее нужды, он не имеет права бросать такую женщину; он должен любить ее всегда! Вам двадцать один год, у вас еще хорошая душа, вы молоды и чисты, вы спросите, как может женщина брать от мужчины деньги? Боже мой, да разве не естественно делить все с человеком, который дал нам счастье? Отдав друг другу все, можно ли смущаться из-за какой-то частицы целого? Деньги начинают играть роль лишь с той минуты, когда исчезло чувство. Если соединяешь свою судьбу с другим – то не на всю ли жизнь? Какая женщина, веря, что она действительно любима, предвидит впереди разлуку? Ведь вы клянетесь нам в любви навеки, так допустимы ли при этом какие-то свои особые, другие интересы? Вы не представляете себе, что выстрадала я сегодня, когда муж мой отказался наотрез дать мне шесть тысяч, а он столько же дает каждый месяц оперной плясунье, своей любовнице! Я хотела покончить с собой. Самые безрассудные мысли мелькали у меня. Временами я завидовала участи служанки, моей горничной. Пойти к отцу? бессмысленно! Мы с Анастази совсем ограбили его: он продал бы себя, если бы за него дали шесть тысяч франков! Я бы только напрасно привела его в отчаяние. Я не помнила себя от горя; вы спасли меня от смерти и позора. Объяснить все это вам моя обязанность: я очень легкомысленно и опрометчиво вела себя с вами. Когда вы отошли от меня и скрылись из виду, мне так хотелось убежать... Куда? не знаю. Вот какова жизнь у половины парижских женщин: снаружи – блеск, в душе – жестокие заботы. Я лично знаю страдалиц еще несчастнее меня. Одни вынуждены просить своих поставщиков, чтобы те писали ложные счета, другим приходится обкрадывать своих мужей; у одних мужья думают, что шаль в пятьсот франков стоит две тысячи, у других – что шаль в две тысячи стоит лишь пятьсот. А можно встретить и таких женщин, что морят голодом своих детей, выгадывая себе на новое платье. Я же не запятнала себя такую гнусной ложью. Теперь конец моим терзаньям! Пусть другие продают себя своим мужьям, чтобы верховодить ими, зато я свободна! В моей власти сделать так, чтобы Нусинген осыпал меня золотом, но я предпочитаю плакать на груди человека, которого могу уважать. О, сегодня вечером у де Марсе уже не будет права смотреть на меня, как на женщину, которой он заплатил.

Она заплакала, закрыв лицо руками, но Эжен отвел их, чтобы полюбоваться ею: сейчас она была поистине прекрасна.

– Связывать деньги с чувствами – это ужасно, не правда ли? Нет, вы не будете любить меня, – сказала она.

Это соединение хороших чувств, поднимающих женщину на высоту, и недостатков, привитых современным устройством общества, потрясло Эжена; он говорил Дельфине нежные слова утешения, восхищаясь этой женщиной, такой красивой, так простодушно опрометчивой в открытом проявлении своей скорби.

– Обещайте, что вы не воспользуетесь моей откровенностью как оружием против меня, – сказала она.

– О, что вы! Я на это неспособен, – ответил он.

Она взяла его руку и положила себе на сердце в порыве признательности и душевной ласки.

– Благодаря вам я стала вновь свободной и веселой. На мою жизнь давила железная рука. Теперь я хочу жить просто, ничего не тратя на себя. Для вас, мой друг, я буду хороша такой, как

есть, не правда ли? Оставьте это у себя, – сказала она, взяв только шесть тысяч франков. – По со- вести, я вам должна три тысячи, считая, что я играла в половине с вами.

Эжен отказывался, как застенчивая девушка. Но баронесса настаивала: «Если вы не мой со- общник, я буду смотреть на вас как на врага», – и он взял деньги, сказав:

– Пускай останутся запасным капиталом на случай проигрыша.

– Вот чего я боялась! – воскликнула она бледнея. – Если вы дорожите нашими добрыми от- ношениями, поклянитесь мне не играть больше никогда. Господи! Мне ли развращать вас?! Я умерла бы с горя.

Они приехали к ней домой. Разительное противоречие между богатой обстановкой и нуждой ошеломило Растиньяка, и снова зазвучали в его ушах зловещие слова Вотрена.

– Садитесь сюда, – сказала баронесса, входя к себе в комнату и показывая на диванчик у ка- мина, – мне нужно написать сейчас письмо. Помогите мне, пожалуйста, советом.

– Писать не надо, – возразил Эжен. – Вложите ассигнации в конверт, напишите адрес и по- шлите с вашей горничной.

– Да вы просто прелесть! – воскликнула баронесса. – Вот что значит получить хорошее вос- питание! Это чисто по-босеановски, – сказала она с улыбкой.

«Очаровательная женщина», – подумал Растиньяк, все больше увлекаясь ею.

Он оглядел комнату, где все дышало чувственным изяществом, как у богатой куртизанки.

– Вам нравится? – спросила она и позвонила горничной. – Тереза, отнесите это сами госпо- дину де Марсе и передайте ему лично. Если не застанете его дома, принесите письмо обратно.

Выходя, Тереза не упустила случая бросить на Эжена лукавый взгляд. Доложили, что обед подан. Растиньяк предложил руку г-же де Нусинген и пошел с ней в восхитительную столовую, где увидел ту же роскошь сервировки, какой он любовался у своей кухни.

– В дни Итальянской оперы вы будете приходить ко мне обедать и провожать меня в театр, – сказала г-жа де Нусинген.

– Но если так будет продолжаться, я могу привыкнуть к этой приятной жизни, а я бедный студент, и мне еще только предстоит создать себе состояние.

– Оно придет само собой, – ответила она смеясь. – Видите, как все устраивается хорошо: ведь я не ожидала, что буду чувствовать себя такой счастливой.

Женщинам свойственно доказывать невозможное на основании возможного и возражать против очевидности, ссылаясь на предчувствия. Когда г-жа де Нусинген и Растиньяк входили в ложу, баронесса светилась радостным чувством удовлетворенности, придававшим ей столько кра- соты, что никто не мог удержаться от сплетен, всегда готовых притти на подмогу чьему-нибудь досужему вымыслу и обвинить женщину в распутстве, меж тем как она бессильна оградить себя от них. Кто знает Париж, тот не верит ничему, что говорится в нем открыто; о том же, что проис- ходит там в действительности, все молчат. Эжен сжал руку баронессы в своей руке, и без слов, лишь пожатием рук, то слабым, то более крепким, они делились чувствами, навеянными музыкой. Для обоих это был упоительный вечер. Они вместе, и г-же де Нусинген захотелось подвезти Эже- на до Нового моста, но всю дорогу она отказывалась подарить ему хотя бы один такой же горячий поцелуй, как у Пале-Рояля. Эжен упрекнул ее за эту непоследовательность.

– То было порывом благодарности за неожиданную преданность, – ответила она. – Теперь это значило бы что-то обещать.

– Неблагодарная, вы не хотите обещать мне ничего.

Он рассердился. Своенравным движением, обычно пленяющим влюбленного, она протянула ему для поцелуя руку, но Эжен взял ее с большой неохотой, что восхитило баронессу.

– До понедельника, на балу, – промолвила она.

Идя домой при ярком лунном свете, Эжен предался серьезным размышлениям. Он был и счастлив, и в то же время недоволен. Счастлив любовным приключением, сулившим, при удачной развязке, отдать ему одну из самых изящных и красивых парижских дам, предмет его желаний; недоволен тем, что рушились его планы создать себе богатство; и вот теперь он ощутил действи- тельное содержание тех смутных мыслей, которым предавался он позавчера. Неудача всегда дает нам чувствовать силу наших стремлений. Чем больше наслаждался Растиньяк парижской жизнью,



тем менее ему хотелось оставаться в тени и бедности. Он комкал у себя в кармане тысячную асигнацию, изобретая множество лукавых доводов, чтобы признать ее своей. Наконец он добрался до улицы Нев-Сент-Женевьев и, поднявшись на верхнюю площадку лестницы, заметил свет. Папаша Горио оставил свою дверь открытой и не гасил свечи, чтобы студент не позабыл, как выражался Горио, зайти к нему *потолковать про дочку*. Эжен ничего не утаил от старика.

– Как? Они думают, что я уж разорился? – воскликнул папаша Горио в порыве ревнивого отчаяния. – У меня же тысяча триста франков ренты! Боже мой! Бедная дочурка, что ж не пришла она ко мне? Я мог бы продать свои бумаги, мы все бы оплатили из вырученного капитала, а остаток я поместил бы в пожизненную ренту. Дорогой сосед, отчего вы не сказали мне про ее заботу? Как это у вас хватило духу играть и рисковать ее жалкими ста франками? Просто душа разрывается? А каковы зятья! О, попадись они мне в руки, я бы сдал им глотку! Боже мой! Плакала! Она в самом деле плакала?

– Уткнувшись в мой жилет, – ответил Растиньяк.

– О, подарите мне его, – взмолился папаша Горио. – На нем слезы моей дорогой Дельфины; а в детстве она ведь никогда не плакала. Не носите его больше, отдайте мне, я вам куплю другой. По договору с мужем она имеет право располагать своим имуществом. Я завтра же пойду к поверенному Дервилю. Я потребую, чтобы ее состояние было положено в банк. Законы мне известны, я старый волк, я еще покажу им зубы.

– Вот, папа, тысяча франков из нашего выигрыша; она хотела отдать их мне; храните их для нее же, в моем жилете.

Горио взглянул на Растиньяка, взял его руку и уронил на нее слезу.

– Вы далеко пойдете в жизни, – сказал старик. – Бог справедлив! Я-то смыслю кое-что в честности и заверяю вас: таких людей, как вы, немного. Хотите быть тоже моим ребенком? Ну, идите, ложитесь спать. Вам можно спать, пока вы не отец. Она плакала, а я-то?.. Узнаю об этом от других! Она страдала, а в это время я ел спокойно, как болван. Ведь я бы продал отца и сына и святого духа, лишь бы избавить моих дочек от одной слезинки!

Ложась спать, Эжен сказал себе: «право, мне думается, я на всю жизнь останусь честным человеком. Отрадно слушаться внушений совести».

Быть может, только те, кто верит в бога, способны делать добро не напоказ, а Растиньяк верил в бога.

На следующий день, в час, назначенный для бала, Эжен зашел к виконтессе Босеан, чтобы она взяла его с собой и представила герцогине де Карильяно. Супруга маршала приняла его самым любезным образом, и здесь он встретил г-жу де Нусинген. Дельфина нарядилась с явной целью понравиться всем, чтобы тем больше понравиться Эжену, и ожидала его взгляда, тщетно пытаясь скрыть свое нетерпенье. Для мужчины, способного угадывать волнения женщины, в таких минутах много прелести: кому не доставляло удовольствия томить другого ожиданием похвалы и прятать из кокетства свою радость под маской равнодушия, вызывать тревогу, чтобы найти в ней доказательства любви, и, насладившись чужими опасениями, затем рассеять их улыбкой? На этом празднестве студенту вдруг раскрылась вся ценность его теперешнего положения: став признанным кузеном виконтессы де Босеан, он занял свое место в свете. Приписываемая ему победа над баронессой Нусинген уже настолько выделяла Растиньяка, что молодые люди бросали на него завистливые взгляды; подметив их, Эжен впервые ощутил приятное самодовольство. Разгуливая по гостиним, прохаживаясь мимо групп гостей, он слышал лестный разговор о своих успехах. Женщины предсказывали ему во всем удачу. Из страха потерять его, Дельфина обещала не отказать сегодня в поцелуе, позавчера еще запретном для него. Во время бала Растиньяк получил приглашение бывать в нескольких домах. Кузина представила его некоторым дамам, – все они притягивали на изящный вкус, и дома их считались весьма приятными. Эжен увидел, что он допущен в высший свет, в самый избранный парижский круг. Этот вечер был полон для него очарований блестящего дебюта, и Растиньяк, наверно, даже в старости вспоминал о нем, как вспоминает юная девица бал, где одержала первые свои победы.

На следующий день, за завтраком, когда Эжен в присутствии нахлебников расписывал папаше Горио свои успехи, Вотрен все время улыбался дьявольской улыбкой.

– И вы воображаете, – воскликнул этот неумолимый логик, – что светский молодой человек может обрести на улице Нев-Сент-Женевьев, в «Доме Воке»? Конечно, это пансион почтенный со всякой точки зрения, но отнюдь не фешенебельный, в нем есть недостаток, он красен обилием плодов земных, он горд, что служит временной обителью одному из Растиньяков, но все же он на улице Нев-Сент-Женевьев, ему неведом блеск, ибо он чистой воды *патриархалорама*. Мой юный друг, – продолжал Вотрен шутливо-отеческим тоном, – если вы собираетесь играть в Париже роль, вам нужно иметь трех лошадей, днем тильбюри, а вечером двухместную карету, – итого девять тысяч франков только на выезд. Вы недостойны вашего предназначения, если не истратите хотя трех тысяч франков у портного, шестисот у парфюмера, по триста у шляпника и у сапожника. А прачка будет стоять и всю тысячу. Если молодой человек на виду, он обязан быть особо безупречным в отношении белья: не правда ли, ведь это всего чаще подвергается внимательному рассмотрению? Любовь и церковь требуют красивых покровов для своих алтарей. Итак, мы насчитали четырнадцать тысяч. Я уже не говорю о тратах на игру, подарки и пари. Не посчитать двух тысяч на карманные расходы просто невозможно. Я вел такую жизнь и знаю, во что она обходится. К расходам на все эти предметы первой необходимости добавить еще шесть тысяч на *тюрю* и тысячу на *конуру*. Вот видите, мой мальчик, так и наберется в год тысяч двадцать пять, а иначе мы попадем в грязь, станем посмешищем, и не видать нам ни будущего, ни успехов, ни любовниц! Я еще забыл грума и лакея! Не Кристофу же носить ваши любовные записки! И неужели вы будете писать на такой бумаге, на какой пишете теперь? Это равносильно самоубийству. Поверьте старику, умудренному опытом! – произнес он густым басом. – Или идите в ссылку на добродетельный чердак и обручитесь с каторжным трудом, или же ступайте иной дорогой.

Вотрен, прищурив глаз, искоса взглянул на мадмуазель Тайфер, как бы подчеркивая и подытоживая этим взглядом все соблазны, которые он, совращая Растиньяка, сеял в его душе.

Растиньяк уж много дней вел самую рассеянную жизнь. Он чуть не каждый день обедал у баронессу Нусинген и выезжал с ней вместе в свет. Домой он возвращался только утром, часа в три или в четыре, вставал в двенадцать, одевался, ехал с Дельфиной прогуляться в Булонский лес и расточал на это свое время, не сознавая его ценности; но все уроки, все соблазны роскошной жизни Эжен вбирал в себя с такой же жадностью, с какою чашечка женского цветка на финиковой пальме, сгорая нетерпением, ждет брачной оплодотворяющей пыльцы! Растиньяк вел крупную игру, проигрывал и выигрывал помногу и в конце концов привык к бесшабашной жизни парижских молодых людей. Из первых выигрышей он отослал матери и сестрам их полторы тысячи, присоединив к этому изящные подарки. Заявив всем о своем намерении покинуть «Дом Воке», он жил там еще в последних числах января, хотя не чаял, как оттуда выбраться. Все молодые люди подчинены закону, казалось бы необъяснимому, а между тем в его основе лежат их юность и способность с какой-то яростью набрасываться на удовольствия. Бедны они или богаты, никогда ни у кого из них нет денег на нужды повседневной жизни, зато на прихоти они всегда находят деньги. Скупые там, где надо заплатить сейчас же, они расточительны во всем, что можно получить в кредит, точно они вознаграждают себя за то, что им не дано, проматывая то, что им доступно. Для пояснения этого закона может служить такой пример: студент бережет шляпу гораздо больше, нежели фрак. Портной, при его огромной прибыли, должен по существу дела допускать кредит, а скромная цена за шляпу превращает торговца шляпами в самого непокладистого из всех людей, с которыми студенту приходится вступать в переговоры. Когда молодой человек, сидя в театре на балконе, привлекает к себе лорнетки юных дам своим ошеломительным жилетом, то еще сомнительно, надеты ли на нем носки: чулочник тоже относится к породе долгоносиков, которые подтачивают кошелек. Так жил и Растиньяк. В кошельке его, всегда пустом для г-жи Воке и полном для потребностей тщеславия, происходили причудливые приливы и отливы, наперекор самым насущным платежам. Если он так хотел расстаться со зловонным, гнусным пансионом, где все его великосветские претензии терпели унижение, – что ему стоило уплатить за месяц своей хозяйке и купить обстановку для собственной квартиры независимого денди? А как раз это всегда оказывалось невозможным. Чтобы обеспечить себе деньги для игры, у Растиньяка хватало сметки после выигрыша покупать у ювелира ценные золотые цепочки и карманные часы, приберегая их для ломбарда, этого мрачного и скрытного друга юности, но когда шло дело о плате за квартиру, за еду иль о

покупке орудий, необходимых при разработке светских недр, у него пропадали изобретательность и смелость. Повседневные нужды, долги для удовлетворения будничных потребностей его не вдохновляли. Подобно большинству людей, познавших такую жизнь на авось, он до последнего момента оттягивал платеж по тем долгам, которые являются священными в глазах мещан, – так поступал и Мирабо, оплачивая забранный им хлеб только тогда, когда весь этот хлеб вставал перед ним в грозном виде опротестованного векселя. Настало время, когда Растиньяк проигрался и залез в долги. Он начал понимать, что долгие вести такую жизнь без определенных источников дохода невозможно. Но как ни охал Растиньяк от болезненных ушибов, неизбежных в его шатком положении, он чувствовал себя не в силах отказаться от разгульной жизни и собирался продолжать ее во что бы то ни стало. Счастливые случайности, входившие в его расчеты на богатство, оказывались химерой, зато действительные препятствия росли. Вникнув в домашние тайны супругов Нусинген, Эжен увидел, что если превратить любовь в орудие для достижения богатства, придется пить до дна чашу позора, отбросив те благородные идеи, ради которых юности прощаются ее грехи. Он прилепился к этой жизни, внешне блестящей, но отравленной укорами нечистой совести, к мимолетным удовольствиям, купленным дорогой ценой вечных мучительных тревог, он погряз в этой тине, подобно «Рассеянному» Лабрюйера,<sup>60</sup> устроившему себе ложе в уличной канаве, но, так же как «Рассеянный», он замарал пока лишь платье.

– Ну, как? Убили мандарина? – однажды спросил его Бьяншон, встав из-за стола.

– Еще нет, но он уже хрипит, ответил Растиньяк.

Студент-медик принял его ответ за шутку, а то была не шутка. Эжен, после долгого отсутствия впервые обедавший дома, ел молча и о чем-то думал. После сладкого, вместо того чтобы уйти, он продолжал сидеть в столовой рядом с мадмуазель Тайфер, по временам бросая на нее выразительные взгляды. Кое-кто из нахлебников еще оставался за столом и грыз орехи, другие ходили взад и вперед по комнате, продолжая начатые споры. Вечерами почти всегда бывало так, что каждый уходил, когда вздумается, в зависимости от того, насколько интересен для него был разговор, или от большей или меньшей трудности пищеварения. Зимой случалось редко, чтобы столовая пустела раньше восьми часов, а уж тогда четыре женщины, оставшись в одиночестве, вознаграждали себя за молчание, какое налагало на их пол такое сборище мужчин. В тот вечер поначалу Вотрен как будто бы спешил уйти, но настроение студента озадачило его, и он остался, стараясь все же не попадаться ему на глаза, чтобы Эжен думал, будто он ушел. Вотрен не ушел и позже, вместе с последними нахлебниками, а затаился в гостиной, по соседству. Он все прочел в душе студента и ждал решительного перелома.

Положение Растиньяка и вправду становилось очень трудным, – вероятно, оно знакомо многим молодым людям. Из любви или из кокетства, но только г-жа де Нусинген заставила Эжена пройти через томления настоящей страсти, употребив для этого все средства парижской женской дипломатии. Скомпрометировав себя в глазах общества, чтобы удержать кузена виконтессы де Босеан, Дельфина, однако, не решалась действительно предоставить Эжену те права, которые, как всем казалось, он уже осуществлял. Целый месяц она так сильно разжигала в Растиньяке чувственность, что, наконец, затронула и сердце. Хотя в начале их сближения Эжен и мнил себя главою, вскоре г-жа де Нусинген возобладала над ним благодаря умению возбуждать в Растиньяке все добрые и все дурные чувства тех двух или трех человек, которые одновременно живут в одном молодом парижанине. Был ли здесь особый умысел? Нет, женщины всегда правдивы, следуя даже в самых беззастенчивых своих обманах какому-нибудь естественному чувству. С самого начала Дельфина позволила Эжену взять над собой верх и выказала к нему слишком большое чувство, а теперь, повидимому, желание сохранить достоинство побуждало ее отказаться от своих уступок или отложить их на некоторое время. Для парижанки так естественно, даже в пылу страсти, оттягивать минуту своего паденья, испытывая сердце того мужчины, которому она вручает свое будущее! Надежды г-жи де Нусинген уже были однажды обмануты: ее чувство к молодому эгоисту не нашло себе достойного ответа. Она имела основание быть недоверчивой. Быстрый успех превра-

---

<sup>60</sup> Лабрюйер Жан де (1645–1696) – французский писатель, автор сатирической книги «Характеры, или Нравы этого века» (1688).

тил Эжена в фата, и, может быть, Дельфина заметила в его манере обращаться с ней какую-то неуважительность, вызванную своеобразием их отношений. После долгих унижений перед тем, кто ее бросил, теперь она, вероятно, стремилась возвыситься в глазах такого юного поклонника и внушить ему почтительность к себе. Ей не хотелось, чтобы Эжен считал победу над нею легкой, именно потому, что он знал о близких отношениях меж ней и де Марсе. Словом, избавившись от молодого развратника, настоящего чудовища, от его унижительного сластолюбия, Дельфина нашла неизъяснимую отраду в прогулках по цветущим владениям любви, где она с восторгом любовалась пейзажами, подолгу вслушивалась в трепетные звуки и отдавалась ласке целомудренного ветерка. Истинная любовь расплачивалась за ложную. К сожалению, эта нелепость будет встречаться еще часто, пока мужчины не поймут, сколько цветов может смять в женской молодой душе первый же обман, с которым она сталкивается. Но каковы бы ни были тому причины, Дельфина играла Растиньяком, и делала это с наслаждением, не сомневаясь, что она любима и обладает верным средством прекратить все огорчения возлюбленного, когда ее женское величество почтет это за благо. А Растиньяку из самолюбия не хотелось, чтобы первый его бой закончился для него поражением, и он упорно преследовал свою добычу, как охотник стремится непременно застрелить куропатку в день св. Губерта. Оскорбленное самолюбие, тревоги, приступы отчаяния, искреннего или напускного, все более и более привязывали его к этой женщине. Весь Париж говорил о его победе над нею, а между тем его успехи у нее не шли дальше того, что он завоевал в первый день их знакомства. Еще не понимая, что иногда в кокетстве женщины заключено гораздо больше радостей, чем удовольствий в ее любви, Растиньяк глупо бесился. Та пора, когда женщина борется с любовью, приносила Растиньяку первые свои плоды: они были зелены, с кислинкой, но восхитительны на вкус, зато и обходились дорого. Временами, оставшись без гроша, не видя пред собою будущего, Эжен, вопреки голосу совести, подумывал о той возможности обогатиться, которую подсказывал ему Вотрен, – о женитьбе на мадмуазель Тайфер. Теперь настал момент, когда безденежье заговорило настолько громко, что он почти невольно стал поддаваться ухищрениям страшного сфинкса, нередко уступая внушению его взгляда.

Когда, наконец, Пуаре и мадмуазель Мишоно ушли к себе наверх, покинув г-жу Воке и г-жу Кутюр, которая вязала шерстяные нарукавники, подремывая у печки, Растиньяк, полагая, что других свидетелей нет, взглянул на мадмуазель Тайфер так нежно, что она потупила глаза.

– Вы чем-то огорчены, господин Эжен? – спросила Викторина, немного помолчав.

– У кого нет огорчений! – ответил Растиньяк. – Если бы мы, молодые люди, могли быть уверены, что нас любят сильно, преданно, вознаграждая за те жертвы, которые мы всегда готовы принести, весьма возможно, у нас и не бывало б огорчений.

Мадмуазель Тайфер ответила на это взглядом, не оставлявшим сомнений в ее чувствах.

– Да, – продолжал Растиньяк, – сегодня вам кажется, что вы уверены в вашем сердце, но можете ли вы поручиться, что никогда не изменитесь?

Улыбка скользнула по губам бедной девушки, и как будто яркий луч брызнул из ее души, озарив лицо таким сиянием, что Растиньяк сам испугался, вызвав столь сильный порыв чувства.

– А если бы вы завтра стали богатой и счастливой, если бы вам свалилось с неба огромное богатство, вы бы попрежнему любили молодого человека, который вам понравился в дни вашей бедности?

Она мило кивнула головой.

– Молодого человека очень бедного?

Новый кивок.

– Какие пустяки вы там болтаете? – воскликнула г-жа Воке.

– Оставьте нас в покое, у нас свои дела, – ответил ей Эжен.

– В таком случае не воспоследует ли обмен брачными обетами между кавалером Эженом де Растиньяком и мадмуазель Викториной Тайфер? – спросил Вотрен, показываясь в дверях столовой.

– Ах, как вы меня напугали! – воскликнули в один голос г-жа Кутюр и г-жа Воке.

– Пожалуй, лучше мне не выбирать, – ответил Растиньяк смеясь, хотя голос Вотрена вызвал в нем жестокое волнение, какого он никогда еще не испытывал.



– Без неуместных шуток! – сказала им г-жа Кутюр. – Викторина, пойдете к себе наверх.

Госпожа Воке отправилась вслед за жилищами, чтобы провести вечер у них и не жечь у себя свечи и дров. Эжен остался лицом к лицу с Вотреном.

– Я знал, что вы придете к этому, – сказал Вотрен с невозмутимым хладнокровием. – Но слушайте, я тоже щепетилен не меньше всякого другого. Сейчас не решайте ничего, вы не в своей тарелке. У вас долги. Я хочу, чтобы не страсть и не отчаяние вас привели ко мне, а рассудок. Может быть, вам нужно несколько тычонок? Пожалуйста. Хотите?

Демон-искуситель вынул из кармана бумажник, достал оттуда три кредитных билета по тысяче франков и повертел ими перед Растиньяком. Эжен находился в ужасном положении. Он проиграл на честное слово маркизу д'Ажуда и графу де Трай две тысячи франков; их у него не было, и он не смел пойти на вечер к графине де Ресто, где его ждали. У нее был вечер запросто, то есть такой, когда кушают печенье, пьют чай, но можно проиграть шесть тысяч в вист.

– Господин Вотрен, – обратился к нему Растиньяк, с трудом скрывая судорожную дрожь, – после того, что вы мне предлагали, вы должны понять, что от вас никаких одолжений я принять не могу.

– Хорошо! Вы очень огорчили бы меня, ответив иначе, – сказал искуситель. – Вы молодой человек, красивый, щепетильный, гордый, как лев, и нежный, как юная девица. Для черта прекрасная добыча! Люблю в молодом человеке такие свойства. Кстати, еще две-три мысли из области высшей политики, и вы увидите мир таким, каков он есть. В нем надо разыгрывать маленькие добродетельные сценки, и тогда человек высокого полета может удовлетворять все свои капризы под громкие аплодисменты дураков в партере. Пройдет немного дней – и вы наш. Ах, если бы вы согласились стать моим учеником, то вы достигли бы всего. Вы не успели бы выразить желанье, как в ту же минуту оно осуществилось бы с избытком, – чего бы вы ни захотели: почета, денег, женщин. Изю всех плодов цивилизации мы приготовили бы вам райский напиток. Вы стали бы нашим баловнем, нашим Вениамином,<sup>61</sup> ради вас мы с наслаждением лезли бы из кожи. Было бы сметено все, что стало бы вам поперек дороги. Если вам совестно брать у меня, значит вы считаете меня злодеем? А вот человек такой же честности, какую вы склонны еще приписывать себе, господин дю Тюренн,<sup>62</sup> входил в небольшие сделочки с разбойниками, но не считал, что это может замарать его. Вы не хотите быть мне обязанным, да? Так за чем же дело стало! – с усмешкой продолжал Вотрен. – Возьмите этот клочок бумаги, – сказал он, вытаскивая гербовый бланк, – и надпишите наискось: «Принят в сумме трех тысяч пятисот франков, подлежащих уплате через год». Поставьте число! Процент настолько высок, что освобождает вас от всяких угрызений совести, вы имеете право называть меня ростовщиком и считать себя свободным от какой-либо признательности. Я разрешаю вам презирать меня уже с нынешнего дня, будучи уверен, что потом вы станете меня любить. Вы можете найти во мне те темные бездны, те сильные, сосредоточенные чувства, которые глупцы зовут пороками, но никогда не встретите неблагодарности и подлости. Словом, мой мальчик, я не пешка, не слон, а ладя.

– Что вы за человек? – воскликнул Эжен. – Вы созданы для того, чтобы терзать меня.

– Нисколько, я просто добрый человек, готовый замарать себя вместо вас, лишь бы вы до конца дней своих избавились от грязи. Вы задаете себе вопрос, что за причина такой преданности? Хорошо, когда-нибудь я вам отвечу, но тихо, на ушко. Сначала я вас напугал, показав вам механизм общественного строя и двигатель этой машины; но первый ваш испуг пройдет, подобно страху новобранца на поле битвы, и вы привыкнете к мысли, что люди не что иное, как солдаты, обреченные умирать для блага тех, кто сам себя провозглашает королем. Времена сильно изменились. Бывало, говорили какому-нибудь смельчаку: «Вот сто золотых, убей такого-то» – и преспокойно ужинали, ни за что ни про что спровадив человека на тот свет. Теперь я предлагаю вам большое состояние за кивок головой, что не роняет вас нисколько, а вы еще колеблетесь. Дряблый век!

---

<sup>61</sup> Вениамин – в библии младший сын патриарха Иакова, в переносном смысле – любимец, баловень.

<sup>62</sup> Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь (1611–1675) – известный французский полководец.

Эжен подписал вексель и получил в обмен кредитные билеты.

– Отлично! Теперь поговорим серьезно, – продолжал Вотрен. – Я собираюсь через несколько месяцев отправиться в Америку, разводить табак. По дружбе буду вам присылать сигары. Коли разбогатею, помогу вам. В случае отсутствия у меня детей (случай вероятный: мне неинтересно насаждать свои отводки) я завещаю вам сове богатство. Это ли не дружба? Но я люблю вас. У меня страсть жертвовать собой другому человеку. Так я и поступал. Дело в том, мой мальчик, что я живу в более высокой сфере, чем остальные люди. Действие я считаю средством и смотрю только на цель. Что мне человек? Вот что! – сказал он, щелкнув ногтем большого пальца себе о зуб. – Человек – или все, или ничто. Если его зовут Пуаре, так это меньше, чем ничто, – он плоский, вонючий, его можно прихлопнуть, как клопа. Но если человек похож на вас, он – бог; это уже не механизм, покрытый кожей, но театр, где действуют лучшие чувства, а я живу только чувствами. Чувство – разве это не целый мир в едином помысле? Взгляните на того же папашу Горио, для него две его дочери вселенная, путеводная нить в мире бытия. Я глубоко заглянул в жизнь и признаю только одно подлинное чувство: взаимную дружбу двух мужчин. Моя страсть – Пьер и Джафьер.<sup>63</sup> Я знаю наизусть «Спасенную Венецию». Много ли найдете вы людей такой закалки, чтобы они, когда товарищ скажет: «Идем, зароем труп!» – пошли, не проронив ни звука, без надоедливой морали? Я делал это. Такие разговоры я веду не с каждым, но вы – человек высшего разряда, вам можно сказать все, вы все сумеете понять. Вы недолго будете барахтаться в болоте, где живут окружающие нас головастики. Мы, кажется, договорились? Вы женитесь. Шпаги наголо – и напролом! Моя – стальная и не погнется никогда, так-то!

Вотрен сейчас же вышел, чтобы не получить отрицательного ответа и дать Эжену прийти в себя. Видимо, для него было не тайной, что все эти слабые противодействия, все эти споры – только рисовка человека перед самим собой для оправдания своих предосудительных поступков.

«Пусть делает, что хочет, но я, конечно, не женюсь на мадмуазель Тайфер!» – сказал себе Эжен.

Выдержав приступ душевной лихорадки от одной мысли о сделке с человеком, который вызывал в нем ужас, но рос в его глазах именно благодаря цинизму своих взглядов и смелому проникновению в сущность общества, Растиньяк оделся, послал за каретой и поехал к г-же де Ресто. За последние дни она стала вдвойне внимательна к молодому человеку, который с каждым шагом все дальше продвигался в высшем обществе и мог со временем приобрести там опасное для нее влияние. Он расплатился с д'Ажуда и с графом де Трай, все ночь провел за вистом и отыграл свой проигрыш. Значительная часть людей, одиноко пробивающих себе дорогу, бывают в большей или меньшей степени фаталистами, поэтому и Растиньяк был суеверен: в этом выигрыше он увидел небесную награду за свое твердое решенье не сходить с пути добродетели. На следующее утро он первым делом спросил Вотрена, куда тот девал его вексель. Услыхав в ответ, что вексель при Вотрене, Эжен вернул ему три тысячи франков, не скрывая своего вполне понятного удовольствия.

– Все обстоит, как надо, – сказал ему Вотрен.

– Но я вам не сообщник, – ответил Растиньяк.

– Знаю, знаю, – прервал его Вотрен. – Вы все еще ребячитесь и останавливаетесь на пороге из-за всякой ерунды.

Спустя два дня в уединенной аллее Ботанического сада Пуаре и мадмуазель Мишоно сидели на скамейке, освещенной солнцем, и вели беседу с каким-то господином, который недаром казался Бьяншону подозрительным.

– Мадмуазель, я не вижу, что может смущать вашу совесть, – говорил Гондюро. – Его превосходительство министр государственной полиции...

– А! Его превосходительство министр государственной полиции... повторил Пуаре.

– Да, его превосходительство заинтересовался этим делом, – подтвердил Гондюро.

Но кто поверит, что Пуаре, сам отставной чиновник, правда неспособный мыслить, но несомненно исполненный мещанских добродетелей, продолжал слушать мнимого рантье с улицы

---

<sup>63</sup> Пьер и Джафьер – два друга, изображенные в трагедии английского драматурга Томаса Отвея (1651–1685) «Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор».

Бюффона после того, как этот человек сослался на полицию и сразу же обнаружил под своей маской порядочного человека лицо агента с Иерусалимской улицы.<sup>64</sup> А между тем нет ничего естественнее. Особый вид, к которому принадлежал Пуаре в обширном семействе простаков, станет понятнее благодаря известному, пока еще не опубликованному, наблюдению некоторых исследователей: существует переносное племя, загнанное в государственном бюджете между первым градусом широты (своего рода административная Гренландия), где действуют оклады в тысячу двести франков, и третьим градусом (областью умеренного климата), где начинаются местечки потеплее, от трех тысяч до шести, где наградные прививаются с успехом, даже дают цветы, несмотря на трудности их взращивания. Одной из черт, характерных для беспросветной узости этого подначального народца, является какое-то механическое, инстинктивное, непровольное почтение к далай-ламе любого министерства, который знаком чиновникам лишь по неразборчивой подписи и под названьем «его превосходительство министр», – три слова, равносильные *Il Bando Cabi* из «Багдадского халифа»<sup>65</sup> и знаменующие для этого приниженного люди священную, непререкаемую власть; как папа для католиков, так и министр в качестве администратора непогрешим в глазах чиновника; блеск его особы передается его действиям, его словам, даже тому, что говорится от его имени: своим мундиром с золотым шитьем он покрывает и узаконивает все, что делается по его приказу; его превосходительное звание, свидетельствуя о чистоте его намерений и святости его предубаждений, служит проводником для самых неприемлемых идей. Эти жалкие людишки даже ради собственной выгоды не сделают того, что усердно выполняют под действием слов: «Его превосходительство». Как в армии существует дисциплина, так и в канцеляриях господствует свое пассивное повиновение; эта система заглушает совесть, опустошает человека и постепенно делает его какой-то гайкой или шурупчиком в машине государственного управления. Гондюро, видимо знавший людей, сейчас же усмотрел в Пуаре бюрократического дурачка и выпустил свое *Deus ex machina*<sup>66</sup> – магическое выраженье «его превосходительство», – когда настал момент обнаружить батареи и ошеломить Пуаре, занимавшего, по мнению агента, положение любовника Мишоно, как Мишоно занимала положение любовницы Пуаре.

– Раз уж его превосходительство, да еще самолично, его превосходительство господин ми... О, это совсем другое дело! – сказал Пуаре.

– Вы слышите, что говорит этот господин, а его мнению вы как будто доверяете, – продолжал мнимый рантье, обращаясь к мадмуазель Мишоно. – Так вот, теперь его превосходительство вполне уверен, что так называемый Вотрен, проживающий в «Доме Воке», – не кто иной, как беглый каторжник с тулонской каторги, где он известен под прозвищем «Обмани-смерть».

– А! Обмани-смерть! – повторил Пуаре. – Значит, ему здорово везет, если он заслужил такую кличку.

– Разумеется, – ответил агент. – Этой кличкой он обязан своему счастью: он оставался цел и невредим во всех своих крайне дерзких предприятиях. Как видите, он человек опасный! По некоторым своим способностям это личность необыкновенная. Осуждение его на каторгу стало целым событием и создало ему огромный почет в его среде...

– Значит, он человек почтенный? – спросил Пуаре.

– В своем роде. Он добровольно принял на себя чужое преступление подлог, совершенный одним очень красивым юношей, его любимцем; это был молодой итальянец, заядлый игрок; позже он поступил на военную службу, где, впрочем, вел себя отлично.

– Но если его превосходительство министр полиции убежден, что Вотрен это Обмани-смерть, зачем ему нужна я? – спросила мадмуазель Мишоно.

<sup>64</sup> «...агента с Иерусалимской улицы» – то есть агента парижской сыскной полиции.

<sup>65</sup> «Багдадский халиф» – одноактная комическая опера французского композитора Франсуа Буальдьё (1775–1834), пользовавшаяся шумным успехом.

<sup>66</sup> *Deus ex machina* – буквально: «бог из машины» – латинская поговорка, означающая неожиданно возникший выход из сложных, запутанных обстоятельств; в античной трагедии такой выход возникал благодаря появлению какого-либо божества, причем актер, изображавший его, спускался на сцену при помощи особого механизма.

- Ах да, в самом деле, – сказал Пуаре, – если министр, как вы изволили нам сообщить, имеет некоторую уверенность...
- Уверенность – это не совсем точно: есть только подозрение. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Жак Коллен, по прозвищу Обмани-смерть, пользуется непрерываемым доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Он много зарабатывает на делах такого рода – для них ведь требуется человек особой пробы.
- Ха-ха! Поняли, мадмуазель, этот каламбур? – спросил Пуаре. – Господин Гондюро назвал его человеком особой пробы, потому что он с клеймом.
- Мнимый Вотрен, – продолжал агент, – принимает от господ каторжников их капиталы, помещает в дела и хранит для передачи или самим каторжникам, если им удастся бежать с каторги, или их семьям, если каторжник оставил на этот случай завещание, или же их любовницам, по передаточному векселю на имя мнимого Вотрена.
- Их любовницам? Вы хотите сказать – женам, – заметил Пуаре.
- Нет, каторжники обычно имеют незаконных жен, у нас их называют сожительницами.
- Значит, они все находятся в сожительстве?
- Значит, так.
- Господину министру не подобало бы терпеть такие мерзости. Поскольку вы имеете честь бывать у его превосходительства и, как мне кажется, обладаете человеколюбивыми понятиями, вам следовало бы осведомить его относительно безнравственности этих людей; ведь это очень дурной пример для общества.
- Но правительство сажает их в тюрьму не для того, чтобы показывать как образец всех добродетелей.
- Это справедливо. Однако разрешите...
- Дайте же, дружочек, сказать господину Гондюро, – вмешалась мадмуазель Мишоно.
- Понимаете, мадмуазель, – продолжал Гондюро, – правительство может выиграть очень много, наложив руку на незаконную кассу, – по слухам, она содержит весьма крупную сумму. Обмани-смерть сосредоточил у себя значительные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих товарищей, но и сообщества «Десяти тысяч»...
- Десяти тысяч воров! – испуганно воскликнул Пуаре.
- Нет, сообщество «Десяти тысяч» – это организация воров высокой марки, людей широкого размаха, они не путаются в дела, где добыча дает меньше десяти тысяч франков. В это сообщество входит народ самый отборный – из тех молодчиков, которых мы отправляем прямо в Высший уголовный суд. Они изучили Уложение о наказаниях и, даже если пойманы с поличным, никогда не дадут повода подвести их под статью о смертной казни. Коллен – их доверенное лицо, их советчик. Благодаря огромным средствам этот человек создал свою собственную полицию, обширные связи, скрыв их под покровом непроницаемой тайны. Вот уже год, как мы окружили его шпионами, и все еще не можем разгадать его игру. Таким образом, и эта касса и его таланты помогают оплачивать порок, способствуют злодейству и держат под ружьем армию мошенников, которые все время воюют с обществом. Арестовать Обмани-смерть и захватить всю его шайку – значит подрубить зло под самый корень. Вот почему это неотложное мероприятие стало делом государственным, делом политики, которое принесет честь тем, кто будет способствовать его успеху. Вы сами могли бы снова поступить на службу по административной части, сделаться секретарем полицейского комиссара, что нисколько не помешает вам получать и вашу пенсию.
- А почему Обмани-смерть не сбежал с кассой? – спросила мадмуазель Мишоно.
- О, куда бы он ни поехал, за ним следом отправят человека с наказом убить его, если он обокрадет каторгу. Кроме того, похитить кассу не так легко, как похитить барышню из хорошей семьи. Впрочем, Коллен – молодчина, он неспособен на такую штуку, он сам себя считал бы опозоренным.
- Вы правы, – подтвердил Пуаре, – он был бы совершенно опозорен.
- Все это не объясняет нам, отчего вы просто-напросто не арестуете его, – заметила мадмуазель Мишоно.
- Хорошо, я вам отвечу... (Только одно, – шепнул он ей на ухо, – не давайте вашему кавале-



ру прерывать меня, а то мы никогда не кончим. Этому старику надо стать очень богатым, чтобы его слушали.) Когда Обмани-смерть прибыл сюда, он надел на себя личину порядочного человека, превратился в почтенного парижского горожанина и устроился в незаметном пансионе. Это тонкая бестия, его никогда не застать врасплох. Словом, Вотрен человек крупный и дела ведет крупные.

– Вполне естественно, – сказал Пуаре самому себе.

– Ну, а вдруг выйдет ошибка и арестуют настоящего Вотрена? Министру не хочется, чтобы на него обрушились коммерческий мир Парижа и общественное мнение. У префекта полиции есть враги, и он сидит, как на тычке. В случае провала все, кто метит на его место, воспользуются твяканьем и рычанием либералов, чтобы спихнуть его. Тут надо действовать, как в деле Коньяра, самозванного графа де Сент-Элен, – ведь окажись он настоящим графом де Сент-Элен, нам бы непоздоровилось. Вот почему нужна проверка!

– Так, значит, вам нужна хорошенькая женщина! – подхватила мадмуазель Мишоно.

– Нет, он женщину к себе и не подпустит. Скажу вам по секрету: Обмани-смерть не любит женщин.

– Тогда я себе не представляю, что пользы от меня для такой проверки, если, предположим, я соглашусь на это за две тысячи.

– Проще простого, – ответил незнакомец. – Я вас снабжу флакончиком с жидкостью: она имеет свойство вызывать прилив крови к голове, похожий на удар, но совершенно безопасный. Это снадобье можно примешать к кофе или к вину, как хотите. Лишь только оно окажет действие, вы сейчас же перенесете молодчика на кровать, разденете, будто бы для того, не грозит ли ему смерть. А как только вы останетесь при нем одна, шлепните его ладонью по плечу раз! и вы увидите, проступит на нем клеймо или нет.

– Сущий пустяк, – откликнулся Пуаре.

– Ну как, согласны? – обратился Гондюро к старой деве.

– А если букв не окажется, я все же получу две тысячи?

– Нет.

– Какое же тогда вознаграждение?

– Пятьсот.

– Стоит итти на это дело ради такой малости! Укор для совести не меньше, а мне не так легко ее успокаивать.

– Заверяю вас, – вмешался Пуаре, – что у мадмуазель чуткая совесть, не говоря уже, что женщина она любезная и весьма сообразительная.

– Ладно, – решила мадмуазель Мишоно, – если это Обмани-смерть, вы даете мне три тысячи, а если это обыкновенный человек, то ничего.

– Идет, – ответил Гондюро, – но при условии, что дело будет сделано завтра же.

– Не так скоро, дорогой мой, мне еще надо посоветоваться с моим духовником.

– Хитра! – сказал агент, вставая с места. – Так до завтра. Если понадобится спешно переговорить со мной, приходите в переулочек Сен-Анн, в конец церковного двора за Сент-Шапель. Там только одна дверь, под аркой. Спросите Гондюро.

В эту минуту мимо проходил Бьяншон, возвращаясь с лекции Кювье, и своеобразное прозвище «Обмани-смерть» привлекло внимание студента, благодаря чему он также услышал ответное «идет» знаменитого начальника сысской полиции.

– Отчего вы не покончили с ним дело сразу? Ведь это триста франков пожизненной ренты! – сказал Пуаре, обращаясь к мадмуазель Мишоно.

– Отчего? Это дело надо еще обдумать. Если Вотрен в самом деле Обмани-смерть, то, может быть, выгоднее сговориться с ним. Впрочем, требовать от него денег – это значит предупредить его, и, чего доброго, он улизнет не заплатив. Получится только мерзкий пшик.

– Если бы он и был предупрежден, – возразил Пуаре, – разве за ним не станут наблюдать, как сказал вам этот господин? Правда, что вы-то потеряли бы все.

«А к тому же не люблю я этого человека, – подумала мадмуазель Мишоно. Мне он говорит только неприятности».

– Но вы можете поступить лучше, – продолжал Пуаре. – Ведь тот господин, по-моему, человек вполне порядочный, да и одет очень прилично, и вот он сказал, что повинование законам обязывает избавить общество от преступника, какими бы достоинствами он ни отличался. Пьяница не перестанет пить. А вдруг ему взбредет в голову убить нас всех? Ведь, черт возьми, мы можем оказаться виновниками этих убийств, не говоря о том, что первыми их жертвами будем мы сами.

Размышления мадмуазель Мишоно мешали ей прислушиваться к словам Пуаре, падавшим из его уст, как водяные капли из плохо привернутого крана. Если этот старичок начинал цедить фразы и его не останавливала Мишоно, он говорил безумолку, как заведенный автомат. Заговорив об одном предмете и не сделав никакого вывода, он переходил путем различных вводных предложений к совершенно противоположной теме. Приближаясь к «Дому Воке», Пуаре совсем заплутался среди всяких отклонений и ссылок на разные случаи жизни, так что, наконец, добрался до рассказа о своих показаниях в деле г-на Рагуло и г-жи Морен, где он выступал свидетелем защиты. Входя в том, его подруга успела разглядеть Эжена и мадмуазель Тайфер, увлеченных душевным разговором на столь животрепещущую тему, что ни тот, ни другой не обратили ни малейшего внимания на двух пожилых жильцов, проследовавших через столовую.

– Так оно и должно было кончиться, – заметила мадмуазель Мишоно, обращаясь к Пуаре. – Всю последнюю неделю они посматривали друг на друга томным взглядом.

– Да, да, – ответил Пуаре. – Потому-то ее и осудили.

– Кого?

– Госпожу Морен.

– Я говорю вам про мадмуазель Тайфер, – сказала мадмуазель Мишоно, войдя по рассеянности в комнату Пуаре, – а вы толкуете мне про госпожу Морен. Что это за женщина?

– А в чем же виновата мадмуазель Викторина? – спросил Пуаре.

– В том, что любит Эжена де Растиньяка и лезет, наивная бедняжка, сама не зная куда.

Утром г-жа де Нусинген довела Эжена до отчаяния. В глубине души он уже отдался полностью на волю Вотрена, сознательно не вдумываясь ни в причины приязни к нему этого необыкновенного человека, ни в будущее их союза. Необходимо было чудо, чтобы спасти его от падения в пропасть, над которой он занес ногу час тому назад, обменявшись с мадмуазель Викториной самыми нежными обетами. Викторине чудился голос ангела, ей открывались небеса, а «Дом Воке» весь расцвел для нее фантастическими красками, как театральные дворцы под кистью декоратора: она любила и была любима, по крайней мере в это верила она! Да и какая женщина на ее месте не верила бы в это, глядя на Растиньяка и слушая его целый час, тайком от пансионских аргусов?

Отлично сознавая, что поступает гадко, а вместе с тем не отказываясь от своих намерений, Эжен старался убедить себя, что, осчастливив женщину, он тем искупит простительный свой грех, и в таких бореньях с совестью он даже похорошел от решимости итти напропалую и светился всеми огнями ада, пылавшего в его душе. К счастью для него, чудо свершилось: весело вошел Вотрен, прочел все, что таилось в сердцах обоих молодых людей, соединенных изобретательностью его дьявольского ума, и сразу оборвал их радостное настроение, насмешливо запев своим сильным голосом:

Мила моя Фаншета  
Душевной простотой...

Викторина скрылась, унося с собой столько счастья, сколько натерпелась горя в жизни до сих пор. Бедняжка! Пожатые руки, прикосновение волос Эжена к ее щеке, словечко, сказанное на ухо так близко, что чувствовалась теплота милых губ, трепет руки, сжимавшей ее талию, поцелуй в шею – все претворялось в священные обеты любви, а грозное соседство толстухи Сильвии, готовой каждую минуту ворваться в эту лучезарную столовую, делало их пламеннее, острее и заманчивее самых разительных примеров беззаветного чувства в самых знаменитых повествованиях о любви.

Робкие залогов любви, по образному выражению наших предков, казались преступлением

юной, благочестивой девушке, ходившей к исповеди каждые две недели! Расточая сокровища своей души, она сейчас их подарила больше, чем впоследствии, став женщиной богатой и счастливой, могла подарить, отдавая себя всю.

– Дело сделано, – заявил Вотрен Эжену. – Наши денди повздорили. Все имело приличный вид. Ссора на почве убеждений. Наш голубок оскорбил моего сокола. Встреча – завтра, в Клиньянкурском редуте. В половине девятого, когда мадмуазель Тайфер будет спокойно макать гренокки в кофе, к ней перейдет по наследству любовь отца и богатство. Шутка сказать! Молодой Тайфер отлично владеет шпагой и самонадеян, как козырный туз, но ему пустят кровь ударом моего изобретения: только приподнять шпагу и колоть в лоб. Я покажу вам этот прием, – чертовски полезная штука.

Растиньяк тупо слушал и ничего не мог ответить. В эту минуту вошли папаша Горио, Бьяншон и еще несколько нахлебников.

– Таким я и хотел вас видеть, – сказал Вотрен. – Вы знаете, что делаете. Отлично, мой орленок! Вам суждено управлять людьми, вы сильный, крепкий, вы молодец, – я уважаю вас.

Вотрен хотел пожать ему руку, но Растиньяк резко ее отдернул и, побледнев, упал на стул: ему так и чудилось, что у ног его – лужа крови.

– Ах, на вас еще остались кое-какие пеленочки, испачканные добродетелью, – тихо заметил ему Вотрен. – У папаши Долибана три миллиона, его состояние мне известно. Благодаря приданому вы станете белее подвенечного платья даже в своих собственных глазах.

Растиньяк больше не колебался. Он решил вечером пойти и предупредить Тайферов – отца и сына. Вотрен отошел от него, и тогда папаша Горио шепнул ему на ухо:

– Сынок, вам грустно! Сейчас я вас развеселю. Идемте!

Старый вермишельщик зажег от лампы свою витую свечечку. Эжен, сгорая любопытством, последовал за ним.

– Зайдемте к вам, – предложил старичок, заранее взяв у Сильвии ключ от комнаты студента. – Сегодня утром вы вообразили, что она не любит вас? Она вас выпроводила от себя поневоле, а вы уж рассердились и ушли в отчаянии. Чудачок! Она ждала меня. Понятно? Нам нужно было пойти одним, чтобы устроить чудесную квартирку, – через три дня в ней будете жить вы. Не выдавайте меня. Она хочет сделать вам сюрприз, но я не считаю больше нужным скрывать от вас наш секрет. Это на улице д'Артуа, в двух шагах от улицы Сен-Лазар. Вы будете там жить по княжески. Мы достали обстановку, как для новобрачной. За последний месяц мы понаделали немало дел, только не говорили вам. Мой поверенный начал военные действия, у моей дочери будет тридцать шесть тысяч франков годового дохода – проценты с ее приданого; я потребую, чтобы ее восемьсот тысяч франков были помещены в доходное недвижимое имущество.

Эжен молчал и, скрестив руки на груди, шагал назад и вперед по своей жалкой неприбранной комнате. Улучив мгновенье, когда Эжен повернулся к нему спиной, папаша Горио положил на камин футляр из красного сафьяна с тисненным золотым гербом рода Растиньяков.

– Я, сынок, ушел с головой в эти дела. Но, надо сказать, я и для себя старался. Я сам очень заинтересован в том, чтобы вы переехали. Если я попрошу вас кой о чем, вы не откажете мне, а?

– Что вы хотите?

– Над вашей новой квартирой, на шестом этаже, есть комната с ходом от вас, – так в ней поселюсь я, хорошо? Я старею и живу слишком далеко от моих дочек. Я не стесню вас. Я просто буду жить там, каждый вечер вы будете рассказывать мне про дочку. Вам это не будет помехой, а я услышу, когда вы будете приходить домой, и скажу себе: «Он только что виделся с Фифиной. Он ездил с ней на бал, она счастлива благодаря ему». Если я заболею, лучшим лекарством для моего сердца будет слышать, что вы вернулись, двигаете стулья, ходите. Ведь у вас в душе останется так много от Дельфины! Оттуда мне два шага до Елисейских Полей, где мои дочки проезжают каждый день: я буду видеть их постоянно, а то иной раз я прихожу слишком поздно. А может быть, она и сама зайдет к вам! Я буду слышать ее голос, увижу, как она в утреннем капоте бежит туда-сюда или грациозно ходит, словно кошечка. За последний месяц она опять стала такой, какой была в девушках, – веселой и франтихой. Душа ее исцеляется, и этим счастьем она обязана вам. О, для вас я готов сделать невозможное! На обратном пути она мне только что сказала: «Папа, я очень

счастлива!» Когда они говорят мне чинно: «Отец», на меня веет холодом, но когда они зовут меня папой, они мне представляются маленькими девочками, они будят во мне лучшие воспоминания. Тогда я больше чувствую себя их отцом. Мне кажется, что они еще не принадлежат никому другому.

Старик вытер глаза, он плакал.

– Давненько не слышал я таких слов, давненько не брала она меня под руку. Да, да, вот уже десять лет, как я не гулял рядом ни с одной из дочерей. А как приятно касаться ее платья, подлаживаться к ее шагу, чувствовать теплоту ее тела! Сегодня утром я водил Дельфину всюду. Ходил с ней по лавкам. Проводил ее до дому. О, дайте мне пожить близ вас! Иной раз вам понадобится какая-нибудь услуга, я буду под рукой. Ах, если бы этот толстый эльзасский чурбан умер, если бы его подагра догадалась перекинуться ему в живот, как счастлива была бы моя дочка! Вы сделали бы моим зятем, вы стали бы открыто ее мужем. Она до сих пор еще не знает, что такое наслаждения жизни, и так несчастна, что я прощаю ей все. Бог должен быть на стороне любящих отцов. – Он умолк, а затем, покачав головой, добавил: – Она вас любит очень, очень! По дороге она болтала все про вас: «Не правда ли, папа, он хороший, у него доброе сердце! А говорит ли он обо мне?» От улицы д'Артуа до пассажа Панорамы она мне насказала о вас всякой всячины. Наконец-то Фифина говорила со мной по душам. В это счастливое утро я позабыл о старости и чувствовал себя легким, как перышко. Я ей сказал, что вы отдали мне тысячу франков. Ах, милочка моя! Она была тронута до слез. А что у вас на камине? – не вытерпел, наконец, папаша Горио, видя, что Растиньяк не двигается с места.

Эжен, совершенно удрученный, тупо смотрел на своего соседа. Эта дуэль, назначенная, по словам Вотрена, на завтра утром, так резко расходилась с осуществленьем самых дорогих его надежд, что он переживал все как в кошмаре. Он обернулся в сторону камина, заметил квадратный футляр, открыл его и увидел внутри листок бумаги, а под ними часы Брегета. На листке были написаны следующие слова:

*«Хочу, чтобы каждый час вы думали обо мне, потому что...  
Дельфина».*

Последние слова, очевидно, намекали на какой-то эпизод в их отношениях. Эжен умилился. Внутри золотого корпуса часов был изображен эмалью его герб. Эта дорогая и давно желанная вещица, цепочка, ключик, форма и орнамент – все отвечало его вкусам. Папаша Горио сиял. Конечно, он обещал дочери подробно описать радостное изумление Эжена от ее подарка, тем более что в этих юных волнениях души он принимал участие, хотя и в роли третьего лица, но, видимо, не менее счастливого. Он уже успел полюбить Эжена и за его душевные качества и за счастье дочери.

– Пойдите к ней сегодня вечером, она вас ждет. Эльзасский чурбан ужинает у своей танцовщицы. Каким дураком смотрел он, когда мой поверенный выложил ему все начистоту. А кто, как не он, уверяет, что любит мою дочь до обожания? Пусть только прикоснется к ней, я убью его. Одна мысль, что моя Дельфина в его... (он глубоко вздохнул), может толкнуть меня на преступление, но это не было бы человекоубийством, ведь он – свиная туша с телячьей головой. Так вы возьмете меня к себе, а?

– Конечно, дорогой папа Горио, вы хорошо знаете, что я люблю вас.

– Я это вижу, вы-то мной не гнушаетесь! Позвольте вас поцеловать. – И он сжал студента в объятиях. – Обещайте мне дать ей счастье! Так вы пойдете к ней сегодня вечером?

– О да! Мне только надо сходить по одному неотложному делу.

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?

– А правда! Пока я буду у госпожи де Нусинген, сходите к господину Тайферу-отцу и попросите его назначить мне время сегодня вечером, чтобы переговорить с ним об одном крайне важном деле.

– Молодой человек, так это верно? – воскликнул папаша Горио, изменившись в лице. – Вы, чего доброго, и впрямь волочитесь за его дочкой, как утверждают наши дураки внизу? Гром



небесный! Вы еще не знаете, какого сорта тумак можно получить от Горио. Ну, ежели вы нас обманывали, то своим кулаком я... О, это же немислимо!

– Клянусь вам, на всем свете я люблю только одну женщину, хоть до сих пор я и сам этого не сознавал, – ответил Растиньяк.

– Какое счастье! – воскликнул папаша Горио.

– Но дело в том, – продолжал студент, – что сын Тайфера завтра дерется на дуэли, и, как я слышал, его убьют.

– А вам какое дело? – спросил Горио.

– Нужно сказать отцу, чтобы он не пускал сына, – ответил Эжен.

На этом слове его прервал голос Вотрена, пропевшего за дверь:

– О Ричард, мой король,  
Тебя все покидают...  
Брум! брум! брум! брум! брум!  
Объехал я весь белый свет,  
И счастлив был... траля-ля-ля-ля...

– Господа, – объявил Кристоф, – суп подан, все уже за столом.

– Слушай, – сказал ему Вотрен, – поди возьми у меня бутылку бордо.

– Вам нравятся часы? – спросил папаша Горио. – У нее хороший вкус.

Вотрен, папаша Горио и Растиньяк сошли вниз вместе и, опоздав к началу обеда, очутились за столом рядом. Эжен выказывал чрезвычайную холодность к Вотрену, несмотря на то, что этот человек – и вообще-то приятный, по мнению г-жи Воке, – разошелся сегодня, как никогда. Он искрился остроумием и сумел расшевелить всех нахлебников. Такая уверенность в себе, такое хладнокровие страшили Растиньяка.

– Что это на вас нашло сегодня? – спросила г-жа Воке. – Уж очень вы развеселились.

– Я всегда весел после хорошей сделки.

– Сделки? – спросил Эжен.

– Ну да! Я поставил партию товара и потому имею все права на получение комиссионных. – Заметив, что мадмуазель Мишоно приглядывается к нему, Вотрен сказал: – Мадмуазель Мишоно, вы все посматриваете на меня сверлящим взглядом: возможно, вам что-нибудь не нравится в моем лице? Скажите прямо! Чтобы сделать вам приятное, я переменю... Как, Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого? – спросил он, подмигнув старому чиновнику.

– Черт возьми, вам следовало бы позировать для ярмарочного Геркулеса! – воскликнул художник.

– Идет! Если мадмуазель Мишоно будет позировать в виде Венеры Кладбищенской, – ответил Вотрен.

– А Пуаре? – спросил Бьяншон.

– О, Пуаре пускай позирует как Пуаре, – крикнул Вотрен. – И получится бог садов и огородов. Ведь у него и имя-то, если верить произношению Сильвии, происходит от порея.

– От гнилой луковицы! – подхватил Бьяншон. – Вот какой это фрукт!

– Все это глупости, – прервала его г-жа Воке. – Лучше бы вы угостили всех нас вашим бордо из той бутылочки, что кажет свое горлышко. Это поддержит наше веселое расположение духа. Да и полезно для жулутка.

– Милостивые государи, – обратился ко всем Вотрен, – председательница призывает вас к порядку. Госпожа Кутюр и мадмуазель Викторина не станут обижаться на ваши легкомысленные разговоры, но пощадите невинность папаши Горио. Я предлагаю вам распить бутылорамочку бордо, вдвойне славного именем Лафита,<sup>67</sup> – просьба не принимать за политический намек. Ну же,

---

<sup>67</sup> «...бордо, вдвойне славного именем Лафита». – Игра слов: лафит – сорт красного вина; Жак Лафит (1767–1844) – французский банкир и политический деятель; способствовал во время Июльской революции возведению на престол Луи-Филиппа Орлеанского, при котором во Франции началось владычество крупной финансовой буржуазии.

чудачина! – крикнул он, глядя на Кристофа, стоявшего на месте. – Сюда, Кристоф! Что это значит? Ты не знаешь своего имени? Давай, чудачина, выпивку!

– Пожалуйте, – ответил Кристоф, подавая ему бутылку.

Наполнив стаканы Эжену и папаше Горио, Вотрен медленно налил себе несколько капель и, пока его соседи пили, пробовал вино на язык; вдруг он сделал гримасу.

– Ах, черт, отдает пробкой! Бери его себе, Кристоф, и достань нам другого; знаешь, там, справа? Нас шестнадцать, тащи восемь бутылок.

– Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов, – заявил художник.

– Хо! Хо!

– Эге!

– Брр!

Выкрики нахлебников раздались со всех сторон, вылетая, как ракеты из бурака.

– Ну-ка, мамаша Воке, ставьте две бутылочки шампанского! – крикнул Вотрен.

– Еще что! Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки шампанского! Двадцать-то франков!

Так совсем разоришься! Нет! Но ежели господин Эжен за них заплатит, я уж от себя выставлю черносмородинной.

– От ее черносмородинной слабит, как от крушины, – заменил Бьяншон тихо.

– Молчи, Бьяншон, – ответил Растиньяк, – я не могу слышать слово «крушина», сейчас же меня начинает... Хорошо, согласен, плачу за шампанское! – крикнул студент.

– Сильвия, подайте бисквиты и вафли.

– Ваши вафли перестарки – уже не вафли, а кафли. А бисквиты тащите на стол, – заявил Вотрен.

Вино пошло вкруговую, сотрапезники оживились, и веселья стало еще больше. Слышался неистовый хохот, раздавались крики, подражание голосам различных животных. Музейному чиновнику пришло в голову воспроизвести обычный в Париже крик, сходный с мяуканьем влюбленного кота, и сейчас же восемь голосов поочередно прогорланили:

– Точить ножи, ножницы!

– Канареечное семя певчим птичкам!

– Вот сладкие трубочки, трубочки!

– Чиню фаянс!

– Устрицы, свежие устрицы!

– Старого платья, старых шляп, старых галунов продавать нет ли?

– Вишенья, сладкого вишенья!

– Зонтики, кому зонтики!

Пальма первенства осталась за Бьяншоном, когда гнусавым голосом он крикнул:

– Колотилки – выколачивать жен и платья!

Несколько минут стоял такой шум, что того и гляди голова треснет, какая-то словесная неразбериха, настоящая опера, где дирижировал Вотрен, не спуская глаз с Эжена и папаша Горио, видимо успевших опьянеть. Оба, откинувшись на спинки стула, строго смотрели на это необычное бесчинство и пили мало: их заботило то, что надо было сделать в этот вечер, но нехватало сил подняться с места. А Вотрен искоса глядел на них, следя за тем, как изменялось выражение их лиц, и, улучив момент, когда глаза их замигали, вот-вот готовые закрыться совсем, наклонился к Эжену и сказал ему на ухо:

– Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитры, чтобы бороться с дядюшкой Вотреном, а он вас слишком любит и не позволит вам наделать глупостей. Если я что решил, один бог в силах преградить мне путь. Да! Да! Вы собирались предупредить папеньку Тайфера и сделать промах, достойный школьника! Печь накалилась, тесто замешано, и хлеб на лопате; завтра мы будем уплетать его за обе щеки, так неужели мы не дадим посадить его в печь? Нет, нет, он будет испечен! Если у нас и явятся какие-нибудь угрызения совести, они исчезнут в процессе пищеварения. Теперь мы чуточку поспим, покамест полковник граф Франкессини острием шпаги освободить для нас наследство Мишеля Тайфера, наследуя своему брату, Викторина будет иметь тысяч пятнадцать в год. Я уже навел справки и знаю, что наследство со стороны матери больше трехсот тысяч.

Эжен слышал его слова, но не в силах был отвечать: язык его прилип к гортани, им овладело непреодолимое желание уснуть, и стол и лица сотрапезников ему виднелись в каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, нахлебники начали расходиться один за другим. Когда остались только вдова Воке, г-жа Кутюр, мадмуазель Викторина, Вотрен и папаша Горио, Эжен сквозь сон увидел, как Воке берет бутылки со стола и сливает остатки вина в одну бутылку.

– Ах, какие же они глупые, какие юные! – говорила она.

Это была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.

– Никто, как господин Вотрен, мастер на эдакие проделки, – заметила Сильвия. – Слышите, Кристоф-то урчит, что твой волчок.

– Прощайте, мамаша, – сказал Вотрен. – Иду на бульвар полюбоваться на Марти в «Дикой горе», большой пьесе, переделке из «Отшельника». <sup>68</sup> Если желаете, я сведу туда вас и наших дам.

– Благодарю вас, мы не пойдем, – ответила г-жа Кутюр.

– Как, соседка?! – воскликнула г-жа Воке. – Неужели вы отказываетесь посмотреть переделку из «Отшельника», произведения на манер «Атала» Шатобриана? <sup>69</sup> А прошлым летом как мы любили его читать под липпами и плакали, точно Магдалина Элодийская, – такая это прелесть; произведение нравственное и может быть поучительно для вашей барышни.

– Нам не до театров, – ответила Викторина.

– Вот они и готовы, – заметил Вотрен, комично поворачивая головы Эжена и папаши Горио.

Прислонив голову студента к спинке стула, чтобы ему было удобнее спать, он с чувством поцеловал его в лоб и пропел:

Забудься сном, любимец мой!

Хранить я буду твой покой.

– Боюсь, как бы он не заболел, – сказала Викторина.

– Тогда останьтесь ухаживать за ним, – ответил ей Вотрен. – Это ваша обязанность, как преданной жены, – шепнул он ей на ухо. – Он обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказываю вам. И так, – произнес он громко, – *они заслужили всеобщее уважение, жили счастливо и народили много детей*. Так кончаются все любовные романы. Ну, мамаша, – добавил он, обернувшись и обнимая вдову Воке, – надевайте шляпку, парадное платье с цветочками и шарф графини. Я сам лично иду за извозчиком для вас. – И он вышел, напевая:

О солнце, солнце, божество!

Твоим раченьем спеют тыквы...

– Ей-богу, госпожа Кутюр, с таким человеком я была бы счастлива хоть на голубятне. Папаша Горио, и тот напился, – продолжала она, оборачиваясь в сторону вермишельщика. – Этот старый скряга ни разу и не подумал свести меня куда-нибудь. Господи! да он сейчас упадет на пол! Пожилому человеку непристойно пить до потери рассудка. Да и то сказать, чего нет, того не потеряешь. Сильвия, отведите апашу к нему в комнату.

Сильвия, поддерживая старика подмышки, повела его и бросила, как куль, прямо в одежде поперек кровати.

– Милый юноша, – говорила г-жа Кутюр, поправляя Эжену волосы, падавшие ему на глаза, – совсем как девушка: он не привык к излишествам.

– О, я тридцать один год держу пансион, и немало молодых людей прошло, как говорится, через мои руки, – сказала вдова Воке, – но никогда не попадался мне такой милый, такой воспи-

---

<sup>68</sup> Марти – актер театра «Гегэ». – «Дикая гора, или Герцог Бургундский» – пьеса французского драматурга Гильбера де Пиксерекура (1773–1844) – на сюжет романа «Отшельник» писателя-роялиста Шарля д'Арленкура (1789–1856).

<sup>69</sup> «Атала» Шатобриана – повесть французского реакционного романтика Шатобриана (1768–1848), в которой в напыщенно чувствительном тоне рассказывается история любви девушки-индианки Атала и индейца Шактаса.

танный, как господин Эжен. Как он красив во сне! Госпожа Кутюр, положите его голову себе на плечо. Э, да она клонится на плечо к мадмуазель Викторине! Детей хранит сам бог: еще немножко, и он разбил бы себе лоб о шишку на стуле. Какая бы из них вышла парочка!

– Замолчите, голубушка, – воскликнула г-жа Кутюр, – вы говорите такие вещи...

– Да он не слышит, – ответила вдова Воке. – Сильвия, идем одеваться. Я надена высокий корсет.

– Вот тебе раз! Высокий корсет, это пообедавши-то? – возразила Сильвия. – Нет, поищите кого другого вас затягивать; мне не пристало быть вашей убийцей. От эдакого неразумия и помереть недолго.

– Все равно, надо уважить господина Вотрена.

– Стало быть, вы очень любите своих наследников?

– Ну, Сильвия, довольно рассуждать, – ответила вдова, уходя к себе.

– В ее-то годы! – сказала Сильвия, указывая Викторине на свою хозяйку.

В столовой остались только г-жа Кутюр и ее воспитанница с Эженом, спавшим на ее плече. Храп Кристофа разносился в затихшем доме, оттеня безмятежный, прелестный, как у ребенка, сон Эжена. Викторина была счастлива: она могла отдаться делу милосердия, в котором изливаются все лучшие чувства женщины, могла, не совершая тяжкого греха, ощущать у своего сердца биение сердца юноши, и что-то матерински покровительственное запечатлелось на ее лице, какая-то гордость этим чувством. Сквозь сонм всяких мыслей, роившихся в ее душе, пробивались бурные порывы страсти, разбуженной теплым и чистым дыханием молодого человека.

– Бедная моя девочка! – сказала г-жа Кутюр, пожимая ей руку.

Старая женщина, любуясь, смотрела на ее страдальческое, непорочное лицо, озаренное в эту минуту сиянием счастья. Викторина походила на старинную икону, где живописец, не заботясь о подробностях, все волшебство спокойной, величавой кисти приберег для лика – желтоватого по тону, но в желтизне своей как будто отражающего золотистые оттенки неба.

– Маменька, а ведь он выпил не больше двух стаканов, – сказала Викторина, проводя рукой по волосам Эжена.

– Если бы он был кутила, дочка, он переносил бы вино так же легко, как и другие, – ответила г-жа Кутюр. – Его опьянение служит ему к чести.

На улице раздался стук экипажа.

– Маменька, это господин Вотрен. Поддержите господина Эжена. Мне не хочется, чтобы этот человек застал меня в таком виде: он употребляет выражения, которые грязнят душу, да и в его взгляде есть что-то тягостное для женщины, точно он раздевает ее глазами.

– Нет, ты ошибаешься, – возразила г-жа Кутюр. – Господин Вотрен хороший человек, отчасти в том же духе, что и мой покойный муж: грубоватый, но добрый, благодушный медведь.

В этот момент очень тихо вошел Вотрен и посмотрел на эту картину – на двух детей, точно ласкаемых светом лампы.

– Вот такие сцены, – сказал он, скрестив руки на груди, – вдохновили бы милого Бернардена де Сен-Пьера, автора «Павла и Виргинии»,<sup>70</sup> и он написал бы великолепные страницы. Как прекрасна юность, госпожа Кутюр! Спи, милый мальчик, – произнес он, глядя на Эжена, – хорошее приходит иногда во время сна. Сударыня, – обратился он к вдове, – в этом юноше меня влечет и трогает гармония между его душевной красотой и красотой его лица. Взгляните: да ведь это херувим, склонивший голову на плечо ангелу! Он достоин любви! Будь я женщина, я бы с наслаждением умер... (нет, я не так глуп!) жил бы для него. Любуясь ими, – шопотом продолжал он, наклонившись к уху вдовы, – я не могу отрешиться от мысли, что бог создал их друг для друга. У провидения свои тайные пути, оно испытует сердца и чресла, – сказал он уже громко. – Глядя на вас, детей, столь близких друг другу чистотой души и всеми человеческими чувствами, я говорю себе: для вас и в будущем разлука невозможна. Бог справедлив. Да-а! – обратился он к девушке. – Мне помнится, как-то я заметил у вас линии счастливой жизни. Мадмуазель Викторина, дайте-ка

---

<sup>70</sup> «Павел и Виргиния» – сентиментально-идиллический роман Бернардена де Сен-Пьер (1737–1814), французского писателя, друга Жан-Жака Руссо.



мне вашу руку. Я смыслю в хиромантии, мне приходилось гадать не один раз. Ну же, не бойтесь! О, что я вижу? Честное слово, вы очень скоро будете одной из самых богатых наследниц во всем Париже. Вы осчастливите своего милого превыше головы... Отец возвращает вас к себе. Вы выходите замуж за молодого человека, титулованного, красивого, который обожает вас.

Тяжелые шаги кокетливой вдовы, спускавшейся по лестнице, прервали пророчества Вотрена.

– А вот и маменька Вокке, прекрасна, как звезда, и стянута в рюмочку. Мы чуточку себя не душим? – спросил он ее, пощупав планшетку корсета. – Под ложечкой-то, маменька, здорово перетянута. Не дай бог, расплачемся, произойдет взрыв; конечно, я подберу осколки со всей заботливостью антиквара.

– Вот он знает французский любезный разговор! – сказала вдова на ухо г-же Кутюр.

– Прощайте, дети, – обратился Вотрен к Викторине и Эжену. Благословляю вас, – сказал он, возлагая руки на их головы. – Поверьте мне, мадмуазель, добрые пожелания честного человека что-нибудь да значат, они принесут счастье. Бог внемлет им.

– Прощайте, милый друг, – сказала г-жа Воке своей жилице. – Не думаете ли вы, – прибавила она шопотом, – что у господина Вотрена серьезные намерения в отношении меня?

– Гм! Гм!

Когда обе женщины остались одни, Викторина, взглянув на свои руки, произнесла со вздохом:

– Ах, маменька, если бы добрый господин Вотрен оказался прав!

– Для этого нужно только одно – чтобы этот изверг, твой брат, свалился с лошади, – ответила старая дама.

– О маменька!

– Господи, может быть, и грех желать зла своим врагам, – сказала вдова. – Что делать, покаюсь в этом на духу! А я, по правде говоря, от чистого сердца снесу цветы на его могилу. Гадкая душа! У него нет мужества замолвить слово за свою мать, а ведь он присвоил ее наследство всякими каверзами в ущерб тебе. У моей кухни было хорошее состояние. На твое горе, никто даже не заикнулся о том, чтобы оговорить его в брачном контракте.

– Если бы мое благополучие досталось мне ценою чьей-нибудь жизни, мне было бы тяжело им пользоваться, – сказала Викторина. – Раз для моего счастья необходимо, чтобы брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь.

– Боже мой! Ты сама видишь, этот милый господин Вотрен – человек религиозный, – отвечала г-жа Кутюр, – и мне было очень приятно убедиться, что он не безбожник, как другие, которые рассуждают о боге с меньшим уважением, чем о дьяволе. И вот господин Вотрен говорит: кто может знать, какими путями ведет нас провидение?

С помощью Сильвии двум женщинам удалось перенести Эжена в его комнату и уложить на кровать; кухарка расстегнула на нем одежду, чтобы ему было удобнее. Перед уходом, когда г-жа Кутюр отвернулась, Викторина запечатлела на лбу Эжена поцелуй, вкусив всю сладость счастья в этом преступном лобзании. Она окинула взглядом его комнату, можно сказать, объединила в одной мысли свои блаженные переживания за этот день, создала из них целую картину, долго ею любовалась и уснула в этот вечер, чувствуя себя самым счастливым существом во всем Париже.

Вотрен устроил пирушку, чтобы подпойть Эжена и папашу Горио вином с примесью снотворного, но она принесла гибель самому Вотрену. Полупьяный Бьяншон забыл расспросить мадмуазель Мишоно про Обмани-смерть. Упомяни Бьяншон такое прозвище, оно, несомненно, заставило бы насторожиться Вотрена, или – назовем его настоящим именем – Жака Коллена, одну из каторжных знаменитостей. В довершение всего, когда мадмуазель Мишоно, надеясь на щедрость Коллена, подумывала, не выгоднее ли будет предупредить его, чтобы он скрылся ночью, в эту минуту Вотрен прозвал ее кладбищенской Венерой, и старая дева решила выдать его полиции. Она сейчас же вышла в сопровождении Пуаре и направилась в переулок Сент-Анн, к знаменитому начальнику сыскной полиции, воображая, что ей опять придется иметь дело просто с чиновником по имени Гондюро; начальник сыскной полиции принял ее очень любезно. В беседе с ним, оговорив все точно, мадмуазель Мишоно попросила дать ей обещанные капли, с помощью которых надо было проверить, есть ли следы клейма, или их нет. В то время как этот великий человек в ма-

леньком переулке Сент-Анн искал пузырек в ящике письменного стола, мадмуазель Мишоно догадалась по выражению удовольствия на его лице, что захват Вотрена представлял собою нечто более важное, чем арест простого каторжника. Пошевелив мозгами, она стала подозревать, что полиция, на основе некоторых показаний каторжников-предателей, рассчитывала прибрать к рукам большие деньги. Когда она высказала начальнику свои предположения, он заулыбался и постарался успокоить старую деву.

– Вы ошибаетесь, – ответил он. – Коллен самая опасная *сорбонна*, когда-либо существовавшая в воровском мире. Вот и все. Всем негодьям это хорошо известно: он их знамя, их опора – словом, их Бонапарт; он общий их любимец. Такой ловкач никогда не оставит нам своего *чурбана* на Гревской площади.<sup>71</sup>

Мадмуазель Мишоно не поняла; тогда Гондюро объяснил ей два слова, взятых им из воровского языка. «Сорбонна» и «чурбан» – два сильных выражения блатного языка: воры первые почувствовали необходимость рассматривать человеческую голову с двух точек зрения. «Сорбонна» – голова живого человека, его советчик, его мысль. «Чурбан» – презрительное обозначение ничтожества, в какое превращается та же голова, когда ее отрубят.

– Коллен разыгрывает нас, – продолжал он. – Сталкиваясь с человеком, твердым, как брус английской стали, мы имеем возможность убить его, если ему вздумается при аресте оказать малейшее сопротивление. Мы и рассчитываем на противодействие силой со стороны Коллена, чтобы завтра утром его убить. В таком случае нет ни процесса, ни расходов на содержание, на стражу, и общество избавлено от всех хлопот. Судебная процедура, вызов свидетелей, возмещение их расходов, казнь – то есть все необходимое, чтоб нам разделаться законным образом с любым из этих негодяев, обойдется куда дороже тысячи экю, которую вы получите от нас; не говоря уж об экономии во времени. Всадив штык в брюхо Обмани-смерть, мы предупредим сотню преступлений и уберем от соблазна полсотни негодяев, которые будут держать себя благоразумно в соседстве с исправительной полицией. Вот это и называется «хорошо организованная полиция». По мнению подлинных филантропов, действовать таким образом, – значит предупреждать преступления.

– И служить своей стране, – заметил Пуаре.

– Сегодня вы говорите вполне здраво, – ответил начальник полиции. – Да, разумеется, мы служим своей стране. А люди весьма несправедливы к нам. Мы оказываем обществу большие, но скрытые услуги. Поэтому человеку мыслящему надлежит стать выше предрассудков, а христианину должно примириться с несчастными последствиями, возможными и в благом деле, когда оно осуществляется не общепринятым порядком. Поймите, Париж есть Париж! В этом объяснение моей жизни. Завтра я со своими людьми буду наготове в Королевском саду. Имею честь кланяться, сударыня. Пошлите Кристофа на улицу Бюффона к господину Гондюро, в тот дом, где вы меня видели. Ваш покорный слуга, сударь. Если когда-нибудь вас обворуют, прибегните ко мне, и вам вернут украденное: я к вашим услугам.

– И вот находятся болваны, которые выходят из себя от одного слова «полиция», – говорил Пуаре мадмуазель Мишоно. – Этот господин очень любезен, а то, чего он требует от вас, – проще простого.

Следующему дню предстояло войти в список чрезвычайных дат истории «Дома Воке». До этого наиболее выдающимся происшествием в тихой жизни пансиона было появление мелькнувшей, как метеор, графини де л'Амбермениль. Но все должно было померкнуть перед событиями этого великого дня, к которому впоследствии сводились все разговоры г-жи Воке. Прежде всего Эжен и Горио проспали до одиннадцати часов. Сама вдова вернулась из театра Гетэ в полночь и пролежала в постели до половины одиннадцатого. Продолжительный сон Кристофа, который допил бутылку, полученную от Вотрена, повел к тому, что весь обычный распорядок дня в пансионе был нарушен. Пуаре и мадмуазель Мишоно не имели ничего против того, что завтрак задержался. Викторина и г-жа Кутюр спали до позднего утра. Вотрен ушел из дому раньше восьми часов и вернулся только к завтраку. Поэтому никто не возмущался, хотя было уже четверть двенадцатого,

---

<sup>71</sup> Гревская площадь – площадь в Париже, на которой происходили публичные казни.

когда Сильвия с Кристофом отправились стучать во все двери, объявляя, что завтрак подан. В отсутствие слуги и Сильвии мадмуазель Мишоно сошла вниз первой и подлила снадобье в принадлежавший Вотрену серебряный стаканчик со сливками для его кофе, которые подогревались в горячей воде вместе со сливками для остальных жильцов. Старая дева рассчитывала на эту особенность в порядках пансиона, чтобы сделать свое дело. Семь пансионеров собрались не сразу. Когда Эжен, потягиваясь, спускался с лестницы последним, посыльный передал ему письмо от г-жи де Нусинген. Она ему писала:

*«По отношению к вам, дорогой друг, во мне нет ни ложного самолюбия, ни гнева. Я ждала вас до двух часов ночи. Ждать любимого человека! Кто изведет эту пытку, тот не подвергнет ей никого. Видно, что любите вы в первый раз. Что случилось? Я в тревоге. Если бы я не боялась выдать тайну своего сердца, я бы отправилась узнать, что приключилось с вами: хорошее или дурное? Но если бы я ушла или уехала из дому в такой час, разве я не погубила бы себя? Я почувствовала, какое несчастье быть женщиной. Успокойте меня, объясните, почему вы не пришли после того, что рассказал вам мой отец. Я посержусь, но прощу. Может быть, вы заболели? За чем вы живете так далеко! Ради бога, одно только слово! До скорого свидания, не правда ли? Если вы заняты, мне довольно одного слова. Напишите: „еду“ или „болен“. Но если бы вам нездоровилось, мой отец пришел бы сказать мне. Что же случилось?..»*

– Да, что же случилось? – воскликнул Эжен и, комкая недочитанное письмо, кинулся в столовую. – Который час?

– Половина двенадцатого, – ответил Вотрен, накладывая сахар себе в кофе.

Беглый каторжник взглянул на Эжена холодным замораживающим взглядом: такой взгляд бывает только у людей исключительно магнетической силы и, как говорят, способен усмирять буйных в сумасшедшем доме. Эжен содрогнулся всем существом. С улицы послышался стук кареты, и в комнату стремительно вошел испуганный лакей, в котором г-жа Кутюр по ливрее сейчас же узнала лакея г-на Тайфера.

– Мадмуазель! – воскликнул он. – Ваш батюшка просит вас к себе. У нас большое несчастье. Господин Фредерик дрался на дуэли; он получил удар шпагой в лоб, и врачи отчаялись его спасти; вы едва успеете проститься с ним, он уже без памяти.

– Бедный молодой человек! – громко произнес Вотрен. – Как это можно заводить ссоры, имея тридцать тысяч годового дохода? Положительно, молодежь не умеет вести себя.

– Милостивый государь! – окликнул его Эжен.

– В чем дело, взрослый ребенок? Разве дуэли происходят в Париже не каждый день? – спросил Вотрен, невозмутимо допивая кофе, в то время как Мишоно, не отрывая глаз, глядела на него с таким вниманием, что ошеломившее всех событие прошло мимо нее.

– Викторина, я поеду с вами, – сказала г-жа Кутюр.

И обе они помчались в дом Тайфера, даже не надев шляп и шалей.

Перед уходом Викторина со слезами на глазах посмотрела на Эжена таким взглядом, который словно говорил: «Не думала я, что за наше счастье я заплачу слезами!»

– Уж не пророк ли вы, господин Вотрен? – спросила вдова Воке.

– Я – кто угодно, – ответил Жак Коллен.

– Как это странно! – продолжала г-жа Воке, нанизывая одну за другой ничего не значащие фразы по поводу этого события. – Смерть хватает нас не спрашивая. Часто молодежь умирает раньше стариков. Наше счастье, что мы, женщины, не деремся на дуэли; зато у нас есть свои недуги, от которых избавлены мужчины. Мы родим детей, и материнские муки бывают продолжительны! И повезло же Викторине! Отец вынужден будет ее признать.

– Да-а! – произнес Вотрен, глядя на Эжена. – Вчера у ней не было ни гроша, а сегодня несколько миллионов.

– Послушайте, господин Эжен, – воскликнула г-жа Воке, – а вы не прогадали!

При этих словах папаша Горио взглянул на студента и увидел в его руке смятое письмо.

– Вы не дочли его! Что это значит? Неужели вы такой же, как другие? – спросил он Растинь-

яка.

– Госпожа Воке, я никогда не женюсь на мадмуазель Викторине, – сказал Эжен с чувством такой гадливости и ужаса, что привел всех в недоумение.

Папаша Горио схватил руку студента и пожал ее. Ему хотелось ее поцеловать.

– Ого! У итальянцев есть хорошее выражение: *col tempo*,<sup>72</sup> – сказал Вотрен.

– Я жду ответа, – напомнил посыльный от г-жи де Нусинген.

– Скажите, что я буду.

Посыльный ушел. Эжен пришел в сильное возбуждение и забыл об осторожности.

– Как быть? – спрашивал он, громко разговаривая с самим собой. Никаких доказательств!

Вотрен усмехнулся. В этот момент питье, рассасываясь в желудке, стало действовать. Но каторжник оказался настолько крепок, что встал и, глядя на Растиньяка, глухим голосом проговорил:

– Молодой человек, хорошее приходит, пока мы спим.

И упал замертво.

– Значит, есть суд божий! – воскликнул Эжен.

– Что такое с нашим бедненьким господином Вотреном?

– Удар! – воскликнула мадмуазель Мишоно.

– Сильвия, милочка, сходи за врачом, – распорядилась вдова. – А вы, господин Растиньяк, бегите к Бьяншону: Сильвия может не застать нашего врача, господина Гренпреля.

Растиньяк обрадовался предлогу уйти из этого ужасного вертепа и бросился бегом.

– Эй, Кристоф, рысью к аптекарю, попроси чего-нибудь от удара.

Кристоф вышел.

– Папаша Горио, да помогите же нам перенести его к нему наверх.

Вотрена подхватили, кое-как втащили по лестнице и положили на кровать.

– Вам от меня толку никакого, я пойду повидать дочек, – сказал Горио.

– Старый эгоист! – воскликнула г-жа Воке. – Ступай! Чтоб ты сдох, как собака!

– Пойдите посмотрите, не найдется ли у вас эфира, – попросила г-жу Воке мадмуазель Мишоно, сняв с Вотрена верхнее платье при помощи Пуаре.

Вдова Воке сошла к себе вниз, оставив Мишоно распорядиться на поле битвы.

– Ну, живо, снимайте с него рубашку и поверните его спиной! Будьте хоть чем-нибудь полезны: избавьте меня от удовольствия смотреть на его голое тело, – приказала она Пуаре. – Что вы стоите, как истукан?

Как только Вотрена повернули, мадмуазель Мишоно с силой хлопнула больного по плечу, и две роковых белых буквы проступили на покрасневшем месте.

– Ну, и легко же вы заработали три тысячи наградных! – воскликнул Пуаре, поддерживая Вотрена, пока мадмуазель Мишоно надевала на него рубашку. – Ух, однако и тяжел же он, – заметил Пуаре, снова укладывая Вотрена.

– Тише! Не тут ли касса? – отрывисто сказала старая дева, с такой алчностью разглядывая каждую вещь в комнате, точно хотела пронизать глазами стены. – Как бы открыть этот секретер под каким-нибудь предлогом! – продолжала она.

– Пожалуй, это будет нехорошо, – отвечал Пуаре.

– Нет! Деньги краденые, принадлежали всем, а теперь ничьи. Не успеть, добавила она, – уже идет Воке.

– Вот вам эфир, – сказала ей г-жа Воке. – Можно сказать, сегодня день происшествий. Господи! Не может того быть, что этот человек болен, он белехонек, как цыпленок.

– Как цыпленок? – повторил Пуаре.

– Сердце бьется ровно, – продолжала вдова, положив руку на грудь Вотрена.

– Ровно? – удивился Пуаре.

– Он совсем здоров.

– Вы думаете? – спросил Пуаре.

---

<sup>72</sup> Со временем (итал.).



– Право, он точно спит. Сильвия пошла за врачом. Гляньте-ка, мадмуазель Мишоно, он вдыхает эфир. Так это у него просто *обморок*. Пульс хороший. Мужчина крепкий. Видите, какая шерсть у него на груди: такой человек проживет сто лет. А парик держится, несмотря ни на что. Да он у него приклеен. Волосы-то накладные, по случаю того, что сам он рыжий. Говорят, рыжие бывают или очень хорошие, или очень плохие люди. А он пожалуй что хороший.

– Хорош, если повесить, – отозвался Пуаре.

– На шею хорошенькой женщине, хотите вы сказать, – резко оборвала его мадмуазель Мишоно. – Уходите-ка отсюда. Это наше женское дело ухаживать за вами, мужчинами, когда вы больны. Лучше пойдите прогуляйтесь, на это вы годитесь, – добавила она. – А мы с госпожой Воке отлично выходим нашего дорогого господина Вотрена.

Пуаре вышел тихо и послушно, как собака, получившая пинок от своего хозяина.

Растиньяк ушел из дома, чтобы походить и подышать свежим воздухом, – он задышался. Ведь накануне он хотел помешать этому убийству, а оно свершилось точно в назначенное время. Что же произошло? Как ему быть? Сознание, что он сообщник преступника, бросало его в дрожь. Хладнокровие Вотрена продолжало страшить его.

– А если бы Вотрен умер, ничего не сказав? – спрашивал себя Растиньяк.

Он бегал по аллеям Люксембургского сада, словно его гнала стая гончих и ему чудился их лай.

– Ну, что, – крикнул ему Бьяншон, – читал «Кормчего»?

«Кормчий» была радикальная газета под редакцией Тиссо; после выхода утренних газет она давала сводку всех новостей дня, приходившую в провинцию на сутки раньше остальных газет.

– Там есть замечательное происшествие, – говорил практикант при больнице имени Кошена. – Сын Тайфера дрался на дуэли с графом Франкессини, офицером старой гвардии, и граф всадил ему шпагу на два дюйма в лоб. Теперь Викторина одна из самых богатых невест в Париже. Эх, кабы знать! Смерть – та же азартная игра! Правда, что Викторина поглядывала на тебя благоклонно?

– молчи, Бьяншон, я не женюсь на ней никогда. Я люблю прелестную женщину, любим ею, я...

– Ты все это говоришь так, точно изо всех сил стараешься не изменить ей. Покажи-ка мне такую женщину, ради которой стоило бы отказаться от состояния досточтимого Тайфера.

– Неужели меня преследуют все демоны? – воскликнул Растиньяк.

– Где ты их видишь? Что ты, с ума сошел? Дай руку, я пощупаю пульс, сказал Бьяншон. – У тебя лихорадка.

– Ступай к мамаше Воке, – ответил Растиньяк, – там этот разбойник Вотрен упал замертво.

– А-а! Ты подтверждаешь мои подозрения; пойду проверю, – сказал Бьяншон, оставляя Растиньяка в одиночестве.

Долгая прогулка студента-юриста носила торжественный характер. Можно сказать, что он обследовал свою совесть со всех сторон. Правда, он долго размышлял, взвешивал, колебался, но все же его честность вышла из этого жестокого и страшного испытания прочной, как железная балка, способная выдержать любую пробу. Он вспомнил вчерашние признания папаши Горио, вынул в своей памяти квартиру на улице д'Артуа, подысканную для него Дельфиной, вынул ее письмо, перечел и поцеловал.

«Такая любовь – мой якорь спасения, – подумал он. – Бедный старик много выстрадал душой. Он ничего не говорит о своих горестях, но кто не догадается о них! Хорошо, я буду заботиться о нем, как об отце, постараюсь доставить ему побольше радостей. Раз Дельфина меня любит, она будет часто приходить ко мне и проводить с ним день. А важная графиня де Ресто – дрянь, она способна сделать отца своим швейцаром. Милая Дельфина! Она гораздо лучше относится к старику и достойна любви. Сегодня вечером я буду, наконец, счастлив».

Он вынул часы и залюбовался ими.

«Все так удачно сложилось для меня! Когда полюбишь сильно, навсегда, то допустимо и помогать друг другу, следовательно я могу принять этот подарок. Кроме того, я добьюсь успеха и верну ей все сторицей. В нашей связи нет ничего преступного, ничего такого, от чего может насу-

питья даже самая строгая добродетель. Сколько порядочных людей заключает подобные союзы! Мы никого не обманываем, а унижает человека именно ложь. Лгать – значит отрекаться от себя! Она уже давно живет раздельно с мужем. Да я и сам потребую от эльзасца уступить мне эту женщину, раз он не может дать ей счастье».

В душе Эжена шла долгая борьба. Победа осталась за лучшими влечениями юности, но все же, подстрекаемый непреодолимым любопытством, он в половине пятого, когда уже смеркалось, явился в «Дом Воке», дав, впрочем, себе клятву уехать оттуда навсегда. Эжен хотел узнать, умер Вотрен или жив. Бьяншону пришла в голову мысль дать Вотрену рвотного, после чего он велел отнести рвотные извержения к себе в больницу, чтобы сделать химический анализ. Подозрение его окрепло, когда он увидел, с какой настойчивостью мадмуазель Мишоно стремилась выбросить их в помойку. Ко всему прочему Вотрен оправился уж очень быстро, и Бьяншон заподозрил какой-то заговор против веселого затейщика их пансиона. К приходу Растиньяка Вотрен был уже в столовой и стоял у печки. Известие о дуэли сына Тайфера, желание узнать подробности этого события и его последствия для Викторины привлекли нахлебников раньше обычного времени: собрались все, кроме папаши Горио, и теперь обсуждали происшествие. Когда Эжен вошел, глаза его встретились со взглядом невозмутимого Вотрена, и этот взгляд проник Эжену в душу так глубоко, с такую силой рванул в ней струны низких чувств, что Растиньяк вздрогнул.

– Итак, мой милый мальчик, – обратился к нему беглый каторжник, Курносой еще долго не справиться со мной. Как уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар, который прикончил бы даже вола.

– О! Вы можете вполне сказать – быка! – воскликнула вдова Воке.

– Может быть, вас огорчает, что я остался жив? – сказал Вотрен на ухо Эжену, точно проникнув в его мысли. – Это было бы достойно чертовски сильного человека!

– Ах, да, – вмешался Бьяншон, – третьего дня мадмуазель Мишоно говорила о некоем господине по прозвищу Обмани-смерть; такая кличка очень подошла бы к вам.

Это сообщение подействовало на Вотрена, как удар молнии. Он побледнел и зашатался, его магнетический взгляд, подобно солнечному лучу упав на мадмуазель Мишоно, как бы потоком излученной воли сбил ее с ног. Старая дева рухнула на стул. Пуаре поторопился стать между нею и Вотреном, сообразив, что ей грозит опасность, – такой свирепостью дышало лицо каторжника, когда он сбросил маску добродушия, скрывавшую его подлинную сущность. Нахлебники остолбенели, еще не понимая, в чем заключалась драма. В это мгновение на улице послышались шаги нескольких человек и звякнули о мостовую ружья, опущенные солдатами к ноге. Пока Коллен произвольно искал выхода, посматривая на окна и на стены, четыре человека появились в дверях гостиной. Первым стоял начальник сыскной полиции, за ним три полицейских.

– Именем закона и короля... – произнес один из полицейских, но конец его речи был заглушен рокотом изумления.

Потом настала тишина, и нахлебники расступились, давая дорогу: вошло трое полицейских; каждый из них, опустив руку в карман, держал в ней пистолет со взведенным курком. Два жандарма, войдя следом за представителями полиции, стали у порога, два других показались у двери со стороны лестницы. Шаги солдат и звяканье ружей послышались на мощеной дорожке, шедшей вдоль фасада. О бегстве не могло быть и речи, – и взоры всех невольно приковались к Обмани-смерть. Начальник полиции, подойдя к Вотрену, ударил его по голове так сильно, что парик слетел, и голова Коллена явилась во всем своем отталкивающем виде. Кирпично-красные коротко подстриженные волосы придавали его голове, его лицу, прекрасно сочетавшимся с его могучей грудью, жуткий характер какой-то коварной силы, выразительно освещая их как бы отсветом адского пламени. Все поняли Вотрена, его прошлое, настоящее и будущее, его жестокие воззрения, культ своего произвола, его господство над другими благодаря цинизму его мыслей и поступков, благодаря силе организма, приспособленного ко всему. Кровь бросилась в лицо Коллену, глаза его горели, как у дикой кошки. Он подпрыгнул на месте в таком свирепом и мощном порыве, так зарычал, что нахлебники вскрикнули от ужаса. При этом львином движении полицейские воспользовались переполохом и выхватили из карманов пистолеты. Заметив блеск взведенных курков, Коллен понял опасность и в один миг показал, как может быть огромна у человека сила воли.

Страшное и величественное зрелище! Лицо его отобразило поразительное явление, сравнимое только с тем, что происходит в паровом котле, когда сжатый пар, способный поднять горы, от одной капли холодной воды мгновенно оседает. Каплей холодной воды, охладившей ярость каторжника, послужила одна мысль, быстрая, как молния. Он усмехнулся и поглядел на свой парик.

– Прошли те времена, когда ты бывал вежлив, – сказал он начальнику тайной полиции. И, кивком головы подозвав жандармов, вытянул вперед руки. Милостивые государи, господа жандармы, наденьте мне наручники. Беру в свидетели присутствующих, что я не оказал сопротивления.

Быстрота, с какой огонь и лава вырвались из этого человеческого вулкана и снова ушли внутрь, изумила всех, и шопот восхищения пронесся по столовой.

– Карта бита, господин громила, – продолжал Коллен, глядя на знаменитого начальника сыскной полиции.

– Ну, раздеться! – презрительно прикрикнул на него человек из переулка Сент-Анн.

– Зачем? – возразил Коллен. – Здесь дамы. Я не запираюсь и сдаюсь.

Он сделал паузу и оглядел собравшихся, как делают ораторы, намереваясь сообщить поразительные вещи.

– Пишите, папаша Ляшапель, – обратился он к седому старичку, который пристроился на конце стола и вытащил из портфеля протокол ареста. – Признаю: я – Жак Коллен, по прозвищу Обмани-смерть, приговоренный к двадцати годам заключения в окопах, и только что я доказал, что это прозвище ношу не даром. – Затем, обращаясь к нахлебникам, пояснил: – Пошевели я лишь пальцем, и вот эти три шпики выпустили бы из меня *клюквенный сок на домашний проспект* маменьки Воке. Чудаки! Туда же, берутся подстраивать ловушки!

Услыхав такие страсти, г-жа Воке почувствовала себя дурно.

– Господи! От этого можно заболеть! Я же с ним была вчера в театре Гетэ, – пожаловалась она Сильвии.

– Немножко философии, мамаша, – продолжал Коллен. – Что за беда, если вчера в Гетэ вы были в моей ложе? – воскликнул он. – Разве вы лучше нас? То, что заклеило нам плечо, не так позорно, как то, что заклеило душу вам, дряблым членам пораженного гангреной общества; лучший из вас не устоял против меня.

Коллен перевел глаза на Растиньяка, ласково улыбнувшись ему, что странно противоречило суровому выражению его лица.

– Наш уговор, мой ангел, остается в силе, – разумеется, в случае согласия! Чьего? Понятно. – И он пропел:

Мила моя Фаншета  
Сердечной простотой...

– Не беспокойтесь, – продолжал он, – что мне причитается, я сумею получить. Меня слишком боятся и не обчистят!

Каторга с ее нравами и языком, с ее резкими переходами от шутовского к ужасному, ее страшное величие, ее бесцеремонность, ее низость – все проявилось в этих словах и в этом человеке, представлявшем теперь собою уже не личность, а тип, образец выродившейся породы, некоего дикого и умного, хищного и ловкого племени. В одно мгновение Коллен стал воплощением какой-то адской поэзии, где живописно выразились все человеческие чувства, кроме одного: раскаяния. Взор его был взором падшего ангела, неукротимого в своей борьбе. Растиньяк опустил глаза, принимая его позорящую дружбу как искупление своих дурных помыслов.

– Кто меня предал? – спросил Коллен, обводя присутствующих грозным взглядом, и, остановив его на мадмуазель Мишоно, сказал: – Это ты, старая вобла? Ты мне устроила искусственный удар, шпионка? Стоит мне сказать два слова, и через неделю тебе перепилят глотку. Прощаю тебе, я христианин. Да и не ты предала меня. Но кто?.. Эй! Эй! что вы шарите там наверху! – крикнул он, услышав, что полицейские взламывают у него в комнате шкапы и забирают его вещи. – Птенчики вылетели из гнезда еще вчера. И ничего вам не узнать. Мои торговые книги здесь, – сказал

он, хлопнув себя по лбу. – Теперь я знаю, кто меня предал. Не иначе как этот мерзавец Шелковинка. Верно, папаша взломщик? – спросил Коллен начальника полиции. – Все это уж очень совпадает с тем, что наши кредитки прятались там наверху. Теперь, голубчики шпики, там нет ничего. Что до Шелковинки, то приставьте к нему хоть всех жандармов для охраны, а не пройдет и двух недель, как его пришьют. Сколько вы дали Мишонетке? – спросил Коллен у полицейских. – Несколькo тысяч? Я стою больше. Эх ты, гнилая Нинон, Венера Кладбищенская, Помпадур в отрепьях.<sup>73</sup> Кабы ты меня предупредила, у тебя было бы шесть тысяч. А-а! Старая торговка человечим мясом, ты этого не смекнула, а то сторговалась бы со мной. Я бы дал их, чтобы избежать путешествия, которое мне совсем некстати и причинит большой убыток, – говорил он, пока ему надевали наручники. – Теперь эти молодчики себя потешат и будут без конца таскать меня, чтобы измаять. Отправь они меня на каторгу сейчас же, я скоро бы вернулся к своим занятиям, несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной.<sup>74</sup> На каторге все вылезут из кожи вон, только б устроить побег своему генералу, своему милому Обмани-смерть! У кого из вас найдется, как у меня, больше десяти тысяч собратьев, готовых для вас на все? – спросил он гордо. – Тут есть кое-что хорошее, – добавил он, ударив себя в грудь, – я не предавал никого и никогда! Эй ты, вобла, – обратился он к старой деве, – посмотри на них. На меня они глядят со страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит от омерзения. Получай то, что заслужила.

Он замолчал, поглядывая на нахлебников.

– Какой у вас дурацкий вид! Никогда не видели каторжника? Каторжник такой закалки, как Коллен, тот самый, что перед вами, – это человек, менее трусливый, чем остальные люди, он протестует против коренных нарушений общественного договора, о котором говорил Жан-Жак, а я горжусь честью быть его учеником. Я один против правительства со всеми его жандармами, бюджетами, судами и вожу их за нос.

– Черт побери! Он так и просится на картину, – заметил художник.

– Ты, дядька его высочества палача, гофмейстер Вдовы (такое прозвище, овеванное поэзией ужаса, дали каторжники гильотине), – сказал Коллен, оборачиваясь к начальнику сыскной полиции, – будь добр, подтверди, если меня предал Шелковинка! Я не хочу, чтобы он расплачивался за другого, это было бы несправедливо.

В это время полицейские, все перерыв у него в комнате и составив опись, вернулись и стали шопотом докладывать начальнику. Допрос закончился.

– Господа, – обратился Коллен к нахлебникам, – сейчас меня уведут. Пока я жил здесь, вы были все со мной любезны, я сохраню признательность за это. Примите мой прощальный привет. Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод.<sup>75</sup>

Он сделал несколько шагов, но обернулся взглянуть на Растиньяка.

– Прощай, Эжен, – сказал он нежным и грустным тоном, так поразительно непохожим на грубый тон его речей. – На случай, если тебе придется трудно, я оставляю тебе преданного друга.

Несмотря на наручники, он все же встал в позицию, притопнул ногой, как учитель фехтования, и, крикнув: «Раз, два!», сделал выпад.

– Попадешь в беду, обращайся туда. И он сам и деньги в полном твоём распоряжении.

Этот необычайный человек вложил в последние слова столько шутовства, что смысл их был ясен только ему и Растиньяку. Когда жандармы, солдаты и полицейские вышли из дому, Сильвия, натирая уксусом виски своей хозяйке, взглянула на опешивших нахлебников.

– Что там ни говори, – заметила она, – а человек он был хороший.

Ее слова заставили очнуться всех присутствующих, завороченных наплывом разнообразных

<sup>73</sup> Нинон де Ланкло (1620–1705) – французская куртизанка. Маркиза де Помпадур (1721–1764) – фаворитка Людовика XV.

<sup>74</sup> «...несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной». – Имеются в виду сыщики: к Ювелирной набережной примыкает префектура полиции.

<sup>75</sup> «Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод». – Вотрен иронизирует по поводу предстоящей ему отправки на каторгу, на юг Франции.



впечатлений от этого события; все поглядели друг на друга, и сразу все заметили сухую, тощую, заоченелую, как мумия, мадмуазель Мишоно: она прижалась к печке и стояла, потупив взор, словно боялась, что тень от козырька слишком прозрачна и не укроет выражения ее глаз.

Эта личность, и раньше не возбуждавшая ничьей приязни, вдруг раскрылась. Раздался глухой ропот, дружно выразивший общее чувство омерзения.

Мадмуазель Мишоно все это слышала, но осталась в комнате. Бьяншон первый наклонился к своему соседу и вполголоса сказал:

– Если эта тварь будет попрежнему обедать с нами, я перекочую в другое место.

Тотчас же все, кроме Пуаре, присоединились к решению студента, и Бьяншон, опираясь на общее сочувствие, направился к старику-жильцу.

– Вы особенно близки с мадмуазель Мишоно, – сказал он, – поговорите с ней и внушите, что она должна уйти сейчас же.

– Сейчас же? – удивленно повторил Пуаре.

Затем он подошел к старой деве и сказал ей несколько слов на ухо.

– Но я заплатила вперед за месяц, я живу здесь за свои деньги, как и все, – ответила она, бросая на нахлебников гадючий взгляд.

– Это ничего не значит. Мы сложимся и вернем вам деньги, – сказал Растиньяк.

– Господин де Растиньяк, конечно, на стороне Коллена, – ответила она, испытующе и ядовито глядя на студента, – нетрудно догадаться почему.

Эжен рванулся, как будто хотел броситься на старую деву и задушить ее. Он понял все коварство этого взгляда, осветившего ужасным светом его душу.

– Не связывайтесь с ней! – крикнули нахлебники.

Растиньяк скрестил руки на груди и затих.

– Давайте покончим с мадмуазель Иудой, – обратился художник к вдове Воке. – Если вы не выгоните Мишоно, мы все уйдем из вашей лавочки и будем всюду говорить, что в ней живут лишь каторжники да шпионы. В случае же вашего согласия мы будем молчать об этом происшествии, ведь в конце концов оно возможно и в самом лучшем обществе, пока не будут ставить каторжникам клеймо на лбу, не запретят им принимать обличье парижских обывателей и морочить людей, как они это делают.

Услыхав такое требование, г-жа Воке чудесным образом выздоровела: она выпрямилась, скрестила руки на груди, широко раскрыла свои стеклянные глаза, где не было ничего похожего на слезы.

– Вы что же, дорогой мой, собираетесь разорить мой дом? Вот уж и господин Вотрен... Ах, господи! – прервала она себя. – Не могу удержаться, чтоб не называть его именем порядочного человека. Вот уже одна комната свободна, а вы хотите, чтобы у меня в доме сдавались еще две, да еще в такое время, когда все устроились.

– Господа, берите шляпы, идемте обедать на площадь Сорбонны, к Фликото, – предложил Бьяншон.

Вдова Воке сразу прикинула, что выгоднее, и подкатилась к мадмуазель Мишоно.

– Послушайте, моя красотка, вы ж не дадите погнать моему заведению, не правда ли? Видите, к чему вынуждают меня эти господа... Уйдите к себе в комнату на этот вечер.

– Вовсе не то, не то, закричала нахлебники, – мы хотим, чтобы она совсем уехала отсюда, и немедленно!

– Но бедная мадмуазель еще не обедала, – жалобно взмолился Пуаре.

– Пусть обедает, где хочет! – крикнули нахлебники.

– За дверь сыщицу!

– За дверь сыщиков!

– Господа, – воскликнул Пуаре, вдруг возвышаясь до той храбрости, которую внушает любовь даже баранам, – имейте уважение к ее полу.

– У сыщиков нет пола, – возразил художник.

– Вот так полорама!

– За дверераму!

– Господа! Это непристойно. Если уж отказывать людям от дома, то надо это делать, соблюдая приличия. Мы заплатили деньги, мы остаемся, – заявил Пуаре, надевая фуражку и сядя на стул рядом с мадмуазель Мишоно, в то время как Воке все продолжала уговаривать ее.

– Ах, шалун, – шутливо сказал ему художник, – ах, шалунишка!

– Ладно, раз не уходите вы, тогда уходим мы, – заявил Бьяншон.

И все нахлебники двинулись толпой к гостиной.

– Мадмуазель, что вы делаете? – воскликнула Воке. – Я разорена. Вам нельзя оставаться: в конце концов они прибегнут к силе.

Мадмуазель Мишоно встала со стула.

– Уйдет!

– Не уйдет!

– Уйдет!

– Не уйдет!

Эти выкрики, следовавшие один за другим, и замечания враждебного характера вынудили мадмуазель Мишоно уехать после некоторых переговоров шопотом с хозяйкой.

– Я переезжаю к госпоже Бюно, – угрожающе заявила она.

– Переезжайте куда угодно, мадмуазель, – ответила вдова Воке, жестоко оскорбленная этим выбором, так как пансион Бюно соперничал с «Домом Воке», а следовательно, был ей ненавистен. – Переезжайте к Бюно, там вас будут поить таким вином, что все лицо сведет на сторону, да кормить всякой дрянью.

Нахлебники в гробовом молчании выстроились двумя рядами. Пуаре так нежно взглянул на мадмуазель Мишоно, так простодушно проявил нерешительность, не зная, должен ли он следовать за ней или остаться, что нахлебники, обрадованные отъездом старой девы, начали переглядываться и смеяться.

– Кис-кис-кис, Пуаре! – крикнул ему художник. – Ну, раз, два, три гоп-ля, гоп!

Чиновник из музея комически пропел начало известного романса:

Как в Сирию собрался  
Красавец Дюнуа...

– Ну же, ведь вам до смерти хочется, – *trahit sua quemque voluptas*,<sup>76</sup> сказал Бьяншон.

– Каждый бежит за своей подружкой – таков вольный перевод этих слов Вергилия, – добавил репетитор.

Мадмуазель Мишоно посмотрела на Пуаре и показала жестом, будто берет кого-то под руку; Пуаре не устоял против этого призыва, подошел к ней и предложил ей руку.

Раздался взрыв хохота и гром аплодисментов.

– Браво, Пуаре!

– Ай да старик Пуаре!

– Аполлон Пуаре!

– Марс Пуаре!

– Молодчина Пуаре!

В эту минуту вошел посыльный и передал г-же Воке письмо; прочтя его, она бессильно опустилась на стул.

– Остается только сжечь мой дом, на него рушатся все громы небесные. В три часа умер сын Тайфера. Я наказана за то, что желала добра госпоже Кутюр и Викторине ценой несчастья бедного молодого человека. Теперь эти дамы просят отдать их вещи и остаются жить у Тайфера-отца. Он разрешил дочери поселить у себя вдову Кутюр в качестве компаньонки. Четыре помещения свободны, пяти жильцов как не бывало! Уж вот беда так беда! – чуть не плача, воскликнула г-жа Воке.

Шум экипажа, слышавшийся на улице, вдруг смолк у дома.

---

<sup>76</sup> Каждого влечет его страсть (лат.).

– Еще какая-нибудь напасть, – сказала Сильвия.

Неожиданно появился Горио; его лицо светилось счастьем, стало цветущим, старик точно переродился.

– Горио – в фиакре! – удивились нахлебники. – Да это светопреставление!

Старик прямо направился в тот угол, где задумчиво стоял Эжен, взял его за руку и весело сказал:

– Идемте.

– Так вы не знаете, что здесь произошло? – ответил Растиньяк. – Вотрен оказался каторжником, его сейчас арестовали, а сын Тайфера умер.

– А нам-то что до этого! – возразил папаша Горио. – Я с дочерью обедаю у вас, вы это понимаете? Она вас ждет, идемте!

Он с такой силой тащил Эжена за руку, понуждая его идти, как будто похищал любовницу.

– Давайте обедать! – крикнул художник.

Все взяли стулья и уселись за стол.

– Вот тебе раз, – сказала толстуха Сильвия, – сегодня одно горе, да и только, – вот и у меня баранина с репой подгорела. Ну, будете кушать горелое, ничего не сделаешь!

Вдова Воке была не в силах выговорить ни слова, видя за столом вместо восемнадцати нахлебников лишь десять, но все старались ее утешить и развеселить. Сначала заговорили о Вотрене и событиях дня, но вскоре, следуя извилистому ходу беседы, перешли на вопросы о дуэлях, каторге, судах, о несовершенстве законов и о тюрьмах. В конце концов собеседники на тысячу лье отделились от Жака Коллена, Викторины, ее брата, и, хотя их было только десять, они кричали громче двадцати: казалось, что собралось народу больше, чем обыкновенно; в этом и заключалась вся разница между нынешним обедом и вчерашним. У этого эгоистического люда, который завтра же найдет для себя новую поживу среди парижских каждодневных происшествий, его обычная беспечность взяла верх; даже сама г-жа Воке поддалась надежде, звучавшей в голосе толстухи Сильвии, и успокоилась.

Весь этот день, с утра до вечера, представлялся Растиньяку какой-то фантасмагорией; несмотря на силу своего характера и крепкую голову, он, даже сидя в фиакре рядом с папашей Горио, все еще не был в состоянии привести в порядок свои мысли, и после стольких тревожных разговоров, которые слышишь сквозь сон.

– Все закончено еще утром. Мы будем обедать втроем, вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с Дельфиной, с моей Фифиной, теперь она будет со мной весь вечер. Мы с самого утра у вас. Сняв сюртук, я работал, как поденщик. Я помогал носить мебель. О, вы не знаете, какой милой Фифина бывает за столом, как она будет внимательна ко мне: «Папа, покушайте вот этого, это вкусно!» А когда она такая – я не в силах есть. Да, давно мне не было с ней так хорошо, спокойно, как теперь!

– Значит, сегодня весь мир перевернулся? – сказал ему Эжен.

– Перевернулся? – удивился папаша Горио. – Да никогда не было так хорошо на свете! На улицах я вижу лишь радостные лица, только людей, которые жмут друг другу руки и целуются, таких счастливых, точно все они идут к своим дочкам лакомиться обедом, таким же вкусным, как и тот, что заказала при мне Фифина главному повару «Английского кафе». Да при ней и редька покажется слаще меда.

– Я, кажется, прихожу в себя, – сказал Эжен.

– Извозчик, ну же, двигайтесь! – крикнул папаша Горио, подняв переднее стекло. – Прибавьте ходу, я дам вам сто су на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам сказано.

Услышав такое обещание, извозчик помчался во всю прыть.

– Он же не двигается с места, – говорил папаша Горио.

– А куда вы меня везете? – спросил Растиньяк.

– К вам, – ответил папаша Горио.

Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел первым и бросил кучеру десять франков с расточительностью какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслаждения – все нипочем!

– Ну, идемте, – сказал он Растиньяку и, обогнув через двор новый красивый дом, с заднего фасада привел Эжена к дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не пришлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, открыла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и по изяществу всей обстановки выдержала бы любое сравнение, и там при свете восковых свечей Эжен увидел Дельфину, сидевшую перед камином на козетке; она встала, положила ручной экран на доску камина и тоном глубокой нежности сказала Растиньяку:

– Оказывается, за вами надо посылать, господин недогада!

Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений, за один день истомивших ум и сердце, резкий переход от зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка приступ нервической чувствительности.

– Я отлично знал, что он тебя любит, – шопотом говорил дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, лежа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе отчет, откуда появилось это волшебство.

– Да идите же посмотрите, – сказала ему г-жа де Нусинген и, взяв его за руку, привела в комнату, которая мебелью, коврами и даже мелочами убранства напоминала комнату самой Дельфины, но была поменьше.

– Недостают только кровати, – заметил Растиньяк.

– Да, – ответила она ему, краснея и пожимая руку.

Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько истинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.

– Вы принадлежите к женщинам, достойным поклонения, – сказал Эжен ей на ухо. – Мы так хорошо понимаем друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем искреннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.

– Я-то не никто, – проворчал Папаша Горио.

– Вы отлично знаете, что вы – это мы...

– Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать на меня внимания? Я буду уходить и приходить, как добрый дух, – его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифиночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил: «На улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай ее обставим для него»? А ты все не хотела. Я твой родитель, я стал и устройтеlem твоего счастья! Отцы всегда должны дарить, чтобы наслаждаться отцовской радостью. Всегда дари! Вот твое дело, раз ты отец.

– Как так? – сказал Эжен.

– Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том, что сделала она...

Папаша Горио говорил в одиночестве – г-жа де Нусинген увела Эжена в кабинет, где тотчас же раздался хотя и очень осторожный, но все же слышный поцелуй. И эта комната своим изяществом не уступала остальной квартире, где было все безукоризненно.

– Удалось ли предугадать ваши желания? – спросила г-жа де Нусинген, возвращаясь в гостиную, чтобы сесть за стол обедать.

– Чересчур хорошо, – ответил он. – Увы! все это совершенство роскоши, этот прекрасный сон, осуществленный наяву, всю эту поэзию молодой красивой жизни я чувствую так тонко, что был бы их достоин, но принять это от вас я не могу, а сам я пока слишком беден, чтобы...

– Ах, так! Вы мне уже перечите? – сказала она с очаровательной гримаской, шутивно-властным тоном, как говорят женщины, когда хотят высмеять чью-нибудь щепетильность, чтобы ее успокоить.

Но Растиньяк подверг себя в тот день слишком серьезному допросу, да и арест Вотрена, раскрыв перед ним бездну, куда он был готов скатиться, настолько укрепил в Эжене благородные чувства и нравственную щекотливость, что он не мог уступить Дельфине, ласково отвергавшей его возвышенные соображения. Им овладела глубокая печаль.

– Как, неужели вы откажетесь? – спрашивала г-жа де Нусинген. – Вы сознаете смысл подобного отказа? Вы не верите в будущее, вы не решаетесь связать себя со мной. Значит, вы боитесь,



что обманете мое чувство к вам? Если вы любите меня, если я... люблю вас, что запрещает вам принять такую пустячную услугу? Если бы вы знали, с каким удовольствием я устраивала все это хозяйство холостяка, вы бы не колебались и попросили у меня прощения. У меня были ваши деньги, я их истратила на дело, вот и все. Вы воображаете, что вы великодушны, а вы мелочны. Вам хочется гораздо большего... Ах! – вздохнула она, уловив страстный взгляд Эжена, –...вы церемнитесь из-за пустяков! Если вы не любите меня – о, тогда, конечно, откажитесь. Моя судьба зависит от одного вашего слова. Говорите!.. Ну же, папа, убедите его как-нибудь, – сказала она, обращаясь к своему отцу после минутного молчания. – Неужели он думает, что в вопросах чести я менее чутка, чем он?

Папаша Горио с застывшей улыбкой наркомана смотрел на них, наблюдая эту милую размовку.

– Дитя, вы только вступаете в жизнь, – продолжала она, взяв за руку Эжена, – перед вами преграда, непреодолимая для многих, и вот рука женщины устраняет ее с вашего пути, а вы пятитесь назад! Но у вас все впереди, вы составите себе блестящее состояние, успех начертан на вашем красивом челе. Разве вы не сможете тогда вернуть мне то, что я сегодня даю вам заимообразно? Разве дамы в былые времена не дарили своим рыцарям мечи, кольчуги, доспехи, шлемы и коней, чтобы рыцари могли во имя своих дам сражаться на турнирах? Послушайте, Эжен, то, что я предлагаю вам, это и есть оружие нашей эпохи, необходимое каждому, кто хочет стать величиной. Хорош же тот чердак, где вы живете, если он похож на комнату отца! Значит, обедать мы не будем? Вы хотите огорчить меня? Отвечайте же! – воскликнула она, дергая его за руку. – Боже мой! Папа, уговори его, или я уйду и не увижусь с ним больше никогда.

– Сейчас я вас уговорю, – сказал папаша Горио, выходя из своего восторженного состояния. – Дорогой мой господин Эжен, вы ведь занимаете деньги у евреев, так?

– Приходится, – ответил Растиньяк.

– Отлично, вот вы и попались, – продолжал старик, вынимая дрянной потрепанный кожаный бумажник. – Я сам сделался евреем: все счета оплатил я, – вот они. За все, что здесь находится, вы не должны ни одного сантима. Сумма небольшая – самое большее пять тысяч франков, и я даю их вам взаймы, а я не женщина, и от меня вы не откажетесь принять. На клочке бумаги вы мне напишете расписку, а деньги отдадите после.

Эжен и Дельфина с удивлением взглянули друг на друга, и на глаза их навернулись слезы. Растиньяк горячо пожал руку старику.

– Ну, что тут такого! Разве вы не мои дети? – сказал папаша Горио.

– Милый папа, но как же вы это сделали? – спросила г-жа де де Нусинген.

– А-а, в этом-то вся штука! Когда я уж убедил тебя поселить его поближе, я стал замечать, что ты покупаешь вещи точно для невесты, и сказал себе: «Так она запутается!» Ведь наш поверенный утверждает, что судебное дело против твоего мужа о возврате твоего состояния продлится больше полугода. Ладно! Я взял да продал мою бессрочную ренту в тысячу триста пятьдесят франков годового дохода: пятнадцать тысяч внес за пожизненный доход в тысячу двести франков, вполне обеспеченный недвижимостью, а из остальных денег заплатил, дети мои, вашим поставщикам. Здесь наверху я снял комнатку за сто пятьдесят франков в год; на сорок су в день я буду жить по-княжески, да еще кое-что будет оставаться. Платья мне почти не нужно, мне и старого не износить. Целых две недели я все посмеиваюсь втихомолку, говоря себе: «Уж и будут они счастливы!» Ну, а разве вы не счастливы?

– О папа, папа! – воскликнула г-жа де Нусинген, прыгнув на колени к отцу.

Дельфина осыпала его поцелуями, ласково прижималась белокурой головой к его щекам и орошала слезами старческое сияющее, ожившее лицо.

– Милый папочка! Да, вы настоящий отец! Другого такого нет на свете. Эжен любил вас и раньше, как же он будет вас любить теперь!

Папаша Горио уже десять лет не ощущал у своего сердца биения сердца дочери.

– Полно, дети мои, полно, Дельфина, – говорил он, – ты доведешь меня до того, что я умру от радости! Сердце мое готов разорваться. Слушайте, господин Эжен, мы с вами уже в расчете!

И старик сжал дочь в своих объятиях так неистово, так резко, что она вскрикнула:

– Ой, ты делаешь мне больно!

– Я сделал тебе больно, – сказал он побледнев.

Отец смотрел на нее с нечеловеческим страданием. Чтоб описать лицо этого Христа-отца, пришлось бы поискать сравнений среди образов, созданных великими мастерами кисти для изображения муки, которую претерпел спаситель человечества за благо всего мира. Папаша Горио бережно поцеловал дочь в то место, где его пальцы нажали слишком сильно ее талию.

– Нет, нет, я не сделал тебе больно, – говорил он с вопрошающей улыбкой, – а вот ты своим криком мне причинила боль. – Осторожно поцеловав дочь, он шепнул ей на ухо: – Все стоит дороже, но надо же отвести ему глаза, а то, чего доброго, он еще рассердится.

Эжен был потрясен беззаветной самоотверженностью старика и взирал на него с наивным и откровенным восхищением, которое охватывает молодые души каким-то священным трепетом.

– Я буду достоин всего этого! – воскликнул он.

– Милый Эжен, как прекрасно то, что вы сейчас сказали! – и г-жа де Нусинген поцеловала его в лоб.

– Ради тебя он отказался от мадмуазель Тайфер и ее миллионов, – добавил папаша Горио. – Да, девочка любила вас; брат ее умер, и теперь она богата, как Крез.

– Зачем было говорить об этом? – упрекнул его Растиньяк.

– Эжен, – шепнула ему на ухо Дельфина, – теперь весь вечер мне будет грустно. О, я буду вас любить всегда.

– Вот мой лучший день со времени вашего замужества! – воскликнул Горио. – Пусть бог посылает мне любые страдания, лишь бы не страдания за вашу судьбу, а я все буду твердить себе: «В феврале этого года я на одну минуту был так счастлив, как другим людям не доводится за всю их жизнь». Взгляни на меня, Фифина! – обратился он к дочери. – Разве она не красавица? Скажите мне на милость, встречали вы когда-нибудь женщину с таким цветом лица и с такой ямочкой на подбородке? Нет? Правда, нет? Это я создал такую прелесть! теперь же благодаря вам она будет счастлива и станет в тысячу раз красивее. Если вам, дорогой сосед, нужно в раю мое место, уступаю его вам, а я могу пойти и в ад. Давайте есть, давайте есть, здесь все наше, – вдруг заявил он, уже не зная, что сказать.

– Милый папа!

Он встал, подошел к дочери, взял в руки ее голову и, целуя в пробор, сказал:

– Дитя мое, если бы ты знала, сколько счастья ты можешь дать мне без труда! Я буду жить там наверху; что тебе стоит сделать каких-нибудь два шага и зайти ко мне? Ты обещаешь, да?

– Да, милый папа.

– Повтори.

– Да, милый папа.

– молчи, а то я дам себе волю и заставлю тебя повторить это сотню раз. Давайте обедать.

Весь вечер прошел в ребячествах, причем папаша Горио дурачился не меньше, чем другие. Он ложился у ног дочери и целовал их, смотрел подолгу ей в глаза, терся головой об ее платье, – словом, творил такие безрассудства, на какие способен только любовник, самый нежный, самый юный.

– Вы видите? – шепнула Дельфина Растиньяку. – Когда отец мой с нами, надо всецело принадлежать ему. А ведь это будет иногда очень стеснять.

Эжен, в котором не один раз вспыхивала ревность, не мог осудить ее за эту мысль, содержащую в себе зачатки черной неблагодарности.

– А когда же квартира будет окончательно готова? – спросил Эжен, оглядывая комнату. – Значит, сегодня нам приходится расстаться!

– Да, но завтра вы обедаете у меня, – ответила Дельфина с лукавым видом. – Завтра Итальянская опера.

– Я пойду в партер, – заявил папаша Горио.

Настала полночь. За Дельфиной приехала карета. Студент и папаша Горио направились в «Дом Воке» и, разговаривая о Дельфине, все больше и больше восхищались ею, что превратило их беседу в своеобразный словесный поединок между двумя всемогущими страстями. Эжен не мог

скрыть от себя, что отцовская любовь, чуждая всякого эгоистического интереса, затмевала его любовь своей неколебимостью и глубиной. Для отца кумир оставался неизменно чистым и прекрасным, и обожание укреплялось не только мыслями о будущем, но и всем прошлым.

Придя домой, они застали вдову Воке сиротливо сидящей у печки лишь в обществе Сильвии и Кристофа. Старуха хозяйка напоминала Мária среди развалин Карфагена. Она поджидала двух оставшихся у нее жильцов, изливая перед Сильвией свое горе. Как ни красноречивы жалобы на жизнь, которые лорд Байрон вложил в уста своего Тассо, но им далеко до жизненной правды, звучащей в сетованиях вдовы Воке.

– Сильвия, значит, завтра утром придется готовить только три чашки кофе. Каково! Дом опустел; прямо сердце разрывается на части. Что за жизнь без нахлебников? Ничто. Обезлюдел мой дом. В пустом доме нет жизни. Чем я грешна перед богом, что накликала на себя все эти беды? Запас-то фасоли и картофеля сделан на двадцать человек. У меня в доме – и вдруг полиция! Ведь нам придется есть одну картошку! Надо будет рассчитать Кристофа.

Спавший савояр<sup>77</sup> встрепенулся и спросил:

– Что прикажете?

– Бедный парень! Он вроде как сторожевой пес, – заметила Сильвия.

– Время глухое, все пристроились. Откуда же возьмутся у меня жильцы? Я сойду с ума. А тут еще эта ведьма Мишоно уволокла от меня Пуаре. Чем она ему так угодила, чем так привязала его к себе, что он бегаёт за ней, точно собачонка?

– Ну, еще бы! Эти старые девки знают, чем взять, – ответила Сильвия, неодобрительно покачивая головой.

– Бедного господина Вотрена обратили в каторжника... А знаешь, Сильвия, вот что хочешь со мной делай, до сих пор не могу этому поверить. Такой весельчак, пил «глорию» на пятнадцать франков в месяц и за все платил наличными!

– Человек тароватый! – добавил Кристоф.

– Не иначе, как тут ошибка, – заключала Сильвия.

– Да нет, он сам признался, – продолжала вдова Воке. – Скажите на милость, и все это случилось в моем доме, в квартале, где и коты-то не шныряют. Честное слово, я прямо как во сне. Видали мы с тобой и что приключилось с Людовиком Шестнадцатым, и как пал император, и как он вернулся, и как снова пал, – все это мыслимое дело. А ведь против семейных пансионеров не пойдешь: без короля можно обойтись, а есть-то нужно постоянно; и если честная вдова, да еще из рода де Конфлан, кормит разнообразными хорошими обедами, так разве что настанет конец света... Да, так оно и есть, это конец света.

– Подумать только, что всю эту кутерьму наделала мадмуазель Мишоно, и, говорят, получит за это ренту в тысячу экю! – воскликнула Сильвия.

– Не говори мне про нее, это просто мерзавка! – сказала г-жа Воке. – А ко всему прочему, переезжает к Бюно. Да она на все способна, в свое время она наверняка проделывала ужасные вещи, и крада, и убивала. Вот бы кому итти на каторгу вместо того бедняги.

В эту минуту позвонили Эжен и папаша Горио.

– А! Это два моих верных, – со вздохом сказала г-жа Воке.

Оба «верных», сохранившие лишь очень смутное воспоминание о бедствиях, постигших семейный пансион, заявили своей хозяйке, что переезжают жить на Шоссе д'Антен.

– Сильвия, бит мой последний козырь! – воскликнула г-жа Воке. Господа, вы нанесли мне смертельный удар! В самое нутро! Точно кол туда вогнали. Ну и денек! От него состаришься на десять лет. Честное слово, я сойду с ума. Как быть с фасолью? Хорошо же! Раз я остаюсь одна, ты, Кристоф, завтра же получишь расчет. Прощайте, господа, покойной ночи!

– Что с ней такое? – спросил Эжен у Сильвии.

– Ну как же! По случаю этих дел жильцы-то все разъехались. В голове у ней и помутилось. Слушайте, никак плачет. Всплакнет, ей и полегчает. Это впервой, как здесь служу, она слезу пускает.

<sup>77</sup> Уроженец Савойи.

На следующее утро г-жа Воке, по ее выражению, *обдумалась*. Разумеется, как всякая хозяйка, потерявшая всех своих жильцов и пережившая целый переворот в жизни, она была огорчена, но сохранила здравый смысл и показала, какой бывает истинная скорбь, глубокая, вызванная нарушением материальных выгод и привычного уклада. Когда влюбленный покидает те места, где живет его возлюбленная, когда он смотрит на них в последний раз, взор его, несомненно, не так печален, как был печален взор вдовы Воке, когда она глядела на опустевший стол. Эжен стал утешать ее, говоря, что через несколько дней вместо него поселится Бьяншон, у которого кончается срок практики в больнице, да и чиновник из музея неоднократно выражал желание занять комнаты г-жи Кутюр, так что она быстро пополнит состав своих жильцов.

– Дай-то бог, дорогой господин Эжен! Но здесь поселилось несчастье. Увидите, не пройдет и десяти дней, как смерть войдет сюда, – сказала Воке, окидывая столовую зловещим взглядом. – Кого-то унесет она?

– Надо переезжать, – тихонько сказал Эжен папаше Горио.

– Сударыня, уже три дня, как я не вижу Мистигри, – заявила, вбегая, испуганная Сильвия.

– Ах, уж если кот мой умер, если уж он ушел от нас, то я...

Бедная вдова, не кончив фразы, всплеснула руками и откинулась на спинку кресла, совершенно убитая этим ужасным предвещанием.

Около полудня, когда почтальоны разносят письма в районе Пантеона, Эжен получил письмо в изящном конверте, запечатанном печатью с гербом де Босеанов. В конверте лежало приглашение на имя г-жи и г-на Нусинген на большой бал у виконтессы, о котором было известно всем еще за месяц. Приглашение сопровождалось запиской для самого Эжена:

*«Я подумала, что вы с удовольствием возьметесь быть выразителем моих чувств по отношению к г-же де Нусинген. Посылаю вам приглашение, о котором вы просили, и буду счастлива познакомиться с сестрой г-жи де Ресто. Итак, привозите ко мне вашу красавицу, но постарайтесь, чтобы она не завладела всей вашей приязнью, ибо значительную долю этого чувства вы должны уделить мне – в ответ на ту приязнь, какую я питаю к вам.*

*Виконтесса де Босеан».*

«Да, но г-жа Босеан довольно ясно намекает, что присутствие барона Нусингена ей нежелательно», – подумал Эжен.

Он сейчас же отправился к Дельфине, очень довольный тем, что может порадовать ее, и твердо надеясь получить за это достойную награду. Г-жа де Нусинген принимала ванну. Эжен остался ждать в будуаре, терзаясь нетерпением, вполне естественным у пылкого молодого человека, уже два года мечтавшего о том, чтобы у него была возлюбленная. В жизни молодых людей эти переживания неповторимы. У первой женщины, которой увлекается мужчина, женщины, действительно достойной любви, то есть такой, которую он видит всегда в блистательной оправе, предписанной парижским высшим обществом, никогда не будет соперниц. Любовь в Париже совершенно не похожа на провинциальную любовь. Здесь ни мужчин, ни женщин не обманешь показной витриной, где каждый для приличия вывешивает стяг, расписанный пустыми фразами о мнимом бескорыстии своих любовных чувств. Здесь женщина должна не только отвечать всем требованиям нашей чувственной природы и нашей души, она отлично сознает, что главная ее обязанность – соблюдать множество суетных мелочей, из которых и состоит жизнь. В парижской любви так много хвастовства, напыщенности, расточительности, наглости и пустозвонства. Если все дамы при дворе Людовика XIV завидовали мадмуазель де Лавальер, когда этот великий государь в порыве чувства к ней забыл, что каждая его манжета стоит тысячу экю, и разорвал их обе, помогая появлению на свет герцога де Вермандуа, – то чего же требовать от остальных людей? Совместите в себе богатство, юность, знатность, будьте еще удачливее, если можете; чем больше различных благовоний вы сожжете у подножья вашего кумира, тем благосклоннее он будет к вам, – конечно, если у вас есть кумир. Любовь – это религия, и культ ее, наверно, обходится дороже, чем всякий другой: любовь проходит быстро, но, как уличный мальчишка, старается обозначить путь свой разрушением. Богатство чувств – это поэзия живущих на чердаках: без такой роскоши во что там



превратилась бы любовь? Правда, бывают души, изъятые из действия парижских законов, но мы находим их вдали от суетного мира, в тех людях, что не поддались власти общепринятых воззрений, живут где-то там, у чистого источника, быстротекущего, но неиссякаемого, верны своим зеленым кущам и, радостно внимая голосу вселенной, звучащему для них во всей природе и в них самих, ждут терпеливо своего взлета, скорбя о тех, кто приковал себя к земле. Эжен, подобно большинству молодых людей, почувствовавших вкус ко всяким почестям, стремился выступить во всеоружии на арену высшего света: он заразился его горячкой, быть может ощутил в себе достаточную силу, чтобы господствовать над ним, но еще не видел ни средств, ни цели такого честолюбия. Когда нет чистой и святой любви, способной заполнить жизнь, жажда власти может оказаться источником прекрасных дел, – лишь стоит отрешиться от личной выгоды, поставив себе целью величие своей страны. Но Растиньяк еще не поднялся до той вершины, откуда человеку можно обозреть и правильно определить течение жизни. Он до сих пор не мог стряхнуть с себя очарование свежих, сладостных понятий, облекающих как бы листвою отрочество людей, выросших в провинции. Эжен все не решался перейти парижский Рубикон. Несмотря на жажду новых ощущений, он все еще не расставался с затаенной мыслью о той счастливой жизни, какую истый дворянин ведет в своей усадьбе. Но все же его последние сомнения исчезли накануне, когда он очутился в собственной квартире. Пользуясь материальными преимуществами богатства, как пользовался издавна преимуществами своего происхождения, он сбросил оболочку провинциала и потихоньку занял положение, откуда открывался ему путь к прекрасной будущности. И вот теперь, в ожидании Дельфины, непринужденно сидя в ее красивом будуаре и чувствуя себя как дома, он показался себе таким далеким от бывшего Растиньяка, приехавшего год назад в Париж, что, рассматривая его каким-то внутренним, духовным взором, задал себе вопрос: «Похож ли я теперь на себя самого?»

– Баронесса в спальне, – доложила Тереза, появившись так внезапно, что он вздрогнул.

Дельфина лежала на козетке у камина, бодрая и свежая. При виде этой женщины в волнах муслина нельзя было не сравнить ее с теми красивыми индийскими растениями, где плод бывает окружен цветочными лепестками.

– Ну, вот вы и пришли! – сказала она с чувством.

– Отгадайте, что я принес вам, – сказал Эжен, усаживаясь рядом с ней и целуя ей руку.

Прочитав приглашение, г-жа де Нусинген весело встрепелась. Она подняла на Эжена влажные глаза и, обвив руками ему шею, прижала его к себе в порыве тщеславной радости.

– Ведь это вам (тебе, – сказала она ему на ухо, – но в туалетной комнате Тереза; будем осторожны!), вам обязана я своим счастьем. Да, я смело называю это счастьем. Раз это достигнуто благодаря вам, то оно больше, чем торжество самолюбия. Никто не хотел ввести меня в светский круг. В эту минуту вы, может быть, сочтете меня мелочной, пустой и легкомысленной парижанкой, но помните, мой друг, что я готова пожертвовать вам всем, и если жажду страстно, как никогда проникнуть в Сен-Жерменское предместье, то только потому, что там бываете и вы.

– Госпожа де Босеан как будто дает понять, что не рассчитывает видеть у себя на балу барона де Нусингена. Вам это не кажется? – спросил Эжен.

– Да, конечно, – ответила баронесса, возвращая письмо Эжену. – Такие женщины талантливо умеют быть невежливыми. Но я все равно поеду. Наверно, там будет и моя сестра: я знаю, она шьет себе очаровательное платье. Эжен, продолжала она тихо, – сестра едет на этот бал, чтобы рассеять ужасные подозрения. Вы не знаете, какие носятся слухи? Нусинген зашел ко мне сегодня утром рассказать, что говорили о ней в клубе не стесняясь. Боже мой! От чего зависит честь женщины и семьи! Я чувствовала себя обиженной, оскорбленной в лице моей бедной сестры. По словам некоторых лиц, господин де Трай выдал векселей на сумму до ста тысяч франков, почти все векселя просрочил и вот-вот должен был попасть под суд. Видя его безвыходное положение, сестра продала какому-то еврею свои чудесные бриллианты; вы, вероятно, видали их на ней, они перешли к ней по наследству от матери графа де Ресто. Словом, вот уже два дня только и разговора, что об этом. Мне теперь понятно, для чего Анастази заказала себе платье, шитое блестками: она хочет привлечь к себе внимание на бале у госпожи де Босеан, явившись во всем блеске и в этих бриллиантах. Но я не хочу уступать ей. Она всегда старалась меня затмить и нехорошо ко мне относилась, хотя я делала для нее многое и никогда не отказывала в деньгах, когда она нуждалась в

них. Однако бросим разговор о свете, – я хочу сегодня насладиться полным счастьем.

Еще в час ночи Растиньяк находился у г-жи де Нусинген; любовно осыпая его прощальными поцелуями, сулившими немало радостей и в будущем, она промолвила с печальным видом:

– Я трусиха, я суеверна, называйте как угодно мои предчувствия, но я трепещу от страха: как бы мне не поплатиться за свое счастье ужасной катастрофой.

– Ребенок! – сказал Эжен.

– Да, сегодня ребенок не вы, а я, – ответила она смеясь.

Эжен вернулся в «Дом Воке» с твердым намерением покинуть его завтра; по дороге он отдавался тем восхитительным мечтам, какими услаждают себя молодые люди, еще храня на своих устах аромат счастья.

– Ну, как? – спросил его папаша Горио, когда Эжен проходил мимо его комнаты.

– Завтра я расскажу вам все, – ответил Растиньяк.

– Все? Правда? – воскликнул старик. – Ложитесь спать. Завтра начнется наша счастливая жизнь.

На следующее утро Растиньяк и Горио собрались покинуть семейный пансион и ждали только, когда удосужится прийти носильщик, как вдруг около двенадцати часов на улице Нев-Сент-Женевьев послышался стук экипажа и замолк у ворот «Дома Воке». Из собственной кареты вышла г-жа де Нусинген и спросила, здесь ли еще ее отец. Получив от Сильвии утвердительный ответ, она проворно взбежала по лестнице. Эжен был у себя, о чем не знал его сосед. За завтраком Эжен попросил Горио захватить и его вещи и условился встретиться с ним в четыре часа уже на улице д'Артуа. Но пока старик разыскивал носильщиков, Эжен, сбегав в Школу правоведения на проверку, вернулся, не замеченный никем, домой, чтоб расплатиться с г-жой Воке, не возлагая этой операции на Горио, который, в порыве фанатической любви, наверно заплатил бы за него из своего кармана. Хозяйки не было дома. Эжен заглянул к себе наверх – не забыл ли он чего-нибудь, и похвалил себя за эту мысль, увидав в ящике стола свой бессрочный вексель, выданный Вотрену и валявшийся здесь с тех пор, как был погашен. Печка не топилась, и он уже хотел разорвать вексель на мелкие клочки, но, узнав голос Дельфины, воздержался от малейшего шума, остановился и прислушался, полагая, что у Дельфины не может быть тайн от него. С первых же слов разговор между отцом и дочерью оказался настолько интересен, что Растиньяк продолжал слушать.

– Ах, папа, – обратилась она к отцу, – слава богу, что вам пришло в голову потребовать отчета о моем состоянии как раз во-время, пока меня еще не разорили. Здесь можно говорить?

– Да, никого нет дома, – ответил папаша Горио изменившимся голосом.

– Что с вами, папа? – забеспокоилась г-жа де Нусинген.

– Ты как обухом ударила меня по голове, – ответил старик. – Да простит тебе бог, дитя мое! Ты не знаешь, как я люблю тебя; кабы знала, не говорила бы мне таких вещей неожиданно, в особенности если дело поправимо. Откуда такая спешка, что ты приехала за мной, когда через несколько минут мы отправляемся на улицу д'Артуа?

– Ах, папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с первым порывом? Я сама не своя. Ваш поверенный предупредил нас, что дело кончится, наверно, разореньем. Сейчас ваша долголетняя коммерческая опытность будет нам необходима, и, как утопающий хватается за соломинку, я приехала за вами. Когда господин Дервиль увидел, что Нусинген всякими каверзами ставит ему препятствия, он пригрозил судом и заявил, что постановление председателя суда получить недолго. Сегодня утром Нусинген зашел ко мне и спросил, хочу ли я, чтобы и он и я были разорены. Я ответила, что ничего не понимаю во всех этих делах, что у меня есть состояние, что я должна вступить в пользование им и что разбираться во всей путанице – дело моего поверенного, а я лично в таких вопросах полная невежда и совершенно неспособна что-либо понять. Ведь вы так и советовали мне говорить?

– Верно, – ответил папаша Горио.

– Тогда Нусинген посвятил меня в свои дела. Оказывается, все капиталы, свои и мои, он вложил в только что основанные предприятия, и ради этого понадобилось разместить крупные суммы за границей. Если я заставлю его отдать обратно мое приданое, ему придется объявить себя несостоятельным, если же я соглашусь подождать год, он ручается своей честью, что удвоит или

даже утроит мое состояние, вложив мои деньги в земельные операции, а потом я буду полной хозяйкой своего имущества. Дорогой папа, он говорил чистосердечно, он напугал меня. Нусинген просил ему простить его поведение, дал мне свободу, разрешил вести себя, как мне угодно, при условии, что я предоставлю ему неограниченное право вести дела от моего имени. В доказательство своей чистосердечности он обещал мне вызывать Дервиля всякий раз, когда я захочу, – чтобы проверять, насколько правильно составлены те документы, на основании которых Нусинген будет передавать мне мою собственность. Короче говоря, он сдался мне, связав себя по рукам и по ногам. Он просил, чтобы я еще два года вела дом, и умолял меня не тратить на себя больше того, что он определил. Он доказал мне, что ему не остается ничего другого, как сохранять вид внешнего благополучия, что он расстался со своей танцовщицей и будет вынужден соблюдать самую строгую, но и самую тайную экономию в расходах, чтобы дожидаться окончания всех начатых им операций, не подрывая своего кредита. Я его и бранила и не хотела ничему верить, стараясь прижать его к стене и узнать побольше. Он показал мне свои книги и в конце концов расплакался. Я никогда еще не видела мужчину в таком состоянии. Он потерял голову, говорил о самоубийстве, просто бредил, – мне стало его жалко.

– И ты поверила всем этим рассказам! – воскликнул папаша Горио. – Это же фигляр! Мне приходилось по делам встречаться с немцами: почти все они были люди добросовестные, открытые, но уж если они, прикрываясь добродушием и простотой, начнут хитрить и шарлатанить, то превзойдут всех. Твой муж тебя морочит. Его прижали, вот он и прикидывается мертвым, он собирается хозяйничать от твоего имени еще свободнее, чем от своего. Нусинген воспользуется этим положением, чтобы отвертеться на случай неудачи в своих делах. Он и хитер и вероломен, это мерзавец. Нет, нет, я не собираюсь отправлять на кладбище Пер-Лашез, оставив дочерей нищими. В делах я смыслю кое-что! Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятия, – отлично! Тогда его участие в них выражено в ценностях, расписках, договорах! Пусть их покажет и рассчитается с тобой. Мы выберем дела, которые повыгоднее, и попытаем на них счастья; у нас будет утвержденная законом фирма на наше имя: *Дельфина Горио, состоящая в имущественном разделе со своим супругом бароном де Нусингеном*. Что ж он, принимает нас за дураков? Неужели он думает, будто я могу прожить хотя бы два дня, зная, что ты останешься без состояния, без куса хлеба? Да я не проживу и одного дня, одной ночи, двух часов! Если бы эта мысль оправдалась, то я бы умер! Вот еще! Я сорок лет работал, таскал на себе мешки, обливался потом, всю жизнь терпел лишения ради вас, и только вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ношу, любой труд. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом! Да я умру от ярости! Клянусь всем святым на небесах и на земле, мы выведем все на чистую воду, проверим книги, кассу, дела! Я не прилягу, не буду спать, не буду есть, пока мне не докажут, что состояние целехонько! Слава богу, у вас раздельное владение имуществом; поверенным у тебя будет человек, по счастью, честный, – сам Дервиль. Господь милостив! Ты сохранишь свой миллиончик, свои пятьдесят тысяч годового дохода до конца дней своих – или я наделаю в Париже такого шума, что все ахнут! Коли нас зарежут в трибуналах, я обращусь в палату. Только бы знать, что у тебя все спокойно и благополучно по части денег: одно это сознание облегчало все мои горести, утоляло мои печали. Деньги – это жизнь. Деньги – все. А что расписывает нам этот эльзасский чурбан? Дельфина, не уступай ни четверти лиара этой жирной скотине, что посадила тебя на цепь и сделала несчастной. Если ты ему нужна, то мы скрутим его крепко, мы его проучим. Господи! Голова моя горит, что-то жжет меня там, внутри черепа. Моя Дельфина на соломе! Ты! Моя Фифина! Черт побери! Где мои перчатки? Ну, едем, я хочу сейчас же посмотреть все: книги, наличность, корреспонденцию, дела. Я не успокоюсь, пока мне не докажут, что твое состояние не подвергается опасности: мне надо видеть все собственными глазами.

– Дорогой папа, действуйте осторожно! если в это дело вы внесете малейший оттенок мести, если вы обнаружите слишком враждебные намерения, то я погибла. Он знает вас и находит вполне естественным, что по вашему внушению я беспокоюсь за судьбу моего приданого, но, клянусь вам, оно в его руках, и он решил не выпускать его. Это такой человек, что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем! Он прекрасно знает, что я не стану преследовать его и позорить имя, которое сама ношу. Он слаб и силен в одно и то же время. Я все обдумала. Если мы

доведем его до крайности, он разорит меня.

– Так, значит, он мазурик?

– Да, папа, это так, – подтвердила она, с плачем бросаясь в кресло. Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не огорчились, что выдали меня замуж за такого человека! Его закулисная жизнь, его совесть, душа и тело все как на подбор. Это просто ужасно! Я презираю его, ненавижу! Да, после того, что он говорил, я не могу уважать такого подлеца. Человек, способный заняться теми финансовыми махинациями, о которых он рассказал мне, лишен последней крупинки совести, и все мои опасения основаны на том, что я отчетливо прочла в его душе. Он, мой муж, без обиняков предложил мне полную свободу, – а вы знаете, что это значит! – но с условием, что в случае провала предприятий я соглашусь сделаться орудием в его руках, – короче говоря, если я соглашусь быть подставным лицом.

– Но на это есть законы! Есть Гревская площадь для таких зятьев! – воскликнул папаша Горио. – Если не будет палача, я сам отрублю ему голову на гильотине.

– Нет, папа, против него законов нет. Слушайте, что хотел сказать Нусинген, если очистить его речь от всяких околичностей, которыми он думал навести туман, и передать ее в двух словах: «Или все погибнет, у вас не будет ни лиара и вы разоритесь, так как подобрать другого сообщника, кроме вас, я не могу; или вы предоставите мне довести мои предприятия до благополучного конца». Вы понимаете? Пока он еще дорожит мной. Моя женская честность служит ему порукой: он знает, что я не присвою его состояния и удовольствуюсь своим. Я вынуждена дать согласие на это жульническое, бесчестное товарищество, иначе мне угрожает разорение. Он покупает мою совесть и платит за нее, разрешая мне быть без стеснения женой Эжена: «Я позволяю тебе совершать грехи, предоставь и мне совершать злодеяния, разоряя бедняков!» Разве не ясно и это рассуждение? А знаете ли вы, что называет он деловыми операциями? Он покупает на свое имя порожние участки, затем поручает подставным лицам строить там дома. Эти люди отдают подряды на постройку любым подрядчикам и платят им долгосрочным векселем, а потом за небольшую сумму выдают моему мужу расписку в получении от него денег за постройки: тогда владельцем этих домов оказывается Нусинген, а подставные лица оставляют подрядчиков в дураках, объявив себя банкротами. Фирма торгового дома Нусинген служила для того, чтобы пустить пыль в глаза несчастным строителям. Все это я поняла. Поняла и другое: Нусинген, на тот случай, если надо будет доказать, что у него были огромные платежи, перевел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену крупные суммы. Разве могли бы мы наложить на них арест?

Эжен услышал, как отец Горио, глухо стукнув коленями о половицы, упал у себя в комнате.

– Господи, за что ты меня наказываешь! Дочь моя в руках мерзавца, и он потребует от нее всего, чего захочет! Дочка, прости меня! – воскликнул старик.

– Да, если я упала в пропасть, то в этом повинны, может быть, и вы, сказала Дельфина. – Когда мы выходим замуж, мы еще так неразумны. Разве мы понимаем, что такое свет, дела, мужчины, нравы? За нас должны думать отцы. Дорогой папа, простите мне эти слова, я вас ни в чем не упрекаю. В этом случае вся вина лежит на мне. Папа, не надо плакать, – сказала она, целуя его в лоб.

– Не плачь и ты, милая Дельфина. Дай я поцелую твои глазки и осушу твои слезы. Вот что! Я сейчас приведу свою башку в порядок и распутаю клубок, который накрутил в делах твой муж.

– Нет, предоставьте действовать мне: я сумею повернуть мужа по-своему. Он меня любит – прекрасно! Я воспользуюсь своей властью над ним и быстро добьюсь того, что часть капиталов он вложит для меня в земельную собственность. Возможно, что я заставлю его выкупить на мое имя бывшее эльзасское имение Нусингенов, он очень дорожит им. Но завтра вы зайдите разобраться в его делах и книгах; Дервиль мало смыслит в торговых оборотах... Нет, завтра не приходите. Не буду портить себе крови. Послезавтра бал у госпожи де Босеан, я хочу побережь себя и явиться туда красивой, свежей, чтобы милый Эжен мог мною гордиться! Пойдем посмотрим его комнату.

В эту минуту на улице Нев-Сент-Женевьев остановилась карета, и на лестнице послышался голос графини де Ресто, спросившей у Сильвии:

– Отец мой дома?

Это обстоятельство спасло Эжена, а то он уже хотел было лечь на кровать и притвориться



спящим.

– Ах, папа, вам ничего не говорили про Анастаси? – спросила Дельфина, узнав голос сестры. Кажется, в ее семейной жизни тоже произошло что-то неладное.

– Как так? – воскликнул папаша Горио. – Тогда мне конец: бедная моя голова не выдержит двух бед.

– Здравствуйте, папа, – сказала, входя, графиня. – А, ты здесь, Дельфина?

Встреча с сестрой, видимо, смутила графиню де Ресто.

– Здравствуй, Нази, – ответила ей баронесса. – Мое присутствие здесь кажется тебе необычным? Я вижу с папой каждый день.

– С каких это пор?

– Если бы ты бывала здесь, то знала бы.

– Не придирайся ко мне, Дельфина, – плачущим голосом сказала графиня, я так несчастна! Бедный папа, я погибла!.. И на этот раз погибла окончательно.

– Что с тобой, Нази? – воскликнул папаша Горио. – Расскажи нам все, мое дитя. Она побледнела! Дельфина, ну же, помоги ей, будь с ней добрее, я стану любить тебя еще больше, если это возможно!..

– Бедная Нази! – пожалела ее г-жа де Нусинген, усаживая на стул. Помни, что одни только мы с папой всегда будем любить тебя так, что все простим. Семейные чувства – самые надежные.

Она дала сестре понюхать нюхательной соли, и графиня пришла в себя.

– Я умру от всего этого! – произнес папаша Горио. – Подойдите ко мне ближе, – сказал он дочерям, мешая в печке горящий торф. – Мне что-то холодно. Что с тобой, Нази? Говори скорее, ты убиваешь меня...

– Дело в том, что моему мужу стало известно все, – сказала несчастная женщина. – Помните, папа, недавний вексель Максима? Так это был уже не первый. Я оплатила их немало. В начале января мне показалось, что у графа де Трай какое-то большое горе. Мне он ничего не говорил, но читать в душе людей, которых любишь, так нетрудно: достаточно ничтожного намека, а кроме того, бывают и предчувствия. Он стал таким ласковым ко мне и нежным, каким я никогда не видела его, и я чувствовала себя все более счастливой. Бедный Максим! Как он потом сказал, это он мысленно простился со мной, решив застрелиться. Я так выпытывала, так его молила, я два часа стояла перед ним на коленях, и в конце концов он мне признался, что должен сто тысяч франков. Папа! Сто тысяч! Я с ума сходила. У вас их не было, я высосала все...

– Нет, я не мог бы достать их, – ответил папаша Горио, – разве что украд бы. Да, я пошел бы и на это. И пойду!

Эта фраза, жалостная, как предсмертный хрип, выразила такую агонию отцовского чувства, доведенного до состояния бессилия, что обе сестры умолкли. Да и какой эгоист мог оставаться безучастным к этому крику души, показавшему все глубину отчаяния, как брошенный в бездну камень дает понятие о глубине ее.

– Папа, я достала деньги, распорядившись тем, что не было моим, сказала графиня, заливаясь слезами.

Дельфина растрогалась и заплакала, прильнув головой к плечу сестры.

– Так это правда! – сказала она.

Анастаси потупила голову; г-жа де Нусинген обняла сестру и, прижав к своей груди, поцеловала.

– Здесь ты всегда найдешь не осуждение, а любовь, – добавила она.

– Ангелы мои, – слабым голосом сказал им Горио, – нужна была беда, чтобы соединить вас, почему это так?

– Ради спасения жизни Максима, а с ней и моего счастья, – продолжала графиня, ободренная этим проявлением участливой, горячей нежности, – я отправилась к одному ростовщику, – да вы знаете это исчадие ада, этого безжалостного Гобсека! И я продала ему фамильные бриллианты, которыми так дорожит граф де Ресто, и его и свои, все! Продала! Вы понимаете? Максим спасен! Но я погибла. Ресто узнал все.

– Как? Кто тебя выдал? Я убью его! – крикнул папаша Горио.

– Вчера муж вызвал меня к себе. Я пошла... «Анастази, – сказал он таким тоном... (О, точно было этого тона, я поняла все!) – Где ваши бриллианты?» – «У меня». – «Нет, – ответил он, глядя на меня, – они здесь, на комод». И он указал мне на футляр, прикрытый носовым платком. «Вы знаете, откуда они?» – спросил он. Я упала к его ногам... Я плакала, я спрашивала, какой смертью мне надо умереть.

– Ты так сказала! – воскликнул папаша Горио. – Клянусь святым господним именем, тот, кто причинит вам зло, тебе или ей, пока я жив, тот может быть уверен, что я сожгу его на медленном огне! Я разорву его на части, как...

Слова замерли в его гортани.

– Кончилось тем, моя дорогая, что он потребовал от меня худшего, чем смерть... Не приведи бог ни одной женщине услышать то, что услышала Я!

– Этого человека я убью, – спокойно произнес папаша Горио. – Но у него одна жизнь, а мне отдать он должен две. Ну, что же дальше? – спросил он, глядя на Анастази.

– И вот, – продолжала графиня помолчав, – он посмотрел на меня и сказал: «Анастази, я скрою все, как в могиле, и мы останемся жить вместе: у нас есть дети. Я не стану убивать господина де Трай на поединке: я могу и промахнуться; а если отделаться от него другим путем, можно столкнуться с правосудием. Убить его в ваших объятиях – это опозорить ваших детей. А я не хочу ни гибели ваших детей, ни гибели их отца, ни своей собственной; поэтому я ставлю вам два условия. Отвечайте: есть ли у вас ребенок от меня?» – «Да», – ответила я. «Который?» – спросил он. «Старший, Эрнест». – «Хорошо, сказал он. – Теперь клянитесь подчиниться моему требованию». Я поклялась. «Вы подпишете мне запродажную на ваше имущество, когда я этого потребую».

– Не подписывай! – крикнул папаша Горио. – Ни в коем случае! Так, так, господин де Ресто, вы не в состоянии дать счастье вашей жене, и она ищет его там, где оно возможно, а вы наказываете ее за вашу дурацкую немощь?.. Стой! Я здесь! Не волнуйся, Нази, я стану ему поперек дороги. Ага! Ему люб наследник! Хорошо же, хорошо. Я заберу его сына к себе, ведь он мне внук, черт побери! Имею же я право видеть этого мальчишку? будь спокойна, я увезу его к себе в деревню, стану заботиться о нем. Я заставлю сдать это чудовище, – я скажу ему: «Посмотрим, чья возьмет! Хочешь вернуть себе сына, верни моей дочери ее имущество и предоставь ей жить, как ей угодно».

– Отец!

– Да, я твой отец! О, я настоящий отец. Пусть этот негодяй вельможа не притесняет мою дочь. Проклятье! Я не знаю, что течет у меня в жилах. В них кровь тигра, мне хочется растерзать ваших мужей. Дети мои! Так вот какая у вас жизнь! Мне она смерть... Что с вами станет, когда меня не будет? Отцы должны жить, пока живы у них дети. Боже, как плохо ты устроил мир! А еще говорят, что у тебя есть сын. Тебе бы следовало избавить нас от мук наших детей. Милые мои ангелочки, чего уж тут! Ведь тем, что вы пришли ко мне, я обязан только вашим горестям. От вас я ничего не вижу, кроме ваших слез. Ну, что ж! Да, да, я знаю, вы любите меня. Приходите, приходите поплакаться ко мне. Сердце мое обширно – все вместит. Вы можете рвать его на части, каждый кусок превратится в отцовское сердце. Я бы хотел взять на себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А ведь вы были счастливы, когда были маленькими.

– Только в ту пору нам и было хорошо, – заметила Дельфина. – Где те времена, когда мы играли в большом амбаре и скатывались вниз с груды мешков?!

– Папа, это еще не все, – сказала графиня на ухо отцу. Горио даже подскочил. – За бриллианты не дали ста тысяч. Максима все еще привлекают к суду. Нам еще нужно уплатить двенадцать тысяч франков. Он обещал мне образумиться, бросить игру. Мне не осталось больше ничего, кроме его любви, я слишком дорого заплатила за нее, – если уйдет она, я умру. Я пожертвовала ему всем: честью, состоянием, покоем и детьми. О, верните хотя бы одному ему свободу, честное имя, чтобы он мог остаться в обществе, где он сумеет создать себе положение. Теперь у него есть долг передо мной не только за собственное счастье, у нас с ним есть дети, и они окажутся без состояния. Все погибнет, если его посадят в Сент-Пелажи.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Сент-Пелажи – парижская тюрьма (разрушена в 1899 г.).

– Нет денег у меня, Нази. Больше ничего, ничего! Это конец мира. Да, мир скоро рухнет – иначе быть не может! Идите же, спасайтесь, пока есть время! Да-а! Ведь у меня еще остались серебряные пряжки, шесть столовых приборов, те самые, что я купил впервые в жизни! А что еще? Только пожизненная рента в тысячу двести франков.

– Что же вы сделали с вашей бессрочной рентой?

– Я продал ее, а себе оставил на свои нужды только этот маленький доход. Мне были необходимы двенадцать тысяч, чтобы устроить квартиру для Фифины.

– Как, Дельфина? У тебя в доме? – спросила г-жа де Ресто свою сестру.

– Не все ли равно где? Двенадцать тысяч франков уже истрачены, возразил папаша Горио.

– Догадываясь, – заметила графиня. – Для господина Растиньяка! Несчастливая Дельфина, остановись! Ты видишь, до чего дошла я.

– Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей, что разоряют своих любовниц.

– Спасибо, Дельфина, в моем тяжком положении я ожидала от тебя лучшего. Но ты никогда не любила меня.

– Нет, Нази, она тебя любит, – воскликнул папаша Горио, – и только что сказала мне об этом. Мы говорили о тебе, и она уверяла, что ты красавица, а она сама только хорошенькая.

– У ней бездушная красота, – заметила графиня.

– Хотя бы и так, – возразила Дельфина покраснев. – А как относилась ко мне ты? Ты отрекалась от меня, ты постаралась закрыть мне доступ во все дома, куда хотелось мне попасть, вообще ты не упускала ни одного случая сделать мне неприятность. Разве я приходила сюда, как ты, затем, чтобы вытягивать от отца тысячу за тысячей все его деньги? Разве я довела его до такого положения? Это дело твоих рук, сестрица! Я виделась с отцом, когда только могла, не выгоняла его из своего дома, не приходила лизать ему руки, когда он оказывался нужен. Я даже не знала, что эти двенадцать тысяч франков он истратил для меня: как тебе известно, в денежных делах я люблю порядок. А если папа и делал мне подарки, то я никогда их не выпрашивала.

– Тебе больше посчастливилось, чем мне: господин де Марсе богат, и кое-что об этом тебе известно. Ты всегда была презренной, как золото. Прощайте, у меня нет ни сестры, ни...

– Замолчи, Нази! – крикнул папаша Горио.

– Только такая сестра, как ты, может повторять то, чему никто не верит. Ты нравственный урод, – ответила Дельфина.

– Дети, дети мои, замолчите, или я здесь, при вас, покончу с собой.

– Слушай, Нази, прощаю тебе, ты несчастна, – говорила Дельфина. – Но я лучше тебя. Сказать мне то, что ты сказала, да еще в ту минуту, когда я была готова на все, чтобы помочь тебе, – даже пойти в спальню к моему мужу, чего я не сделала бы ни ради себя самой, ни ради... это достойное продолжение тех неприятностей, каких ты мне наделала за последние девять лет.

– Дети мои, дети, обнимитесь! – упрашивал отец. – Вы обе ангелы.

– Нет, оставьте меня! – крикнула графиня, когда Горио взял ее за руку, и увернулась от отцовского объятия. – У ней меньше жалости ко мне, чем у моего мужа. Можно подумать, что она олицетворение добродетели!

– Пусть сплетничают, будто я должна господину де Марсе: по-моему, это лучше, чем признаться, что господин де Трай стоит тебе более ста тысяч, ответила г-жа де Нусинген.

– Дельфина! – крикнула графиня, подступая к сестре.

– Я говорю тебе правду, а ты клеветешь на меня, – холодно сказала баронесса.

– Дельфина, ты...

Папаша Горио бросился к графине и не дал ей договорить, закрыв ей рот рукой.

– Боже мой, за что вы сегодня хватались руками? – воскликнула Анастази.

– Ах, да! Виноват, – извинился несчастный отец, вытирая руки о панталоны. – Ведь я сейчас проезжаю, кто же знал, что вы придете.

Он был доволен, что, вызвав этот упрек, отвлек на себя гнев дочери.

– Ох! Вы истерзали мое сердце, – продолжал он садясь. – Дети мои, я умираю! В голове у меня жжет, как огнем. Будьте милыми, хорошими, любите друг друга! Вы сведете меня в могилу. Нази, Дельфина, ну же, вы обе правы и обе неправы. Слушай, Деделъ, – говорил он, подняв на ба-

ронессу глаза, полные слез, – ей нужны двенадцать тысяч, давай поищем их. Не надо так коситься друг на друга.

Он стал на колени перед Дельфиной.

– Ради меня попроси у нее прощенья, – шепнул он ей на ухо, – она более несчастна, правда ведь?

– Бедная моя Нази, – сказала ей дельфина, испуганная выраженьем отцовского лица, диким, безумным от душевной боли, – я была неправа, поцелуй меня...

– О, вы льете мне целительный бальзам на сердце! – воскликнул папаша Горио. – Но откуда взять двенадцать тысяч франков? разве пойти за кого-нибудь в рекруты?

– Что вы, папа? Нет, нет! – воскликнули обе дочери, подходя к отцу.

– Бог вознаградит вас за одно это намерение, всей нашей жизни нехватит, чтобы отблагодарить вас! Правда, Нази? – сказала Дельфина.

– А кроме того, милый папа, это была бы капля в море, – заметила графиня.

– Так, значит, и своей кровью ничему не помочь? – с отчаяньем воскликнул старик. – Я буду рабом у того, кто спасет тебя, Нази! Ради него я убью другого человека. Пойду на каторгу, как Вотрен! Я...

Он вдруг остановился, как пораженный громом.

– Нет, ничего! – сказал он, рванув себя за волосы. – Кабы знать, где можно украсть... Только нелегко найти такой случай. Чтобы ограбить банк, нужны люди, время. Видно, пора мне умирать: не остается ничего другого. Я больше ни на что не годен, я больше не отец! Нет! Она просит, она нуждается! А у меня, бездельника, нет ничего. Ах ты, старый лиходей, у тебя две дочери, а ты устроил себе пожизненную ренту! Ты, значит, их не любишь? Подыхай же, подыхай, как собака! Да я хуже собаки, собака вела бы себя лучше! Ох, голова моя! В ней все кипит!

– Папа, будьте же благоразумны! – закричали обе женщины, обступая его, чтобы он не вздумал биться головой об стену.

Горио рыдал. Эжен в ужасе схватил свой вексель, выданный Вотрену, со штемпелем на бóльшую сумму, переправил цифры, оформил как вексель на двенадцать тысяч *приказу Горио* и вошел в комнату соседа.

– Сударыня, вот нужные вам деньги, – сказал он графине, подавая ей вексель. – Я спал, ваш разговор разбудил меня; благодаря этому я узнал, сколько я должен господину Горио. Вот обязательство, которое вы можете учесть, я оплачу его точно в срок.

Графиня стояла неподвижно, держа в руках гербовую бумагу.

– Дельфина, – проговорила она, бледнея, дрожа от гнева, ярости и бешенства, – я все тебе прощала, свидетель бог, но это!.. Господин де Растиньяк был рядом, ты это знала. У тебя хватило низости отомстить мне, заставив меня невольно доверить ему мои тайны, мою жизнь, жизнь моих детей, мой позор, мою честь! Так знай же, ты для меня ничто, я ненавижу тебя, я стану мстить тебе, как только можно, я...

Злоба не давала ей говорить, в горле пересохло.

– Да это же мой сын, он наш, твой брат, твой спаситель! – восклицал папаша Горио. – Обними его, Нази! Видишь, я его обнимаю, – продолжал старик, в каком-то иступлении прижимая к себе Эжена. – О дитя мое! Я буду больше, чем отцом, я постараюсь заменить тебе семью. Я бы хотел быть богом и бросить к твоим ногам весь мир. Ну, поцелуй же его, Нази! Ведь это не человек, а просто ангел, настоящий ангел.

– Оставь ее, папа, сейчас она не в своем уме, – сказала Дельфина.

– Я не в своем уме! Не в своем уме! А ты какова? – спросила графиня де Ресто.

– Дети мои, я умру, если вы не перестанете! – крикнул папаша Горио и упал на кровать, точно сраженный пулей.

– Они убили меня! – пролепетал старик.

Графиня взглянула на Эжена, который застыл на месте, ошеломленный этой дикой сценой.

– Сударь... – вымолвила она, договаривая всем выражением лица, взглядом, интонацией и не обращая внимания на своего отца, которому Дельфина поспешно расстегнула жилет.

– Я заплачу и буду молчать, – ответил Растиньяк, не дожидаясь вопроса.



– Нази, ты убила отца! – упрекнула сестру Дельфина, указывая на старика, лежавшего без чувств; но графиня уже исчезла.

– Прощаю ей, – сказал старик, открывая глаза, – положение ее ужасно, и не такая голова пошла бы кругом. Утешь Нази, будь доброй к ней, обещаю этому твоему умирающему отцу, – просил старик, сжимая дельфине руку.

– Но что такое с вами? – спросила она, совсем перепугавшись.

– Ничего, ничего, пройдет, – отвечал отец. – Что-то мне давит лоб, это мигрень. Бедняжка Нази, какое у нее будущее!

В эту минуту графиня вернулась и бросилась к ногам отца.

– Простите! – воскликнула она.

– Этим ты еще больше мучаешь меня, – промолвил отец.

– Сударь, – со слезами на глазах обратилась графиня к Растиньяку, – от горя я была несправедлива. Хотите быть мне братом? – спросила она, протягивая ему руку.

– Нази, милая Нази, забудем все! – воскликнула Дельфина, прижимая к себе сестру.

– Нет, это я буду помнить!

– Ангелы мои, какая-то завеса закрывала мне глаза, сейчас вы раздвинули ее, ваш голос возвращает меня к жизни! – восклицал отец Горио. – Поцелуйтесь еще раз! Ну, что, Нази, спасет тебя этот вексель?

– Надеюсь. Послушайте, папа, не поставите ли вы на нем и вашу подпись?

– Какой же я дурак, – забыл об этом! Но мне было плохо, не сердись на меня, Нази. Пришли сказать, когда твое мученье кончится. Нет, я приду сам. Нет, не приду, не могу видеть твоего мужа, я убью его на месте. А что до продажи твоего имущества, в это дело вступлюсь я сам. Иди скорей, дитя мое, и заставь Максима образумиться.

Эжен был потрясен.

– Бедняжка Анастаси всегда была вспыльчивой, но сердцем она добрая, сказала г-жа де Нусинген.

– Она вернулась за передаточной надписью, – шепнул ей на ухо Эжен.

– Вы думаете?

– Хотелось бы не думать. Будьте с ней поосторожнее, – ответил он и поднял глаза к небу, поверяя богу мысли, которые не решался высказать вслух.

– Да, в ней всегда было какое-то актерство, а бедный папа поддается на ее кривлянья.

– Как вы себя чувствуете, милый папа Горио? – спросил старика Эжен.

– Мне хочется спать, – ответил Горио.

Растиньяк помог ему лечь в постель. Когда старик, держа дочь за руку, уснул, Дельфина высвободила свою руку.

– Вечером у Итальянцев, – напомнила она Эжену, – и ты мне скажешь, как его здоровье. А завтра, сударь, вы переедете. Покажите вашу комнату. Какой ужас! – сказала она, войдя туда. – У вас хуже, чем у отца. Эжен, ты вел себя прекрасно. Я стала бы любить тебя еще сильнее, будь это возможно. Но, милый ребенок, если вы хотите составить состояние, нельзя бросать в окошко двенадцать тысяч франков, как сейчас. Граф де Трай игрок. Сестра ничего не хочет замечать. Он нашел бы эти двенадцать тысяч франков там же, где проигрывает и выигрывает золотые горы.

Послышался стон, и они вернулись к Горио; казалось, он спал, но когда оба влюбленных подошли к нему, они услышали его слова:

– Как они несчастны!

Спал ли он, или нет, но тон этой фразы тронул Дельфину за живое, – она подошла к жалкой кровати, где лежал отец, и поцеловала его в лоб. Он открыл глаза:

– Это ты, Дельфина?

– Ну, как ты чувствуешь себя? – спросила дочь.

– Хорошо, не беспокойся, я скоро выйду из дому. Ступайте, ступайте, дети мои, будьте счастливы.

Эжен проводил Дельфину до дому, но, озабоченный состоянием, в котором оставил папашу Горио, отказался обедать у нее и вернулся в «Дом Воке». Когда Растиньяк пришел, Горио уже

встал с постели и явился к столу. Бьяншон расположился так, чтобы лучше наблюдать лицо вермишельщика. Горио, взяв себе хлеба, понюхал его, чтобы узнать, из какой муки он испечен; студент-медик подметил в этом жесте полное отсутствие того, что можно было бы назвать сознанием своих действий, и нахмурился.

– Подсядь ко мне, кошеновский пансионер,<sup>79</sup> – сказал ему Эжен.

Бьяншон охотно пересел, чтобы быть поближе к старику.

– Что с ним? – спросил Растиньяк.

– Если не ошибаюсь, – ему крышка! В нем происходит что-то необычное, ему грозит апоплексия. Нижняя часть его лица довольно спокойна, а черты верхней, помимо его воли, дергаются кверху, – видишь? Затем, взгляни на его глаза: они точно посыпаны какой-то мельчайшей пылью, не правда ли? Эта особенность указывает на кровоизлияние в мозг. Завтра утром состояние его здоровья будет для меня яснее.

– Есть ли какое-нибудь лекарство от такой болезни?

– Никакого. Может быть, удастся отсрочить смерть, если найдутся средства, чтобы вызвать отлив к ногам, но если завтра к вечеру нынешние симптомы не исчезнут, бедный старик погиб. Ты не знаешь, чем вызвана его болезнь? Он, вероятно, перенес жестокое потрясение, и душевные силы не выдержали.

– Да, – ответил Растиньяк, вспоминая, как обе дочери, не давая передышки, наносили удары в родительское сердце.

«Дельфина по крайней мере любит своего отца», – подумал Эжен.

Вечером, у Итальянцев, Эжен заговорил о нем довольно осторожно, чтобы не очень растрогать г-жу де Нусинген. Но в ответ на первые же фразы Растиньяка она сказала:

– Не беспокойтесь, отец мой человек крепкий. Но сегодня утром мы немного помучили его. Дело идет о потере нами наших капиталов, вы представляете себе все последствия подобного несчастья? Я бы не стала жить, если бы ваша любовь не сделала меня равнодушной ко всему, что еще так недавно мне казалось бы смертельной мукой. Сейчас нет у меня иного страха, нет иной беды, как потерять любовь, благодаря которой я ощущаю радость жизни. Вне этого чувства мне все безразлично, ничто не мило. Вы для меня все. Если мне доставляет удовольствие богатство, то только потому, что оно дает возможность нравиться вам еще больше. К моему стыду, я больше любовница, чем дочь. Отчего? Не знаю. Вся моя жизнь в вас. Сердце мне дал отец, но вы заставили его забиться. Пусть осуждают меня весь свет, мне все равно, если вы, – хоть у вас-то, впрочем, и нет оснований на меня жаловаться, – прощаете мне преступления, на которые меня толкает непреодолимое чувство! Неужели вы думаете, что я бессердечная дочь? О нет, нельзя не любить такого хорошего отца, как наш. Но разве могла я помешать тому, что он в конце концов и сам увидел неизбежные последствия наших прискорбных браков? Почему он не воспротивился нашему замужеству? Не он ли должен был обдумать все за нас? Я знаю, он теперь страдает не меньше, чем Нази и я, но что нам делать? Утешать? Мы не утешили б его ни в чем. Наша покорность своей судьбе удручала его больше, чем огорчения от наших жалоб и упреков. Бывают в жизни положения, когда все вызывает горечь.

Эжен молчал, умиляясь этим простым, сердечным выраженьем подлинного чувства. Парижанка нередко бывают фальшивы, упоены тщеславием, эгоистичны, кокетливы и холодны, но можно уверенно сказать, что когда они любят по-настоящему, то отдаются своей страсти больше, чем другие женщины; они перерастают свои мелочные свойства и возвышаются душой. Кроме того, Эжена поразил в Дельфине глубокий, здравый ум, свойственный женщине, когда она спокойно обсуждает простые, естественные чувства, будучи сама отдалена от них какой-нибудь заветной страстью и наблюдая их как бы со стороны.

Г-жа де Нусинген была обижена молчанием Эжена.

– О чем вы задумались? – спросила она.

– Я еще прислушиваюсь к тому, что вы сказали. До сих пор я думал, что я люблю вас боль-

---

<sup>79</sup> «Кошеновский пансионер» – то есть студент-медик, живший при старинной парижской больнице имени Кошена, где стажеры проходили практику.

ше, чем вы меня!

Она улыбнулась, но поборолла свою радость, чтобы удержать разговор в границах, требуемых обстановкой. Никогда еще не приходилось ей слышать такие трепетные излияния юной искренней любви. Еще немного – и она бы не сдержалась.

– Эжен, разве вы не знаете, что делается в свете? – переменяла она тему разговора. – Завтра весь Париж будет у виконтессы де Босеан. Маркиз д'Ажуда и Рошфиды условились ничего не разглашать; но завтра король утвердит брачный контракт, а ваша бедная кузина еще не знает ничего. Она не может отменить прием, но маркиз не будет на балу. Все только и говорят об этом событии.

– А свет доволен такой подлостью и в ней участвует! Неужели вы не понимаете, что госпожа де Босеан умрет от этого?

– Нет, – усмехаясь, ответила Дельфина, – вы не знаете женщин такого склада. Да, завтра к ней приедет весь Париж, и там буду я. Этим счастьем обязана я вам.

– А может быть, это одна из тех нелепых сплетен, какие во множестве гуляют по Парижу? – заметил Растиньак.

– Завтра мы узнаем правду.

Эжен не вернулся в «Дом Воке». У него нехватило духу расстаться с новой, собственной квартирой. Накануне ему пришлось уйти от Дельфины в час ночи, теперь Дельфина в два уехала домой. На следующее утро он встал поздно и до полудня ждал Дельфину, приехавшую завтракать к нему. Молодые люди так жадны до этих милых ощущений счастья, что Растиньак почти забыл о папаше Горио. Свыкаться с каждой вещью изящной обстановки, собственной, своей обстановки, казалось ему каким-то непрерывным празднеством. В присутствии Дельфины все здесь приобретало особенную ценность. Тем не менее около четырех часов дня влюбленные подумали и о папаше Горио, вспомнив, как был он счастлив надеждой переехать в этот дом. Эжен указал на то, что раз старику грозит болезнь, то нужно скорее перевезти его сюда, и, расставшись с Дельфиной, побежал в «Дом Воке». За столом не было ни Бьяншона, ни папаши Горио.

– Ну, наш папаша Горио скапутился, – заявил художник. – Бьяншон наверху, у него. Старикан виделся с одной из дочерей, графиней де Рестораме. После этого он вздумал выйти из дому, и ему стало хуже. Скоро наше общество лишится одного из своих лучших украшений.

Растиньак бросился наверх.

– Господин Эжен! Господин Эжен, вас зовет хозяйка! – крикнула ему Сильвия.

– Господин Эжен, – обратилась к нему вдова, – вы и господин Горио обязались выехать пятнадцатого февраля. А после пятнадцатого прошло уже три дня, – сегодня восемнадцатое; теперь вам обоим придется заплатить мне за весь месяц, но ежели вам угодно поручиться за папашу Горио, то с меня довольно вашего слова.

– Зачем? Неужели вы ему не доверяете?

– Доверять? Ему! Да ежели старик так и умрет, не придя в сознание, его дочери не дадут мне ни лиара, а вся его рухлядь не стоит и десяти франков. Не знаю зачем, но сегодня утром он унес свои последние столовые приборы. Принарядился что твой молодой человек. И как будто даже, прости господи, нарумянился, – мне показалось, он словно помолодел.

– Я отвечаю за все, – сказал Эжен, вздрогнув от ужаса и предчувствуя катастрофу.

Он поднялся к папаше Горио. Старик бессильно лежал в постели, рядом с ним сидел Бьяншон.

– Добрый день, папа, – поздоровался Эжен.

Старик ласково улыбнулся ему и, обратив на него стеклянные глаза, спросил:

– Как она поживает?

– Хорошо. А вы?

– Ничего.

– Не утомляй его, – сказал Бьяншон, отводя Эжена в угол.

– Ну как? – спросил Эжен.

– Спасти его может только чудо. Произошло кровоизлияние, поставлены горчичники; к счастью, он их чувствует, они действуют.

– Можно ли его перевезти?

– Немыслимо. Придется оставить его здесь: полный покой, никаких волнений!

– Милый Бьяншон, – сказал Эжен, – мы будем вдвоем ухаживать за ним.

– Я уже пригласил из нашей больницы главного врача.

– И что же?

– Завтра вечером он скажет свое мнение. Он обещал зайти после дневного обхода. К сожалению, этот старикашка выкинул сегодня утром какую-то легкомысленную штуку, а какую – не хочет говорить; он упрям, как осел. Когда я заговариваю с ним, он, чтобы не отвечать, притворяется, будто спит и не слышит, а если глаза у него открыты, но начинает охать. Сегодня поутру он ушел из дому и пешком шатался по Парижу неизвестно где. Утащил с собой все, что у него было ценного, обделал какое-то дельце – будь оно проклято! – и надорвал этим свои силы. У него была одна из дочерей.

– Графиня? – спросил Эжен. – Высокая, стройная брюнетка, глаза живые, красивого разреза, хорошенькие ножки?

– Да.

– Оставь нас на минуту, – сказал Растиньяк, – я его поисповеду, мне-то он все расскажет.

– Я пока пойду обедать. Только постарайся не очень волновать его: некоторая надежда еще есть.

– Будь покоен.

– Завтра они повеселятся, – сказал папаша Горио Эжену, оставшись с ним наедине. – Они едут на большой бал.

– Папа, как вы довели себя до такого состояния, что к вечеру слегли в постель? Чем это вы занимались сегодня утром?

– Ничем.

– Анастаси приезжала? – спросил Растиньяк.

– Да, – ответил Горио.

– Тогда не скрывайте ничего. Что еще она у вас просила?

– Ох! – простонал он, собираясь с силами, чтобы ответить. – Знаете, дитя мое, как она несчастна! После этой истории с бриллиантами у Нази нет ни одного су. А чтобы ехать на этот бал, она заказала себе платье, шитое блестками, оно, наверно, идет к ней просто прелесть как. А мерзавка портниха не захотела шить в долг; тогда горничная Нази уплатила ей тысячу франков в счет стоимости платья. Бедная Нази! Дойти до этого! У меня сердце надрывалось. Но горничная заметила, что Ресто лишил Нази всякого доверия, испугалась за свои деньги и сговорила с портнихой не отдавать платья, пока ей не вернут тысячу франков. Завтра бал, платье готово, а Нази в отчаянии! Она решила взять у меня мои столовые приборы и заложить их. Муж требует, чтобы она ехала на бал показать всему Парижу бриллианты, а то ведь говорят, что они ею проданы. Могла ли она сказать этому чудовищу: «Я должна тысячу франков, – заплатите»? Нет. Я это, конечно, понял. Дельфина поедет в роскошном платье. Анастаси не пристало уступать в этом младшей сестре. Бедненькая дочка, она прямо заливалась слезами! Вчера мне было так стыдно, когда у меня не нашлось двенадцати тысяч франков! Я отдал бы остаток моей жалкой жизни, чтобы искупить эту вину. Видите ли, какое дело: у меня хватало сил переносить все, но в последний раз это безделье перевернуло мне всю душу. Хо! хо! Не долго думая, раз-два, я прифрантился, подбодрился, продал за шестьсот франков пряжки и приборы, а потом заложил на год дядюшке Гобсеку свою пожизненную ренту за четыреста франков наличными. Ну что ж, буду есть только хлеб! Жил же я так, когда был молод; сойдет и теперь. Зато моя Нази проведет вечер превосходно. Она будет всех наряднее. Бумажка в тысячу франков у меня под изголовьем. Это меня как-то согревает, когда у меня под головой лежит такое, что доставит удовольствие бедняжке Нази. Теперь она может прогнать эту дрянь, Викторину. Где это видано, чтобы прислуга не верила своим хозяевам! Завтра я поправлюсь. В десять часов придет Нази. Я не хочу, чтобы они думали, будто я болен, а то, чего доброго, не поедут на бал и станут ухаживать за мной. Завтра Нази поцелует меня, как целует своего ребенка, и ее ласки вылечат меня. Все равно: разве я не истратил бы тысячу франков у аптекаря? Лучше дать их моей целительнице, Нази. Утешу хоть Нази в ее несчастье. Я этим сквитаюсь за свою вину, за то, что устроил себе пожизненный доход. Она на дне пропасти, а я уже не в силах



вытащить ее оттуда. О, я опять займусь торговлей. Поеду в Одессу за зерном. Там пшеница в три раза дешевле, чем у нас. Правда, ввоз зерновых в натуре запрещен, но милые люди, которые пишут законы, позабыли наложить запрет на те изделия, где все дело в пшенице. Хе-хе! Я додумался до этого сегодня утром. На крахмале можно будет делать великолепные дела.

«Он помешался», – подумал Эжен, глядя на старика.

– Ну, успокойтесь, вам вредно говорить.

Когда Бьяншон вернулся, Эжен сошел вниз пообедать. Всю ночь они, сменяясь, провели у большого, – один читал медицинские книги, другой писал письма к матери и сестрам.

На следующее утро в ходе болезни обнаружились симптомы благоприятные, по мнению Бьяншона, но состояние больного требовало постоянного ухода, и только эти два студента способны были его осуществить во всех подробностях, от описания которых лучше воздержаться, чтобы не компрометировать целомудрия речи наших дней. К изможденному телу старика ставили пиявки, за ними следовали припарки, ножные ванны и другие лечебные средства, возможные лишь благодаря самоотвержению и физической силе обоих молодых людей. Графиня де Ресто не приехала сама, а прислала за деньгами посыльного.

– Я думал, что она сама придет. Но это ничего, а то бы она расстроилась, – говорил старик, как будто бы довольный этим обстоятельством.

В семь часов вечера Тереза принесла записку от Дельфины:

*«Чем вы заняты, мой друг? Неужели вы, едва успев полюбить, уже пренебрегаете мною? Нет, во время наших задушевных разговоров передо мной раскрылось ваше прекрасное сердце; вы – из тех, кто понимает, какое множество оттенков таится в чувстве, и будет верен до конца. Как вы сами сказали, слушая молитву Моисея,<sup>80</sup> „для одних это все одна и та же нота, для других – вся беспредельность музыки!“ Не забудьте, сегодня вечером мы едем на бал к виконтессе де Босеан, и я вас жду. Уже совершенно точно известно, что брачный контракт маркиза д'Ажуда подписан королем сегодня утром во дворце, а бедная виконтесса узнала об этом только в два часа. Весь Париж кинется к ней, как ломится народ на Гревскую площадь, когда там происходит казнь. Разве это не мерзость – идти смотреть, скроет ли женщина свое горе, сумеет ли красиво умереть? Я бы, конечно, не поехала, если бы раньше бывала у нее: но, разумеется, большие приемов у нее не будет, и все усилия, затраченные мною, чтобы попасть к ней, пропали бы даром. Мое положение совсем иное, чем у других. Кроме того, я еду и ради вас. Жду. Если через два часа вы не будете у меня, то не знаю, прошу ли вам такое вероломство».*

Растиньяк взял перо и написал в ответ:

*«Я жду врача, чтобы узнать, останется ли жив ваш батюшка. Он при смерти. Я привезу вам приговор врача, боюсь, что это будет приговор смертный. Вы рассудите сами, можно ли вам ехать на бал. Нежно целую».*

В половине девятого явился врач: он не дал благоприятного заключения, но и не полагал, что смерть наступит скоро. Он предупредил, что состояние больного будет то улучшаться, то ухудшаться: от этого будет зависеть и жизнь и рассудок старика.

– Лучше бы уж умер поскорее! – было последнее мнение врача.

Эжен поручил старика Горио заботам Бьяншона и поехал к г-же де Нусинген с вестями, настолько грустными, что всякое радостное чувство должно было бы исчезнуть, как это представлялось его сознанию, еще проникнутому понятиями о семейном долге. В момент его отъезда Горио, казалось, спал, но когда Растиньяк выходил из комнаты, старик вдруг приподнялся и, сидя на постели, крикнул ему вслед:

– Скажите ей: пусть все же веселится.

Молодой человек пришел к Дельфине, удрученный горем, а ее застал уже причесанной, в бальных туфельках, – оставалось надеть бальное платье. Но у последних сборов есть сходство с последними мазками живописца при окончании картины: на них уходит больше времени, чем на основное.

– Как, вы еще не одеты? – спросила она.

<sup>80</sup> «Молитва Моисея» – ария из оперы итальянского композитора Россини «Моисей в Египте» (1818).

– Но ваш батюшка...

– Опять «мой батюшка»! – воскликнула она, не дав ему договорить. – Не учите меня моему долгу по отношению к отцу. Я знаю своего отца давно. Эжен, ни слова! Не стану слушать, пока вы не оденетесь. Тереза приготовила вам все у вас на квартире; моя карета подана, поезжайте и скорее возвращайтесь. Об отце поговорим дорогой; надо выехать пораньше, иначе мы очутимся в хвосте всех экипажей, а тогда хорошо если попадем на бал к одиннадцати.

– Сударыня, но...

– Нет, нет, ни слова больше, – сказала она, убегая в будуар, чтобы взять кольцо.

– Господин Эжен, идите же, вы рассердите баронессу, – сказала Тереза, выпроваживая молодого человека, потрясенного этим изящным отцеубийством.

И он поехал одеваться, предаваясь самым грустным, самым безотрадным размышлениям. Свет представлялся ему океаном грязи, куда человек сразу уходит по шею, едва опустит в него кончик ноги.

«Все преступления его мелки, – думал Эжен. – Вотрен гораздо выше».

Растиньяк уже видел три главных лика общества: Повиновение, Борьбу и Бунт – семью, свет и Вотрена. Эжен не знал, к чему пристать. Повиновение скучно; бунт – невозможен; исход борьбы – сомнителен. Он перенесся мыслью в свою семью. Вспомнились чистые переживания этой тихой жизни, встали в памяти те дни, когда он жил среди родных, которые не чаяли в нем души. Дорогие ему люди следовали естественным законам домашнего очага и в этом находили счастье, полное, постоянное и без душевных мук. При всех своих хороших мыслях Эжен не имел решимости пойти и исповедать веру чистых душ перед Дельфиной, требуя добродетели именем любви. Его перевоспитание началось и уже принесло плоды. Даже любовь его стала себялюбивой. Он чутьем постиг внутреннюю сущность Дельфины и предугадывал, что его возлюбленная способна отправиться на бал, переступив через отцовский труп; но у него не было ни силы стать моралистом, ни мужества пойти на ссору, ни добродетельной готовности расстаться с ней. «Если я поставлю на своем, она никогда мне не простит», – подумал он. И вслед за тем он стал перебирать мнения врачей: ему хотелось убедить себя, что болезнь папаши Горио не так уж опасна, как он воображал, – иначе говоря, он начал подбирать предательские доводы для оправдания Дельфины. Она ведь не знает, в каком состоянии находится ее отец; если бы сейчас она поехала к нему, то сам старик отправил бы ее на бал. Общественный закон, безжалостный в своих формальных приговорах, нередко признает виновность там, где преступление хотя и очевидно, но может быть оправдано бесчисленными смягчающими обстоятельствами, какие создаются в семейной обстановке на почве несходства характеров, различия положений и интересов. Эжену хотелось обмануть самого себя, он был готов пожертвовать любовнице своею совестью. За последние два дня все изменилось в его жизни. Женщина уже внесла в нее разруху, заставила померкнуть в его глазах семью, завладела всем. Растиньяк и Дельфина встретились при условиях, созданных как бы нарочно для того, чтобы они могли друг другу дать как можно больше чувственного наслаждения. Их хорошо вызревшая страсть не только не потухла от того, что убивает страсти, – от их удовлетворения, – но разгорелась еще больше. Уже обладая своей любовницей, Эжен понял, что раньше только желал ее, а полюбил – лишь испытав блаженство: может быть, любовь не что иное, как чувство благодарности за наслаждение. Все равно, какой бы ни была Дельфина, бесчестной или безупречной, он обожал ее и за те чувственные радости, которые, как брачный дар, он сам принес ей, и за те, которые дала ему она; Дельфина тоже любила Растиньяка, как Тантал полюбил бы ангела, который прилетал бы, чтоб утолить его голод и успокоить чувство жажды в пересохшем горле.

– Вот теперь скажите, как здоровье папы? – спросила г-жа де Нусинген, когда Эжен вернулся в бальном костюме.

– Очень плохо, – ответил он. – Если вы хотите дать мне доказательство вашей любви, заедемте к нему.

– Хорошо, но после бала. Добрый мой Эжен, будь милым и не читай мне нравочений. Едем. Они поехали. Половину дороги Эжен молчал.

– Что с вами? – спросила его Дельфина.

– Мне слышится предсмертный хрип вашего отца, – раздраженно ответил он.

И с пылким юношеским красноречием стал ей описывать и безжалостный поступок графини де Ресто, подсказанный тщеславием, и роковой перелом в болезни, вызванный последним проявлением отцовской преданности, и то, какой ценой достался Анастази расшитый блестками наряд. Дельфина плакала.

«Я подурнею», – мелькнула у нее мысль.

И слезы высохли.

– Я буду ходить за отцом – ни шагу от его постели, – ответила она.

– Вот такой мне и хотелось тебя видеть! – воскликнул Растиньяк.

Пятьсот карет своими фонарями освещали улицу перед особняком де Босеанов. С обеих сторон иллюминированных ворот красовалось по жандарму на коне. Высший свет вливался в дом таким потоком, так торопился посмотреть на виконтессу в момент ее падения, что к приезду г-жи де Нусинген и Растиньяка все комнаты в нижнем этаже заполнились гостями. С той поры, как Людовик XIV лишил герцогиню де Монпансье, свою кузину, ее любовника и все королевские придворные кинулись к ней во дворец, ни одно любовное крушение не сопровождалось таким шумом, как крушение счастья г-жи де Босеан. В этой драме последняя представительница дома почти самодержавных герцогов Бургундии доказала, что она сильнее своей муки, и до последнего мгновения царила над светским обществом, снисходя к его тщеславным интересам, чтобы они служили торжеству ее любви. Самые красивые женщины Парижа оживляли ее гостиные своими улыбками и туалетами. Высшие придворные, посланники, министры, все люди, чем-либо известные, увешанные орденами, звездами и лентами разных цветов, толпились вокруг г-жи де Босеан. Мелодии оркестра носились под золочеными стропилами дворца, ставшего пустыней для его царицы. Г-жа де Босеан, стоя в дверях первой гостиной, принимала своих так называемых друзей. Вся в белом, без всяких украшений в волосах, с просто уложенными на голове косами, совершенно спокойная на вид, она не проявляла ни гордости, ни скорби, ни поддельного веселья. Никто не мог читать в ее душе. Можно сказать – то была мраморная Ниобея. В улыбке, которую она дарила самым близким из друзей, сквозила иногда горькая усмешка; но всем другим она являлась неизменной, предстала им все той же, какой была, когда она светилась лучами счастья; и даже бесчувственные люди восхищались этой силой воли, как молодые римлянки рукоплескали гладиатору, если он умирал с улыбкой на устах. Казалось, высший свет явился во всем блеске проститься с одной из своих владычиц.

– Я так боялась, что вы не будете, – сказала она Растиньяку.

– Я прибыл с тем, чтобы уйти последним, – ответил Растиньяк с волнением в голосе, приняв за упрек ее слова.

– Прекрасно, – сказала она, подавая ему руку. – Здесь вы – может быть, единственный, кому бы я решилась довериться. Друг мой, любите только такую женщину, которую могли бы вы любить всегда. Никогда не бросайте женщину.

Она взяла Эжена под руку, отвела в гостиную, где играли в карты, и усадила там на канapé.

– Съездите к маркизу, – попросила она. – Мой лакей Жак проводит вас туда и передаст вам для него письмо. Я прошу его вернуть мне мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам все. Если вы их получите, возьмите их с собой и поднимитесь ко мне в комнату. Мне скажут.

Она встала, чтобы встретить свою лучшую приятельницу, герцогиню де Ланже. Растиньяк приказал ехать прямо к особняку Рошфидов, где рассчитывал застать вечером маркиза д'Ажуда, и, действительно застав его там, попросил вызвать. Маркиз отвез его к себе и, отдавая шкатулку Растиньяку, сказал:

– Здесь все...

Видимо, ему хотелось поговорить с Эженом: возможно, он собирался расспросить его о бале и о виконтессе, а может быть, хотел признаться, что он уже теперь в отчаянии от будущего брака, – который и в самом деле оказался для него несчастным, – но гордый блеск сверкнул в глазах маркиза, и с мужеством, достойным порицания, он затаил в себе самые благородные из чувств.

– Дорогой Эжен, не говорите ей ни слова обо мне.

Д'Ажуда с нежной грустью пожал руку Растиньяку и, кивнув головой, отпустил его. Эжен вернулся в особняк де Босеанов; его провели в комнату виконтессы, где он заметил приготовления

к отъезду. Растиньяк сел у камина, взглянул на кедровую шкатулку и впал в глубокую печаль. Своим величием г-жа де Босеан напоминала ему богиню из «Илиады».

– Это вы, мой друг, – входя, сказала виконтесса и положила руку на плечо Эжена.

Он посмотрел на кухню: она плакала, ее взор был устремлен ввысь, рука на его плече дрожала, другая бессильно опустилась. Вдруг она схватила кедровую шкатулку, положила ее в камин и стала наблюдать, как она горит.

– Танцуют! Все пришли точно в назначенное время, а смерть придет поздно. Тсс! друг мой, – произнесла она, приложив палец к его губам, когда Эжен хотел заговорить. – Я больше не увижу ни света, ни Парижа – никогда. В пять часов утра я еду хоронить себя в глуши Нормандии. С трех часов дня мне пришлось готовиться к отъезду, подписывать бумаги, устраивать свои дела; я не могла никого послать к...

Она остановилась.

– Ведь его, конечно, пришлось бы разыскивать у...

И она вновь остановилась, подавленная горем. В такие минуты все вызывает боль души и некоторых слов нельзя произнести.

– Короче говоря, я только и надеялась, что вы окажете мне эту последнюю услугу. Мне бы хотелось подарить вам что-нибудь в знак дружбы. О вас я буду думать часто, вы мне казались благородным и добрым, юным и чистым, а в высшем свете эти свойства очень редки. Я хочу, чтобы и вы иногда вспоминали обо мне. Постойте, – сказала она, оглядывая комнату, – вот ларчик, где лежали мои перчатки; каждый раз, когда я доставала их перед выездом на бал или в театр, я чувствовала себя красивой оттого, что была счастлива, и, закрывая ларчик, я неизменно оставляла в нем какую-нибудь приятную мысль, в нем много моего, в нем память о той госпоже де Босеан, которой больше нет. Возьмите его себе. Я распорядюсь, чтобы его доставили к вам, на улицу д'Артуа. Сегодня госпожа де Нусинген прекрасна. Любите ее по-настоящему. Друг мой, если мы больше и не увидимся, будьте уверены, что я за вас молюсь; вы были так добры ко мне. Пойдемте вниз, я не хочу давать им повод думать, что я плачу. Передо мной целая вечность, я буду одинока, и никогда никто меня не спросит, откуда мои слезы. Взгляну еще раз на эту комнату.

Она умолкла. На одну минуту она прикрыла глаза ладонью, потом отерла их, освежила холодной водой и взяла Эжена под руку.

– Идемте! – сказала она.

Эжен ни разу не испытывал такого душевного подъема, как теперь, соприкоснувшись с этой гордо затаенной скорбью. Возвратясь в бальный зал, Эжен обошел его под руку с г-жой де Босеан, – последний утонченный знак внимания к нему этой чудесной женщины. Вскоре он заметил обеих сестер баронессу де Нусинген и графиню де Ресто. Графиня выставила напоказ все бриллианты и была великолепна, но, вероятно, они жгли ее: она надела их в последний раз. Как ни сильны были в ней гордость и любовь, ей было трудно глядеть в глаза своему мужу. Такое зрелище, конечно, не могло настроить мысли Растиньяка на менее печальный лад. Глядя на бриллианты сестер, он так и видел дрянную койку, на которой умирал папаша Горио. Грустный вид Эжена ввел в заблуждение виконтессу, она высвободила свою руку.

– Я не хочу лишать вас удовольствия, – объяснила она.

Его сейчас же подозвала к себе Дельфина, радуясь своему успеху и горя желанием сложить к ногам Эжена дань поклонения, собранную ею в высшем свете, где она теперь надеялась быть принятой.

– Как вы находите Нази? – спросила она.

– Она пустила в оборот все, даже смерть своего отца, – ответил Растиньяк.

К четырем часам утра толпа в гостиных начала редеть. Вскоре умолкли звуки музыки. В большой гостиной сидели только герцогиня де Ланже и Растиньяк. Виконтесса, в надежде встретить Эжена одного, пришла туда, простившись с виконтом де Босеаном, который, уходя спать, сказал ей еще раз:

– Напрасно, дорогая, вы в вашем возрасте хотите стать затворницей! Оставайтесь с нами.

Увидев герцогиню, г-жа де Босеан невольным возгласом выразила удивление.

– Клара, я догадалась, – сказала герцогиня де Ланже. – Вы уезжаете и больше не вернетесь.



Но вы не уедете, пока не выслушаете меня и пока мы не пойдем друг друга.

Она взяла свою приятельницу под руку, увела в соседнюю гостиную и там, со слезами на глазах, крепко обняв ее, поцеловала в обе щеки.

– С вами, дорогая, я не могу расстаться холодно, это было бы для меня чересчур тяжким укором. Вы можете положиться на меня, как на самое себя. Сегодня вечером вы показали ваше величие, я почувствовала, что вы мне близки по душе, и мне хотелось бы вам это доказать. Я виновата перед вами, я не всегда хорошо относилась к вам; простите мне, дорогая; я осуждаю в себе все, что вам могло причинить боль, я бы хотела взять обратно все прежние свои слова. Одинаковое горе породило наши души, и я не знаю, кто из нас будет несчастнее. Генерал де Монриво не приехал сюда вечером, – вы понимаете, что это значит? Кто видел вас на этом бале, Клара, тот не забудет вас никогда. А я? Я делаю последнюю попытку. Если меня постигнет неудача, уйду в монастырь! Но куда вы едете?

– В Нормандию, в Курсель, любить, молиться до того дня, когда господь возьмет меня из этого мира.

– Господин де Растиньяк, идите сюда, – сердечно сказала виконтесса, вспомнив, что Эжен ждет.

Растиньяк стал на одно колено, взял руку виконтессы и поцеловал.

– Прощайте, Антуанетта, – сказала г-жа де Босеан, – будьте счастливы. Что касается до вас, то вы счастливы и так, – обратилась она к студенту, вы молоды, вы еще можете во что-то верить. Как некоторые счастливы в их смертный час, я в час ухода своего от светской суеты нашла здесь около себя святые, чистые волнения близких мне людей.

Растиньяк ушел около пяти часов утра, когда г-жа де Босеан уже села в дорожную карету и простилась с ним в слезах, доказывавших, что и самые высокопоставленные люди подчинены законам чувства и знают в жизни горе, хотя есть личности, которые, чтобы угодить толпе, стараются доказать обратное. В холодную, ненастную погоду Эжен пешком вернулся в «Дом Воке». Его обречение завершилось.

– Нам не спасти беднягу Горио, – сказал Бьяншон, когда Эжен вошел к своему соседу.

– Друг мой, слушай, – обратился к нему Эжен, взглянув на спавшего старика, – иди к той скромной цели, которой ты ограничил свои желания. Я попал в ад и в нем останусь. Все плохому, что будут говорить тебе о высшем свете, верь! Нет Ювенала, который был бы в силах изобразить всю его мерзость, прикрытую золотом и драгоценными камнями.

На следующий день, часов около двух, Растиньяк разбудил Бьяншона: ему было необходимо выйти из дому, и он просил Эжена побыть с папашей Горио, так как состояние больного сильно ухудшилось за утро.

– Старичку осталось жить дня два, а может быть, только часов шесть, сказал медик, – и все-таки нельзя прекращать борьбу с болезнью. Надо будет применять лечение, которое стоит недешево. Конечно, мы останемся сиделками при старике, но у меня самого нет ни одного су. Я вывернул все его карманы, перерыл все шкапы, а в итоге – ноль. Я спрашивал его, когда он был в сознании, и получил ответ, что у него нет ни лиара. Сколько у тебя?

– У меня осталось двадцать франков, – ответил Растиньяк, – но я пойду сыграю на них и выиграю.

– А если проиграешь?

– Потребую денег от его зятьев и дочерей.

– А если не дадут? – спросил Бьяншон. – Впрочем, сейчас самое нужное не добывать деньги, а обложить ему ноги горячими горчичниками, от ступней до половины ляжек. Если он начнет кричать, значит есть надежда. Как ставить горчичники, ты знаешь. Да и Кристоф тебе поможет. А я пойду к аптекарю и поручусь, что будет уплачено за все лекарства, которые нам придется забирать. Жаль, что беднягу нельзя перенести в нашу больницу, там ему было бы лучше. Ну, идем, я все объясню тебе на месте, а ты не отлучайся, пока я не вернусь.

Молодые люди вошли в комнату, где лежал старик. Взглянув на его искаженное болью, бледное, резко осунувшееся лицо, Растиньяк ужаснулся такой перемене.

– Ну, как, папа? – спросил он, наклоняясь над постелью.

Горио поднял тусклые глаза и очень внимательно посмотрел на Эжена, но не узнал его. Студент не выдержал, и слезы выступили на его глазах.

– Бьяншон, не надо ли завесить окна?

– Нет, внешняя среда на него уже не действует. Было бы очень хорошо, если бы он чувствовал тепло и холод; но все равно придется топить печь, чтобы готовить отвары, да и для других надобностей. Я пришлю тебе несколько вязанок дров, будем их жечь, пока не раздобудем еще. Вчера и сегодня ночью я сжег твои дрова и весь торф, какой нашел у этого бедняги. Сырость была такая, что капало со стен. Насилу я просушил комнату. Кристоф подмел ее, а то была настоящая конюшня. Я покурил можжевельником, уж чересчур воняло.

– Боже мой! А его дочери?! – воскликнул Растиньяк.

– Слушай, если он попросит пить, дай ему вот этого, – сказал медик, указывая на большой белый кувшин. – Если услышишь, что он жалуется на боль, а живот будет твердый и горячий, тогда пускай Кристоф поможет поставить ему... ты знаешь что. Если он ненароком придет в возбужденное состояние, начнет много говорить, даже будет чуточку не в своем уме и понесет чушь, не останавливай. Это неплохой признак. Но все-таки пошли Кристофа в больницу Кошена. Наш врач, я сам или мой товарищ придем сделать ему прижигания. Сегодня утром, пока ты спал, мы собрали большой консилиум с участием одного ученика Галля, а также главного врача из нашей больницы и главного врача из Отель-Дье. Им кажется, что они установили очень интересные симптомы, и мы будем следить за развитием болезни для уяснения ряда вопросов, весьма важных с научной стороны. Один из этих врачей уверяет, что если давление серозной жидкости действует на один орган сильнее, чем на другой, то это может вызвать совершенно особые явления. В случае, если он заговорит, прислушайся внимательно, чтобы определить, в каком кругу понятий станут вращаться его разговоры: чем они будут вызываться – воспоминанием, мыслями о будущем или суждением о настоящем, занимают ли его вопросы чувства или материального порядка, не делает ли он подсчетов, не возвращается ли к прошлому: короче говоря, ты должен дать нам совершенно точный отчет. Возможно, что сразу произошло кровоизлияние в мозг, тогда он умрет в состоянии того же слабоумия, какое у него сейчас. В болезнях подобного рода все необычно. Когда удар случается вот в этом месте, – сказал Бьяншон, указывая на затылок больного, – то бывают примеры странных явлений: работа мозга частично восстанавливается, и тогда смерть наступает позже. Кровоизлияние может и не дойти до мозга, а избрать другие пути, но направление можно установить только при вскрытии. В больнице для неизлечимых есть слабоумный старик, у него кровоизлияние пошло вдоль позвоночника; страдает он ужасно, но живет.

– Хорошо они повеселились? – спросил папаша Горио, узнав Эжена.

– Он только и думает о дочерях, – сказал Бьяншон. – За эту ночь он повторил раз сто: «Они танцуют! На ней новое платье!» Звал их по именам. Черт подери! Своими причитаниями он и меня заставил прослезиться: «Дельфина, моя Дельфина! Нази!» Честное слово, было от чего расплакаться.

– Дельфина тут, правда? Я так и знал, – вымолвил старик.

И глаза его с какой-то неестественной живостью оглядывали дверь и стены.

– Я сойду вниз и велю Сильвии приготовить горчичники, момент благоприятный, – крикнул Бьяншон.

Растиньяк остался вдвоем со стариком и, сидя у него в ногах, уставился глазами на старческую голову: ему и жутко и горько было на нее смотреть.

«Виконтесса де Босеан бежала, этот умирает, – подумал Растиньяк. – Люди с тонкой душой не могут долго оставаться в этом мире. Да и как благородным, большим чувствам ужиться с мелким, ограниченным, ничтожным обществом?»

Картины великосветского бала, где он был гостем, возникли в его памяти разительным контрастом с этим смертным одром. Неожиданно вошел Бьяншон.

– Слушай, Эжен, я сейчас виделся с нашим главным врачом и во весь дух понесся сюда. Если у больного появятся признаки рассудка, если он заговорит, поставь ему продольный горчичник, так чтобы охватить спину от шеи до крестца, и пошли за нами.

– Какой ты милый, Бьяншон, – сказал Эжен.

– О, тут дело касается науки! – ответил медик со всем пылом новообращенного.

– Значит, только я ухаживаю за бедным стариком из любви? – спросил Растиньяк.

– Ты бы этого не говорил, если бы видел меня сегодня утром, – возразил Бьяншон, не обижаясь на это замечание. – Врачи уже привычные видят только болезнь, а я, братец мой, пока еще вижу и больного.

Он оставил со стариком Эжена и ушел, предчувствуя близкий кризис, действительно не замедливший наступить.

– А-а! Это вы дитя мое! – сказал папаша Горио, узнав Эжена.

– Вам лучше? – спросил студент, беря его руку.

– Да, мне сдавило голову, точно тисками, но теперь стало отпускать. Видели вы моих дочек? Скоро они придут сюда, прибегут сейчас же, как только узнают, что я болен. Как они ухаживали за мной на улице Жюсьен! Боже мой! Мне бы хотелось, чтобы к их приходу в комнате было чисто. Тут ходит один молодой человек, он сжег у меня весь торф.

– Я слышу, Кристоф тащит сюда по лестнице дрова, их вам прислал этот молодой человек.

– Это хорошо! Только чем заплатить за дрова? У меня, сынок, ни одного су. Я все отдал, все. Я нищий. Платье-то с блестками, по крайности, было ли красиво? (Ах, как болит!) Спасибо, Кристоф, бог вам воздаст, а у меня нет ничего.

– Я заплачу за все и тебе и Сильвии, – шепнул Эжен на ухо Кристофу.

– Кристоф, дочки говорили, что сейчас приедут, – ведь правда? Сходи к ним еще раз, я дам тебе сто су. Скажи, что я чувствую себя плохо, хочу перед смертью обнять их и повидать еще разок. Скажи им это, только не очень их пугай.

Растиньяк сделал знак Кристофу, и тот вышел.

– Они приедут, – снова заговорил старик. – Я-то их знаю. Добрая моя Фифина, какое горе я причиню ей, ежели умру! Нази тоже. Я не хочу смерти, чтобы они не стали плакать. Милый мой Эжен, умереть – ведь это больше не видеть их. Там, куда уходят все, я буду тосковать. Разлука с детьми – вот ад для отца, и я уже приучался к нему с той поры, как они вышли замуж. Улица Жюсьен – вот был рай! Скажите, а если я попаду в рай, смогу ли я, как дух, вернуться на землю и быть с ними? Я слышал разговоры о таких вещах. Правда ли это? Вот сейчас я будто наяву их вижу, какими они были на улице Жюсьен. По утрам дочки сходили вниз. «Доброе утро, папа», – говорили они. Я сажал их к себе на колени, всячески их подзадоривал, шутил. Они были так ласковы со мной. Всякий день мы завтракали вместе, вместе обедали, – словом, я был отцом, я наслаждался близостью ко мне детей. Когда мы жили на улице Жюсьен, они не умничали, ничего не понимали в жизни и очень меня любили. Боже мой! Зачем не остались они маленькими? (О, какая боль! Вся голова трещит!) Ай, ай, простите меня, детки, мне ужасно больно; значит, это уж по-настоящему мучительно, а то ведь выучили меня терпеть боль. Боже мой! Только бы держать в своих руках их руки, и я бы не чувствовал никакой боли. Как вы думаете, они придут? Кристоф такой дурак! Следовало бы пойти мне самому. Вот он увидит их. Да-а! Вчера вы были на балу. Расскажите же мне про них, как и что? Они, конечно, ничего не знали о моей болезни? Бедные девочки не стали бы, пожалуй, танцевать! Я не хочу больше болеть. Я им еще очень нужен. Их состояние под угрозой. Каким мужьям они достались! Вылечите меня! Вылечите! (Ох, как больно! Ай, ай, ай!) Вы сами видите, нельзя меня не вылечить: им нужны деньги, а я знаю, куда поехать, где их заработать. Я поеду в Одессу делать чистый крахмал. Я дока, я наживу миллионы. (Ох, уж очень больно!)

С минуту Горио молчал, видимо изо всех сил стараясь преодолеть боль.

– Будь они здесь, я бы не жаловался, – сказал он. – С чего бы я стал жаловаться?

Он стал дремать и почти уснул. Кристоф вернулся. Растиньяк думал, что Горио спит, и не остановил Кристофа, начавшего громко рассказывать о том, как выполнил он поручение.

– Сударь, сперва пошел я к графине, только поговорить с ней нельзя было никак: у нее нынче большие нелады с мужем. Я все настаивал, тогда вышел сам граф и сказал мне этак: «Господин Горио умирает, ну так что же! И хорошо делает. Мне нужно закончить с графиней важные дела, она поедет, как все кончится». Видать, что он был в сердцах. Я было собрался домой, а тут графиня выходит в переднюю, – а из какой двери, я и не приметил, – и говорит: «Кристоф, скажи отцу,

что у меня с мужем спор, я не могу отлучиться: дело идет о жизни или смерти моих детей. Как все закончится, я приеду». А что до баронессы, тут история другая! Ее я вовсе не видал, так что и говорить с ней не пришлось, а горничная мне сказала: «Ах, баронесса вернулась с бала в четверть шестого и сейчас спит; коли разбужу ее раньше двенадцати, она забранит. Вот позвонит мне, тогда я ей и передам, что отцу хуже. Плохую-то весть сказать всегда успеешь». Как я ни бился, все зря. Просил поговорить с бароном, а его не оказалось дома.

– Так не придет ни одна из дочерей? – воскликнул Растиньяк. – Сейчас напишу обеим.

– Ни одна! – отозвался старик, приподнимаясь на постели. – У них дела, они спят, они не придут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах, друг мой, не женитесь, не заводите детей! Вы им дарите жизнь, они вам – смерть. Вы их производите на свет, они вас сживают со свету! Не придут! Мне это известно уже десять лет. Я это говорил себе не один раз, но не смел этому верить.

На воспаленные края его век скатились две слезы и так застыли.

– Ах, кабы я был богат, кабы не отдал им свое богатство, а сохранил у себя, они были бы здесь, у меня бы щеки лоснились от их поцелуев. Я бы жил в особняке, в прекрасных комнатах, была бы у меня прислуга, было бы мне тепло; дочери пришли бы все в слезах, с мужьями и детьми. Так бы оно и было! А теперь ничего. За деньги купишь все, даже дочерей. О, мои деньги, где они?! Если бы я оставлял в наследство сокровища, дочери ходили бы за мной, лечили меня; я бы и слышал и видел их. Ах, мой сынок, единственное мое дитя, я предпочитаю быть бесприютным, нищим. По крайности, когда любят бедняка, он может быть уверен, что любим сам по себе. Нет, я хотел бы быть богатым, тогда бы я их видел... Хотя, правда, как знать? У них обеих сердца каменные. Я чересчур любил их, чтобы они меня любили. Отец непременно должен быть богат, он должен держать детей на поводу, как норовистых лошадей. А я стоял перед ними на коленях. Негодницы! Они достойно завершают свое отношение ко мне за все эти десять лет. Если бы вы знали, до чего они были внимательны ко мне в первые годы замужества! (Ох, как болит, какая мука!) Я дал за каждой восемьсот тысяч франков; тогда еще им самим, да и мужьям их было неловко обращаться со мною бесцеремонно. Меня принимали: «Милый папа, садитесь вот сюда. Дорогой папа, садитесь лучше там». Для меня всегда стоял на столе прибор. Мужья относились ко мне почтительно, и я обедал с ними. Им казалось, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я никогда не говорил им про свои дела. Но когда человек дает в приданое восемьсот тысяч, за ним сто́ит поухаживать. И за мной всячески ухаживали, – конечно, ради моих денег. Люди очень неприглядны. Я-то на них насмотрелся! Меня возили в карете по театрам, я и на вечерах сидел у них сколько угодно. Словом, они называли себя моими дочерьми, признавали меня своим отцом. Я еще не потерял сметливости, и от меня нескроешь ничего. Все доходило до меня и пронзало сердце. Я хорошо видел, что это все одно притворство, а помочь горю было нечем. У них я чувствовал себя не так свободно, как за столом здесь, внизу. Я не знал, что и как сказать. Бывало, кто-нибудь из великосветских гостей спросит на ухо моих зятьев:

– Это кто такой?

– Это отец – золотой мешок, богач.

– Ах! Черт возьми! – слышалось в ответ, и на меня смотрели с уважением... к моим деньгам. Конечно, иной раз я бывал им немножко в тягость, но ведь я искупал свои недостатки. А кто без недостатков? (Голова моя – сплошная рана!) Сейчас я мучаюсь так, что можно умереть от одной этой муки, и вот, дорогой мой Эжен, она – ничто в сравнении с той болью, какую причинила мне Анастаси одним своим взглядом, когда она впервые дала понять мне, что я сказал глупость и осрамил ее. От ее взгляда у меня вся кровь отхлынула от сердца. Мне захотелось узнать, в чем дело, но я узнал только одно, что на земле я лишний. Для утешения я на другой день пошел к Дельфине, но там тоже сделал промах и прогневил дочку. От этого я стал как не в своем уме. Целую неделю я не знал, как мне быть; пойти к ним не решался, боясь упреков, и вышло, что двери их домов закрылись для меня! Господи боже мой! Ты же знаешь, сколько я вытерпел страданий, горя; ты вел счет тяжким моим ранам за все то время, которое меня так изменило, состарило, покрыло сединой, совсем убило; почему же ты заставляешь меня мучиться теперь? Я вполне искупил свой грех – свою чрезмерную любовь. Они жестоко отплатили мне за мое чувство, – как палачи, они



клещами рвали мое тело. Что делать! Отцы такие дураки! Я так любил дочерей, что меня всегда тянуло к ним, как игрока в игорный дом. Дочери были моим пороком, моей любовной страстью, всем! Общим чего-нибудь хотелось, каких-нибудь там драгоценных безделушек; горничные говорили мне об этом, и я дарил, чтобы они получше приняли меня. Все-таки дочери дали мне несколько уроков, как держаться в светском обществе. Но не стали ждать результатов, а только краснели за меня. Да, да, вот и давай хорошее воспитание своим детям! Не мог же я в моем возрасте поступить в школу. (Боже, какая ужасная боль! Врачей! Врачей! Если мне вскроют голову, мне станет легче!) Дочки, дочка Анастаси, Дельфина! Я хочу их видеть! Пошлите за ними жандармов, приведите силой! За меня правосудие, за меня все – и природа и кодекс законов. Я протестую. Если отцов будут топтать ногами, отечество погибнет. Это ясно. Общество, весь мир держится отцовством, все рухнет, если дети перестанут любить своих отцов. О, только бы их видеть, слышать; все равно, что они будут говорить, только бы я слышал их голоса, особенно Дельфины, это облегчило бы мне боль. Но когда они будут здесь, попросите их не смотреть на меня так холодно, как они привыкли. Ах, добрый друг мой, господин Эжен, вы не знаете, каково это видеть, когда золото, блестящее во взгляде, вдруг превращается в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали греть меня своими лучами, здесь для меня всегда была зима, мне ничего не оставалось, как глотать горечь обиды. И я глотал! Я жил, чтоб подвергаться лишь унижениям и оскорблениям. Я так любил обеих, что терпел все поношения, ценой которых я покупал постыдную маленькую радость. Отец украдкой видит дочерей! Я отдал им всю свою жизнь, – они сегодня не хотят отдать мне даже час! Томит жажда, голод, внутри жжет, а они не придут облегчить мою агонию, – я ведь умираю, я это чувствую. Видно, они не понимают, что такое попирать ногами труп своего отца! Есть бог на небе, и он мстит за нас, отцов, хотим мы этого или не хотим. Нет, они придут! Придите, мои миленькие, придите еще раз поцеловать меня, дайте вместо предсмертного причастия последнее лобзание вашему отцу, он будет молить бога за вас, скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, будет вашим заступником перед ним! В конце концов вина не ваша. Друг мой, они не виноваты. Скажите это всем, всему свету, чтоб не осуждали их из-за меня. Мой грех! Я сам их приучил топтать меня ногами. Мне это нравилось. Но до этого нет дела никому, ни человеческому, ни божьему правосудию. Бог будет несправедлив, если накажет их за меня. Я не умел себя поставить, я сделал такую глупость, что отказался от своих прав. Ради них я унижал самого себя! Чего же вы хотите! Самая лучшая натура, лучшая душа не устояла бы и соблазнилась бы из-за такой отцовской слабости. Я жалкий человек и наказан поделом. Один я был причиной распущенности дочерей, я их избаловал. Теперь они требуют наслаждений, как раньше требовали конфет. Я потакал всем их девичьим прихотям. В пятнадцать лет у них был собственный выезд! Ни в чем не было им отказа. Виноват один я, но вся вина в моей любви. Их голоса хватили меня за сердце. Я слышу их, они идут. О да, они придут. Закон повелевает посетить умирающего отца, закон за меня. Да это и не требует расходов, кроме проезда на извозчике. Я оплачу его. Напишите им, что я оставляю в наследство миллионы! Честное слово! Я поеду в Одессу делать вермишель. Я знаю способ. С моим проектом можно нажить миллионы. Об этом еще никто не думал. При перевозке вермишель не портится, как зерно или мука. Да! Да! А крахмал?! В нем миллионы! Вы не солжете, так и говорите: миллионы. Если даже они придут из жадности, – пусть я обманусь, о их увижу. Я требую дочерей! Я создал их! Они мои! – сказал он, поднимаясь на постели и поворачивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами и с грозным выражением в каждой черте лица, способной выразить угрозу.

– Ну же, лягте, милый папа Горио, сейчас я напишу им, – уговаривал его Эжен. – Как только вернется Бьяншон, я сам пойду к ним, если они не приедут.

– Если не приедут? – повторил старик рыдая. – Но я умру, умру в припадке бешенства, да, бешенства! Я уже в бешенстве. Сейчас я вижу всю свою жизнь. Я обманут! Они меня не любят и не любили никогда! Это ясно. Раз уж они не пришли, то и не придут. Чем больше они будут мешкать, тем труднее будет им решиться порадовать меня. Я это знаю. Они никогда не чувствовали ни моих горестей, ни моих мук, ни моих нужд, – не почувствуют и того, что я умираю; им непонятна даже тайна моей нежности. Да, я это вижу, они привыкли потрошить меня, и потому все, что я делал для них, теряло цену. Пожелай они выколоть мне глаза, я бы ответил им: «Нате, колите!» Я

слишком глуп. Они воображают, что у всех отцы такие же, как их отец. Надо всегда держать себя в цене. Их дети оплатят им за меня. Ради самих себя они должны прийти. Предупредите их, что они готовят себе такой же смертный час. В одном этом преступлении они совершают все мыслимые преступления. Идите же, скажите им, что их отказ прийти – отцеубийство! За ними и так довольно злодеяний. Крикните им, вот так: «Эй, Нази! Эй, Дельфина! Придите к вашему отцу, – он был так добр к вам, а теперь мучится». Ничего и никого. Неужели я подохну, как собака? Зброшен – вот моя награда. Преступницы, негодяйки! Они противны мне, я проклинаю их, я буду по ночам вставать из гроба и повторять свои проклятья, а разве я в конце концов не прав, друзья мои? Ведь они плохо поступают, а? Что это я говорю? Вы же сказали, что Дельфина здесь! Она лучше. Да, да, Эжен, вы мой сын! Любите ее, будьте ей отцом. Другая очень несчастна. А их состояния! Боже мой! Пришел конец, уж очень больно! Отрежьте мне голову, оставьте только сердце.

– Кристоф, сходите за Бьяншоном и приведите мне извозчика, – крикнул Эжен, испуганный криками и жалобами старика. – Милый папа Горио, я сейчас еду за вашими дочерьми и привезу их.

– Насильно, насильно! Требуйте гвардию, армию, все, все! – крикнул старик, бросив на Эжена последний взгляд, где еще светился здравый ум. Скажите правительству, прокурору, чтобы их привели ко мне, я требую этого!

– Вы же их прокляли?

– Кто вам сказал? – спросил старик в недоумении. – Вы-то прекрасно знаете, что я люблю их, обожаю! Я выздоровлю, если их увижу. Ступайте, милый сосед, дорогое дитя мое, ступайте, вы хороший. Хотелось бы мне вас отблагодарить, да нечего мне дать, кроме благословения умирающего. Ах, хотя бы повидать Дельфину, попросить ее, чтобы она вознаградила вас. Если старшей нельзя, то привезите мне Дельфину. Скажите ей, что если она откажется приехать, то вы разлюбите ее. Она так любит вас, что приедет. Пить! Все нутро горит! Положите мне что-нибудь на голову, – руку бы дочери, – я чувствую, это бы спасло меня. Боже мой! Если меня не будет, кто же вернет им состояние? Хочу ехать в Одессу ради них... в Одессу, делать вермишель...

– Пейте, – сказал Эжен, левой рукой приподнимая умирающего, а в правой держа чашку с отваром.

– Вот вы, наверно, любите вашего отца и вашу мать! – говорил старик, слабыми руками сжимая Эжену руку. – Вы понимаете, что я умру, не повидав своих дочерей! Вечно жажда и никогда не пить – так жил я десять лет. Зятя убили моих дочерей. Да, после их замужества у меня не стало больше дочерей. Отцы, требуйте от палат, чтобы издан был закон о браке! Не выдавайте замуж дочерей, если их любите. Зять – это негодяй, который развращает всю душу дочери, оскверняет все. Не надо браков! Брак отнимает наших дочерей, и, когда мы умираем, их нет при нас. Оградите права умирающих отцов. То, что происходит, – ужас! Мщения! Это мои зятья не позволяют им прийти. Убейте их! Смерть этому Ресто, смерть эльзасцу, они мои убийцы. Смерть вам – иль отпустите дочерей! Конец! Я умираю, не повидав их! Их! Придите же, Нази, Фифина! Ваш папа уходит...

– Милый папа Горио, успокойтесь, лежите тихо, не волнуйтесь, не думайте.

– Не видеть их – вот агония!

– Вы скоро их увидите.

– Правда? – воскликнул старик в забытьи. – О, видеть их! Я их увижу, услышу их голоса. Я умру счастливым. Да я и не хочу жить дольше, я жизнью уж не дорожил, мои мученья все умножались. Но видеть их, притронуться к их платью, только к платью, ведь это же такая малость; почувствовать их в чем-нибудь! Дайте мне в руки их волосы... воло...

Он упал головой на подушку, точно его ударили дубиной. Руки его задвигались по одеялу, как будто он искал волосы своих дочерей.

– Я их благословляю, благословляю, – с усилием выговорил он и сразу потерял сознание.

В эту минуту вошел Бьяншон.

– Я встретился с Кристофом, сейчас он приведет тебе карету, – сказал Бьяншон.

Затем он осмотрел больного, поднял ему веко, и оба студента увидели тусклый, лишенный жизни глаз.

– Мне думается, он больше не придет в себя, – заметил студент-медик.

Бьяншон пощупал пульс у старика, затем положил руку ему на сердце.

– Машина работает, но в его состоянии – это несчастье. Лучше бы он умер!

– Да, правда, – ответил Растиньяк.

– Что с тобой? Ты бледен как смерть.

– Сейчас я слышал такие стоны, такие вопли души. Но есть же бог! О да, бог есть и сделает мир наш лучше, или же наша земля – нелепость. Если бы все это было не так трагично, я бы залился слезами, но ужас сковал мне грудь и сердце.

– Слушай, понадобится всего еще немало, откуда нам взять денег?

Растиньяк вынул свои часы.

– Возьми и заложил их поскорее. Я не хочу задерживаться по дороге, чтобы не терять ни одной минуты, жду только Кристофа. У меня нет ни лиара, извозчику придется заплатить по возвращении.

Растиньяк сбежал вниз по лестнице и поехал на Гельдерскую улицу, к графине де Ресто. Дорогой, под действием воображения, пораженного ужасным зрелищем, свидетелем которого он был, в нем разгорелось негодующее чувство. Войдя в переднюю, Эжен спросил графиню де Ресто, но услышал в ответ, что она не принимает.

– Я приехал по поручению ее отца, он при смерти, – заявил Эжен лакею.

– Сударь, граф отдал нам строжайшее приказание...

– Если граф де Ресто дома, передайте ему, в каком состоянии находится его тесть, и скажите, что мне необходимо переговорить с ним немедленно.

Эжену пришлось ждать долго. «Может быть, в эту минуту старик уж умирает», – подумал он.

Наконец лакей проводил его в первую гостиную, где граф де Ресто, стоя у нетопленного камина, ждал Эжена, но не предложил ему сесть.

– Граф, – обратился к нему Растиньяк, – ваш тесть умирает в мерзкой дыре, и у него нет ни лиара, чтобы купить дров; он в самом деле при смерти и просит повидаться с дочерью...

– Господин де Растиньяк, как вы могли заметить, я не питаю особой нежности к господину Горио, – холодно ответил граф де Ресто. – Он злоупотребил положением отца графини де Ресто, он стал несчастьем моей жизни, я смотрю на него, как на нарушителя моего покоя. Умрет ли он, останется ли жив – мне все равно. Вот лично мои чувства по отношению к нему. Пусть порицают меня люди, я пренебрегаю их мнением. Сейчас я должен закончить очень важные дела, а не заниматься тем, как будут думать обо мне глупцы или безразличные мне люди. Что до графини Ресто, она не в состоянии поехать. Кроме того, мне нежелательно, чтобы она отлучалась из дому. Передайте ее отцу, что как только она выполнит свои обязательства в отношении меня и моего ребенка, она поедет навестить его. Если она любит своего отца, то может быть свободна через несколько секунд.

– Граф, не мне судить о вашем поведении, вы – глава вашей семьи, но я могу рассчитывать на ваше слово? В таком случае обещайте мне только сказать графине, что ее отец не проживет дня и уже проклял ее за то, что ее нет у его постели.

– Скажите ей это сами, – ответил де Ресто, затронутый чувством возмущения, звучавшим в голосе Эжена.

В сопровождении графа Растиньяк вошел в гостиную, где графиня обычно проводила время; она сидела, запрокинув голову на спинку кресла, вся в слезах, как приговоренная к смерти. Эжену стало ее жаль. Прежде чем посмотреть на Растиньяка, она бросила на мужа робкий взгляд, говоривший о полном упадке ее сил, сломленных физической и моральной тиранией. Граф кивнул головой, и она поняла, что это было разрешение говорить.

– Сударь, я слышала все. Скажите папе, что он меня простил бы, если бы знал, в каком я положении. Я не могла себе представить этой пытки, она выше моих сил, но я буду сопротивляться до конца, – сказала она мужу. – Я мать!.. Передайте папе, что перед ним я, право, не виновата, хотя со стороны это покажется не так! – с отчаяньем крикнула она Эжену.

Растиньяк, догадываясь, какой ужасный перелом происходил в ее душе, отклонялся супругам

и удалился потрясенный. Тон графа де Ресто ясно говорил о бесполезности его попытки, и он понял, что Анастаси утратила свободу.

Он бросился к г-же Нусинген и застал ее в постели.

– Я, милый друг, больна, – сказала она. – Я простудилась, возвращаясь с бала, боюсь воспаления легких и жду врача...

– Даже если бы вы были на краю могилы и едва волочили ноги, вы должны явиться к отцу, – прервал ее Эжен. – Он вас зовет! Если бы вы слышали хоть самый слабый его крик, у вас прошла бы вся болезнь.

– Эжен, быть может, отец не так уж болен, как вы говорите, однако я была бы в отчаянии, если бы хоть немного потеряла в вашем мнении, и поступлю так, как вы желаете. Но знаю, он умрет от горя, если моя болезнь станет смертельной после выезда. Хорошо! Я поеду, как только придет врач... О-о! Почему на вас нет часов? – спросила она, заметив отсутствие цепочки.

Растиньяк покраснел.

– Эжен! Эжен, если вы их потеряли, продали... о, как это было бы нехорошо!

Эжен наклонился над постелью и сказал на ухо Дельфине:

– Вам угодно знать? Хорошо! Знайте! Вашему отцу даже не на что купить себе саван, в который завернут его сегодня вечером. Часы в закладе, у меня не оставалось больше ничего.

Дельфина одним движением выпрыгнула из постели, подбежала к секретеру, достала кошелек и протянула Растиньяку. Затем позвонила и крикнула:

– Эжен, я еду, еду! Дайте мне время одеться. Да, я была бы чудовищем! идите, я приеду раньше вас! Тереза, – позвала она горничную, – попросите господина де Нусингена подняться ко мне сию минуту, мне надо с ним поговорить.

Эжен был счастлив объявить умирающему о скором приезде одной из дочерей и вернулся на улицу Нев-Сент-Женевьев почти веселым. Он начал рыться в кошельке, чтобы сейчас же заплатить извозчику: в кошельке у молодой женщины, такой богатой, такой изящной, оказалось только семьдесят франков. Поднявшись наверх, Эжен увидел, что Бьяншон поддерживает папашу Горио, а больничный фельдшер что-то делает над стариком под наблюдением врача. Старика прижигали спину раскаленным железом – последнее средство медицинской науки, средство бесполезное.

– Что-нибудь чувствуете? – допытывался врач у Горио.

Но вместо ответа папаша Горио, завидев Эжена, спросил:

– Они едут, это правда?

– Он может выкрутиться, раз он в состоянии говорить, – заметил фельдшер.

– Да, за мной едет Дельфина, – ответил старику Эжен.

– Слушай! Он все время говорил о дочерях, требовал их к себе и кричал так, как, по рассказам, кричат посаженные на кол, требуя воды.

– Довольно, – сказал врач фельдшеру, – тут ничего больше не поделаешь, спасти его нельзя.

Бьяншон с фельдшером вновь положили умирающего на зловонную постель.

– Все-таки следовало бы переменить белье, – заметил врач. – Правда, надежды нет, но человеческое достоинство надо уважать. Я еще зайду, Бьяншон, – сказал он студенту. – Если большой станет опять жаловаться, приложите к диафрагме опий.

Фельдшер и врач ушли.

– Слушай, Эжен, не падай, дружище, духом! – сказал Бьяншон Растиньяку, оставшись с ним вдвоем. – Сейчас надо только надеть ему чистую рубашку и сменить постельное белье. Пойди скажи Сильвии, чтобы она принесла простыни и помогла нам.

Эжен спустился в столовую, где г-жа Воке и Сильвия накрывали на стол. Едва он обратился к Сильвии, сейчас же подошла к нему вдова с кисло-сладким видом осмотрительной торговки, которой не хочется ни потерпеть убытка, ни раздосадовать покупателя.

– Дорогой мой господин Эжен, – начала она, – вы-то не хуже меня знаете, что у папаша Горио нет больше ни одного су. Когда человек того и гляди закатит глаза, давать ему простыни – значит загубить их, а и без того придется пожертвовать одну на саван. Вы мне и так должны сто сорок четыре франка, прикиньте сорок за простыни да еще немного за разные другие мелочи, за то, что Сильвия даст вам еще свечку, – все вместе составит не меньше двухсот франков, а такой



бедной вдове, как я, терять их не годится. Будьте справедливы, господин Эжен, довольно я потеряла убытку за эти пять дней, как посыпались на меня все несчастья. Я бы сама дала десять экю, только бы наш старичок уехал в тот срок, как вы мне обещали. А такая неприятность бьет по моим жильцам. Коль это даром, так лучше я отправлю его в больницу. Станьте на мое место. Мне мое заведение важнее всего, я им живу.

Растиньяк быстро поднялся к Горио.

– Бьяншон, где деньги за часы?

– Там, на столе; осталось триста шестьдесят с чем-то. Я расплатился начисто за все, что брал сам. Квитанция ссудной кассы под деньгами.

– Теперь, госпожа Воке, давайте рассчитаемся, – сказал Растиньяк с чувством омерзения, сбежав с лестницы. – Господин Горио останется у вас недолго, и я...

– Да, беднягу вынесут ногами вперед, – полугрустно-полурадостно говорила она, пересчитывая двести франков.

– Бросим этот разговор, – сказал Растиньяк.

– Сильвия, дайте простыни и ступайте наверх помочь. Не забудьте отблагодарить Сильвию, – шепнула Эжену на ухо вдова Воке, – она не спит уже две ночи.

Как только Растиньяк отошел, старуха подбежала к кухарке.

– Возьми чиненные простыни, номер семь. Ей-богу, для мертвеца сойдут и эти, – шепнула она ей на ухо.

Эжен успел подняться на несколько ступенек и не слышал распоряжения хозяйки.

– Слушай, – сказал ему Бьяншон, – давай сменим ему рубашку. Приподними его.

Эжен стал у изголовья, поддерживая умирающего, а Бьяншон снял с него рубашку; старик хватался за грудь, точно стараясь что-то удержать на ней, и застонал, жалобно, тягуче, как стонут животные от сильной боли.

– Да! Да! – вспомнил Бьяншон. – Он требует цепочку из волос и медальон, которые мы сняли, когда делали прижигания. Бедняга! Надо их ему надеть. Они там, на камине.

Эжен взял с камина цепочку, сплетенную из пепельных волос, – наверно из волос г-жи Горио. На одной стороне медальона он прочел: Анастаси, на другой – Дельфина. Эмблема его сердца, всегда покоившаяся на его сердце. Внутри лежали локоны, судя по тонине волос, срезанные в самом раннем детстве у обеих дочерей. Как только медальон коснулся его груди, старик ответил протяжным вздохом, выразившим удовлетворение, жуткое для тех, кто при этом был. Во вздохе умирающего слышался последний отзвук его нежности, казалось уходившей куда-то внутрь, в неведомый нам центр – источник и прибежище человеческих привязанностей. Болезненная радость мелькнула на лице, сведенном судорогой. Оба студента были потрясены этой ужасной вспышкой большого чувства, пережившего мысль, и не сдержались: их теплые слезы упали на умирающего старика, ответившего громким криком радости.

– Нази! Фифина! – произнес он.

– В нем еще теплится жизнь, – сказал Бьяншон.

– А на что ему она? – заметила Сильвия.

– Чтобы страдать, – ответил Растиньяк.

Поддав знак товарищу, чтобы тот ему помогал, Бьяншон стал на колени и подсунул руки под ноги старика, а в это время Растиньяк, став на колени по другую сторону кровати, подсунул руки под спину больного. Сильвия дождалась, когда его поднимут, и стояла наготове, чтобы сдернуть простыни и вместо них постелить другие. Горио, вероятно обманутый слезами молодых людей, из последних сил протянул руки и, нащупав с той и с другой стороны кровати головы студентов, порывисто ухватился за их волосы; чуть слышно донеслось: «Ах, ангелы мои!» Душа его пролепетала два эти слова и с ними отлетела.

– Бедняжка ты мой, – сказала Сильвия, умиленная его возгласом, где прозвучало самое высокое из чувств, зажженное в последний раз этим ужасным, совершенно неумышленным обманом.

Последний вздох старика был, несомненно, вздохом радости: в нем выразилась вся жизнь Горио-отца – он снова обманулся.

Горио благоговейно уложили на койке. С этой минуты на его лице болезненно запечатлелась

борьба между жизнью и смертью, происходившая в механизме, где мозг уже утратил сознательные восприятия, от которых у человеческого существа зависят чувства радости и скорби. Полное разрушение являлось вопросом только времени.

– В таком состоянии он пробудет еще несколько часов, – сказал Бьяншон, – и смерть наступит незаметно, – он даже не захрипит. Мозг, вероятно, поражен весь целиком.

В эту минуту на лестнице послышались шаги запыхавшейся молодой женщины.

– Она приехала слишком поздно, – сказал Растиньяк.

Оказалось, что это не Дельфина, а ее горничная, Тереза.

– Господин Эжен, – сообщила она, – между баронессой и бароном вышла ужасная ссора из-за денег, которые просила бедняжка баронесса для своего отца. Она упала в обморок, вызвали врача, пришлось пустить ей кровь; а потом она все кричала: «Папа умирает, хочу проститься с папой». Прямо душу раздирала своим криком.

– Довольно, Тереза! Приходить ей уже не имеет смысла, господин Горио без сознания.

– Бедный наш господин Горио, неужто ему так плохо? – промолвила Тереза.

– Я вам больше не нужна, так пойду готовить обед, уж половина пятого, заявила Сильвия и чуть не столкнулась на верхней площадке лестницы с графиней де Ресто.

Появление графини де Ресто было внушительным и жутким. Она взглянула на ложе смерти, слабо освещенное единственной свечой, и залилась слезами, увидав лицо своего отца, похожее теперь на маску, где еще мерцали последние проблески жизни. Бьяншон из скромности ушел.

– Мне слишком поздно удалось вырваться, – сказала графиня Растиньяку.

Эжен грустно кивнул головой. Графиня де Ресто взяла руку отца и поцеловала.

– Папа, простите меня! Вы говорили, что голос мой вызвал бы вас из могилы: так вернитесь хоть на мгновение к жизни, благословите вашу раскаявшуюся дочь. Услышьте меня. Какой ужас! Кроме вас одного, мне не от кого ждать благословенья здесь, на земле! Все ненавидят меня, один вы любите. Меня возненавидят даже мои дети. Возьмите меня к себе, я буду вас любить, заботиться о вас. Он уже не слышит, я схожу с ума.

Упав к его ногам, она с безумным выражением лица смотрела на эти бранные останки.

– Все беды обрушились на меня, – говорила она, обращаясь к Растиньяку. – Граф де Трай уехал, оставив после себя огромные долги; я узнала, что он мне изменял. Муж не простит мне никогда, а мое состояние я отдала ему в полное распоряжение. Погибли все мои мечты! Увы! Ради кого я изменила единственному сердцу, – она указала на отца, – которое молилось на меня! Его я не признала, оттолкнула, причинила ему тысячи страданий, – я низкая женщина!

– Он все знал, – ответил Растиньяк.

Вдруг папаша Горио раскрыл глаза, но то была лишь судорога век. Графиня рванулась к отцу, и этот порыв напрасной надежды был так же страшен, как и взор умирающего старика.

– Он, может быть, меня услышит! – воскликнула графиня. – Нет, ответила она сама себе, садясь подле кровати.

Графиня де Ресто выразила желание побыть около отца; тогда Эжен спустился вниз, чтобы чего-нибудь поесть. Нахлебники были уже в сборе.

– Как видно, у нас там наверху готовится маленькая *смерторама*? спросил художник.

– Шарль, мне кажется, вам следовало бы избрать для ваших шуток предмет менее печальный, – ответил Растиньяк.

– Оказывается, нам здесь нельзя и посмеяться? Что тут такого, раз Бьяншон говорит, что старикан без сознания? – возразил художник.

– Значит, он и умрет таким же, каким был в жизни, – вмешался чиновник из музея.

– Папа умер! – закричала графиня.

Услышав этот страшный вопль, Растиньяк, Сильвия, Бьяншон бросились наверх и нашли графиню уже без чувств. Они привели ее в сознание и отнесли в ждавший у ворот фиакр. Эжен поручил ее заботам Терезы, приказав отвезти к г-же де Нусинген.

– Умер, – объявил Бьяншон, сойдя вниз.

– Ну, господа, за стол, а то остынет суп, – пригласила г-жа Воке.

Оба студента сели рядом.

– Что теперь нужно делать? – спросил Эжен Бьяншона.

– Я закрыл ему глаза и уложил, как полагается. Когда врач из мэрии, по нашему заявлению, установит смерть, старика зашьют в саван и похоронят. А что же, по-твоему, с ним делать?

– Больше уж он не будет нюхать хлеб – вот так, – сказал один нахлебник, подражая гримасе старика.

– Черт возьми, господа, бросьте, наконец, папашу Горио и перестаньте нас им пичкать, – заявил репетитор. – Целый час преподносят его под всякими соусами. Одним из преимуществ славного города Парижа является возможность в нем родиться, жить и умереть так, что никто не обратит на вас внимания. Будем пользоваться удобствами цивилизации. Сегодня в Париже шестьдесят смертей, не собираетесь ли вы хныкать по поводу парижских гекатомб? Папаша Горио протянул ноги, тем лучше для него! Если он вам так дорог, ступайте и сидите около него, а нам предоставьте есть спокойно.

– О, конечно, для него лучше, что он помер! – сказала вдова. – Видать, у бедняги было в жизни много неприятностей!

То было единственной надгробной речью человеку, в котором для Эжена воплощалось само отцовство. Пятнадцать нахлебников принялись болтать так же, как обычно. Пока Бьяншон и Растиньяк сидели за столом, звяканье ножей и вилок, взрывы хохота среди шумной болтовни, выражение прожорливости и равнодушия на лицах, их бесчувственность – все это вместе наполнило обоих ледящим чувством омерзения. Два друга вышли из дому, чтобы позвать к усопшему священника для ночного бдения и чтения молитв. Отдавая последний долг умершему, им приходилось соразмерять свои расходы с той ничтожной суммой денег, какой они располагали. Около девяти часов вечера тело уложили на сколоченные доски, между двумя свечами, все в той же жалкой комнате, и возле покойника сел священник. Прежде чем лечь спать, Растиньяк, спросив священника о стоимости похорон и заупокойной службы, написал барону де Нусингену и графу де Ресто записки с просьбой прислать своих доверенных, чтоб оплатить расходы на погребение. Отправив к ним Кристофа, он лег в постель, изнемогая от усталости, и заснул.

На следующее утро Растиньяку и Бьяншону пришлось самим заявить в мэрию о смерти Горио, и около двенадцати часов дня смерть была официально установлена. Два часа спустя Растиньяку пришлось самому расплатиться со священником, так как никто не явился от зятьев и ни один из них не прислал денег. Сильвия потребовала десять франков за то, чтобы приготовить тело к погребению и зашить в саван. Эжен с Бьяншоном подсчитали, что у них едва хватит денег на расходы, если родственники покойника не захотят принять участие ни в чем. Студент-медик решил сам уложить тело в гроб для бедняков, доставленный из Кошеновской больницы, где он купил его со скидкой.

– Сыграй-ка штуку с этими прохвостами, – сказал он Растиньяку. – Купи лет на пять землю на Пер-Лашез, закажи в церкви службу и в похоронной конторе – похороны по третьему разряду. Если зятья и дочери откажутся возместить расходы, вели высечь на могильном камне: «Здесь покоится господин Горио, отец графини де Ресто и баронессы де Нусинген, погребенный на средства двух студентов».

Эжен последовал советам своего друга лишь после того, как безуспешно побывал у супругов де Нусинген и у супругов де Ресто, – дальше порога его не пустили. И так и здесь швейцары получили строгие распоряжения.

– Господа не принимают никого, – говорили они, – их батюшка скончался, и они в большом горе.

Эжен слишком хорошо знал парижский свет, чтобы настаивать. Особенно сжалось его сердце, когда он убедился, что ему нельзя пройти к Дельфине; и у швейцара, в его каморке, он написал ей:

«Продайте что-нибудь из ваших драгоценностей, чтобы достойно проводить вашего отца к месту его последнего упокоения!»

Он запечатал записку и попросил швейцара отдать ее Терезе для передачи баронессе, но швейцар передал записку самому барону, а барон бросил ее в камин. Выполнив все, что мог, Эжен около трех часов вернулся в пансион и невольно прослезился, увидев у калитки гроб, кое-как оби-

тый черной материей и стоявший на двух стульях среди безлюдной улицы. В медном посеребренном тазу со святой водой мокло жалкое кропило, но к нему еще никто не прикасался. Даже калитку не затянули трауром. То была смерть нищего: смерть без торжественности, без родных, без провожатых, без друзей. Бьяншон, занятый в больнице, написал Растиньяку записку, где сообщал, на каких условиях он сговорился с причтом. Студент-медик извещал, что обедня им будет не по средствам, – придется ограничиться вечерней, как более дешевой службой, и что он послал Кристофа с запиской в похоронную контору. Заканчивая чтение бьяншоновских каракуль, Эжен увидел в руках вдовы Воке медальон с золотым ободком, где лежали волосы обеих дочерей.

– Как вы смели это взять? – спросил он.

– Вот тебе раз! Неужто зарывать в могилу вместе с ним? Ведь это золото! – возразила Сильвия.

– Ну, и что же! – ответил Растиньяк с негодованием. – Пусть он возьмет с собой единственную памятку о дочерях.

Когда приехали траурные дроги, Эжен велел внести гроб опять наверх, отбил крышку и благоговейно положил старику на грудь это вещественное отображение тех времен, когда Дельфина и Анастази были юны, чисты, непорочны и «не умничали», как жаловался их отец во время агонии.

Лишь Растиньяк, Кристоф да двое факельщиков сопровождали дроги, которые свезли несчастного отца в церковь Сент-Этьен-дю-Мон, неподалеку от улицы Нев-Сент-Женевьев. По прибытии тело выставили в темном низеньком приделе, но Растиньяк напрасно искал по церкви дочерей папаши Горио или их мужей. При гробе остались только он да Кристоф, считавший своей обязанностью отдать последний долг человеку, благодаря которому нередко получал большие чаевые. Дождаясь двух священников, мальчика-певчего и причетника, Растиньяк, не в силах произнести ни слова, молча пожал Кристофу руку.

– Да, господин Эжен, – сказал Кристоф, – он был хороший, честный человек, ни с кем не ссорился, никому не был помехой, никого не обижал.

Явились два священника, мальчик-певчий, причетник – и сделали все, что можно было сделать за семьдесят франков в такие времена, когда церковь не так богата, чтобы молиться даром. Клир пропел один псалом, *Libera* и *De profundis*. Вся служба продолжалась минут двадцать. Была только одна траурная карета для священника и певчего, но они согласились взять с собой Эжена и Кристофа.

– Провожатых нет, – сказал священник, – можно ехать побыстрее, чтобы не задержаться, а то уж половина шестого.

Но в ту минуту, когда гроб ставили на дроги, подъехали две кареты с гербами, однако пустые, – карета графа де Ресто и карета барона де Нусингена, – и следовали за процессией до кладбища Пер-Лашез. В шесть часов тело папаши Горио опустили в свежую могилу; вокруг стояли выездные лакеи обеих дочерей, но и они ушли вместе с причтом сейчас же после короткой литии, пропетою старику за скудные студенческие деньги.

Два могильщика, бросив несколько лопат земли, чтобы прикрыть гроб, остановились; один из них, обратясь к Эжену, попросил на водку. Эжен порылся у себя в кармане, но, не найдя в нем ничего, был вынужден занять франк у Кристофа. Этот сам по себе ничтожный случай подействовал на Растиньяка: им овладела смертельная тоска. День угасал, сырые сумерки раздражали нервы. Эжен заглянул в могилу и в ней похоронил свою последнюю юношескую слезу, исторгнутую святыми волнениями чистого сердца, – одну из тех, что, пав на землю, с нее восходят к небесам. Он скрестил руки на груди и стал смотреть на облака. Кристоф поглядел на него и отправился домой.

Оставшись в одиночестве, студент прошел несколько шагов к высокой части кладбища, откуда увидел Париж, извиристо раскинутый вдоль Сены и кое-где уже светившийся огнями. Глаза его впились в пространство между Вандомскою колонной и куполом на Доме инвалидов – туда, где жил парижский высший свет, предмет его стремлений. Эжен окинул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его мед, и высокомерно произнес:

– А теперь – кто победит: я или ты!

И, бросив обществу свой вызов, он, для начала, отправился обедать к Дельфине Нусинген.

*Саше, сентябрь 1834 г.*



## Комментарии

Первоначально роман «Отец Горио» был опубликован Бальзаком в журнале «Парижское обозрение» в декабре 1834 г. – феврале 1835 г.; в 1835 г. он вышел отдельным изданием; в 1843 г. был включен в первый том «Сцен парижской жизни». Однако оставшиеся после Бальзака заметки свидетельствуют, что для следующих изданий он решил перенести этот роман в «Сцены частной жизни».

Роман «Отец Горио» является важной частью задуманной писателем художественной истории буржуазного общества прошлого века. Среди творческих записей Бальзака, носящих название «Мысли, сюжеты, фрагменты», имеется краткий набросок: «Старичок – семейный пансион – 600 франков ренты – лишает себя всего ради дочерей, причем у обеих имеется по 50 000 франков дохода; умирает, как собака». В этом наброске можно без труда узнать историю беспредельной отцовской любви Горио, поруганной дочерью. Уже в первоначальном замысле Бальзак резко обнажает типично буржуазный характер трагедии папаши Горио, подчеркивает обусловленность «частной жизни» его героев безграничной властью денег.

Одним из признаков тесной связи этого произведения с общим замыслом «Человеческой комедии» служит то обстоятельство, что около тридцати действующих лиц романа выступают и в других романах или повестях эпопеи Бальзака; среди них – Эжен Растиньяк, Жан Коллен (Вотрен), виконтесса де Босеан, Дельфина Нусинген, Бьяншон и другие.

В большинстве случаев обращение к персонажам «Отца Горио» в книгах Бальзака – это по существу и обращение к темам, намеченным в общих чертах или частично раскрытым в «Отце Горио», либо тесно примыкающим к его основной проблематике. «Отец Горио» – произведение, так сказать «Узловое», от которого протягиваются тематические нити ко многим романам и повестям Бальзака.

Два важнейших образа в романе Бальзака – Горио и Растиньяк оказываются соединенными не только в силу того обстоятельства, что молодой человек делается возлюбленным Дельфины, дочери старика, и не тем, что Растиньяк, живя бок о бок с Горио, на протяжении всего романа выступает как отзывчивый свидетель его трагедии. История первых светских успехов юноши и история гибели старика порождены законами одной и той же социальной морали, которую Бальзак увидел во французском обществе времен Реставрации. Бальзак определил эту мораль устами виконтессы де Босеан, наставляющей Растиньяка: «Чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать... Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву...» Растиньяк усвоил эту мораль – и пошел по пути «преуспевания». Папаша Горио на себе испытывает беспощадное действие циничной морали «чистогана»...

Особое место в романе занимает образ каторжника Вотрена. В его уста вкладывает Бальзак убийственно меткую характеристику буржуазных нравов; так, Вотрен говорит, например, «об охоте за миллионами», в которой Растиньяк, постепенно прощаясь с мечтами о честном труде, уже собирается принять участие: «Охота имеет свои отрасли. Один охотится за приданым, другой – за ликвидацией чужого предприятия; первый улавливает души, второй торгует своими доверителями, связав их по рукам и ногам. Кто возвращается с набитым ягдташем, тому привет, почет, тот принят в лучшем обществе... Бросьте считаться с вашими убеждениями... Продавайте их, если на это будет спрос». Смысл поучений Вотрена и наставлений виконтессы де Босеан один и тот же, хотя беглый каторжник прячется за кулисами «человеческой комедии», а виконтесса выступает в ней при ярком свете рамп. Сам Растиньяк отмечает внутреннее родство их взглядов на людские отношения в буржуазном обществе: «Что за железная логика у этого человека! Он грубо, напрямик сказал мне то же самое, что говорила в приличной форме госпожа де Босеан».